1 р. 50 к.

23-1-14

ИНДЕКС 73274

НАШ СОВРЕМЕННИК

№2 1991

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№2 1991

Архиепископ Омский и Тарский Феодосий по просьбе молодых офицеров совершил благодарственный молебен в Крестовоздвиженском кафедральном соборе по случаю успешного окончания ими Омского высшего общевойскового военного училища им. В. В. Куйбышева.

Фото И. Сироты

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

№2 1991

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

Содержание

И. о. ответственного секретаря З. С. Гуллевсная
Технический редактор Л. Л. Ежова   Корректоры М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора) 921-48-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-04 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии) 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-18 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем)

Сдано в набор 12.11.90. Подписано к печати 07.03.91.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 19,74 Тираж 275 000 Заказ 2714

ИПО Союза писателей СССР, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»,
125826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

КСЕНИЯ МЯЛО, ПЕТР ГОНЧАРОВ

СЛАВЯНСКИЕ РУЧЬИ

НЕМНОГО «РЕТРО»: БУХАРЕСТСКАЯ ОСЕНЬ

В один из ноябрьских дней 1924 года парламент королевской Румынии гудел и волновался: в сенате шли бурные прения о том, как понимать новый и, несомненно, «коварный» ход Москвы — создание ею Молдавской, или, как говорили тогда, Молдованской, республики (МАССР в составе УССР) на территории, никогда не входившей в состав Молдавского княжества и не являвшейся объектом каких-либо притязаний со стороны Румынии.

«В какой мере,— встревоженно спрашивал сенатор Гиванеску,— можно считать серьезной Молдованскую республику, находящуюся на берегу Днестра, **в Подолии и на Херсонщине** (выделено авторами). Я задаю этот вопрос, чтобы быть точно информированным относительно солидности этой республики и о тенденциях Русского государства, обозначаемых созданием этой республики».

Особую озабоченность высказал бывший министр Бессарабии Богос, хорошо осведомленный о положении дел и состоянии умов на этой, вот уже более ста лет «плавающей» между Россией и Румынией территории: «В Бессарабии господствует глубокое недовольство теперешней администрацией. Повсюду говорят только о злоупотреблениях и мошенничествах. На селе румынское слово пробивает себе дорогу с большими затруднениями. Работа в этом направлении почти совсем не велась».

Успокаивая возбужденное собрание, премьер-министр К. Братиану иронически и весьма проницательно и дальновидно заметил: «Я не хочу останавливаться сейчас и здесь на тех намерениях и расчетах момента, из-за которых такая республика была образована. Я хочу рассмотреть этот вопрос с более общей и дальней точки зрения. Мы (румыны) не можем быть озабочены, а наоборот, можем только радоваться, что соседнее государство признало, что в наших территориальных притязаниях мы не пошли так далеко, как следовало бы».

Стенограмма фиксирует здесь «шумные аплодисменты», и они действительно были заслуженны. Своим выступлением Братиану заронил в общественное сознание Румынии — да, пожалуй, и Европы — мысль о том, что, каковы бы ни были мессианские замыслы создателей МАССР, история может пойти своим путем. И новое политическое образование вовсе не обязательно станет магнитом, втягивающим Бессарабию, а затем и Румынию в «коммунистическое братство народов». Напротив: со временем, быть может, оно само послужит вхождению Левобережья Днестра — впервые в истории! — в румынский политический, экономический и культурный ареал.

Тогда же газета «Лупта», близкая к военным кругам, сообщала: «Военные круги получили сведения, что единовременно с провозглашением Молдавской республики не исключает возможности, что румынские села Заднестровья, недовольные большевистским режимом, решили отправить делегации к нам, чтобы заявить, что они на стороне Румынии». И дальше: «В случае советской пропаганды в Бессарабии для ее объединения с Заднестровской республикой Советы рискуют возбудить намерение перехода румынских сел Заднестровья на нашу сторону».

Как видно, сюжет грядущей драмы в основных чертах своих сложился именно в эти осенние дни 1924 года.

Казалось, прошедшие с тех пор годы, которые вместили в себя и вселенскую катастрофу второй мировой войны, и дорогой ценой оплаченную послевоенную стабильность Европы, застывшей в казавшемся уже незыблемым противостоянии блоков, сделали волнения, сотрясавшие 60 лет назад этот балкано-карпатский уголок, далекими и какими-то игрушечными для нас, как интриги средневековых немецких дворов.

Однако история, описав крутой изгиб и словно стремясь опровергнуть слова древнего мудреца, сегодня снова выносит нас на берега Днестра, где вновь пылают давние страсти и где все более мощно обозначают себя силы тяготения, так изящно и небрежно обозначенные когда-то премьер-министром Братиану.

ОТ ДЕМОКРАТИИ К ЭТНОКРАТИИ, ИЛИ СВЕРЯЯСЬ С БИЛЛЕМ О ПРАВАХ

«К вечеру над Тирасполем, словно салют победы правого дела, разразилась очистительная гроза,— писала более года назад «Днестровская правда».— С этого дня, 2 сентября 1990 года, начался отсчет истории нового современного государственного устройства Приднестровья... Свершилось. Провозглашена Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика. Историческая справедливость восторжествовала. Люди снова почувствовали себя хозяевами в своем родном доме».

Не один искушенный столичный житель встретит эту малопонятную ему патетику иронической усмешкой и репликами вроде: «А зачем вы приехали на чужую землю?». Или: «Ну, выучили бы язык — и дело с концом».

Именно это звучало из зала в тот вечер, когда одна из телевизионных программ решила организовать публичный диспут представителей Народного фронта Молдавии и Приднестровья.

Напрасно пытался тираспольчанин Игорь Зарецкий объяснить: «Поймите, Тирасполь — исконно русский город... Здесь традиционно сложилась русскоязычная среда обитания». Оказалось, наше общественное сознание, даже достаточно образованное, по большей части не способно развести и рассмотреть независимо друг от друга права республик как территориально-государственных образований, слагающих союз, и права населяющих их народов. В многонациональном государстве, при исторически сложившейся многоэтничности всех без исключения его территорий, это далеко не одно и то же, и смещение этих понятий уже обернулось, увы, не «клюквенным соком».

Как-то непостижимо быстро идея прав человека, под знаменем которой дебютировало в стране общедемократическое движение, сменилась идеей национальной, мгновенно созревшей в недрах общедемократических народных фронтов. А последняя столь же быстро трансформировалась в националистическую, или, еще точнее, этнократическую.

Чем национализм отличается от национального движения? Только тем, что последнее добивается равных с остальными народами прав, а национализм требует особых прав, «сверхправ» для своего народа. Этнократизм же оформляет эти «сверхправа» в систему власти одной этнической группы на объявляемой исключительной собственностью этой группы территории.

Этнократическая идеология получила чрезвычайно благоприятные возможности для своего развития у нас в стране по целому ряду причин, выявить и назвать которые следовало в ходе научного анализа, предшествовавшего выработке стратегии перестроечных реформ, что позволило бы избежать некоторых ловушек.

Прежде всего — в силу неразвитости гражданского общества как в СССР вообще, так и на всех образующих его территориях (вопреки распространенному мифу о «культурной и демократической» Прибалтике она отнюдь не составила здесь исключения), что быстро привело к выдвижению именно моноэтнической общности, а не многонационального гражданского сообщества проживающих на данной территории людей на роль носителя республиканского суверенитета.

Кроме того, само по себе сложившееся устройство СССР, опирающееся вопреки логике мирового исторического развития на принцип национельных территорий, прямо-таки подталкивало возбужденное национальное чувство к самовыражению через уже заготовленную для него административную форму.

Наконец, столь популярный в первые годы перестройки лозунг территориального хозрасчета, по существу, требующий хозяйственной отдельности, «замыкания» территории на себе самой, немедленно вызвал к жизни искушение попытаться закрепить за коренным, или исконным, этносом всю обозначенную его именем территорию как свое владение, исключающее реализацию права на самоопределение другими проживающими на ней народами.

Между тем основные документы ООН признают обязательным право народа на самоопределение на той территории, которую он занимает в настоящее время своим компактным заселением. Возможное противоречие между целями сохранения целостности государства и правами народов преодолевается в демократических странах целой системой законодательных актов и юридических процедур, позволяющих свести до минимума опасность сепаратизации даже в склонных к этому регионах.

Зато предложенный ООН подход позволяет отсечь юридически бесплодные ссылки на «историческое право», «историческую память», ибо практически любой регион земного шара на протяжении истории был местом заселения и самоопределения — в исторически конкретных формах — не одного, а нескольких этносов. Разматывая этот клубок, мы рискуем утонуть в пучине этногенеза или пробудить к жизни, казалось, давно уснувшие вулканы национальных, религиозных и даже родоплеменных страстей, и они уже опасно курятся на некоторых территориях Союза.

А потому, вводя понятие коренных, или исконных, народов, то есть таких, которые проживали на своих землях до прихода переселенцев из других регионов, ООН делает это не для того, чтобы право на самоопределение связать исключительно с территорией «коренного» проживания. Но лишь затем, чтобы защитить права автохтонов в тех случаях, когда они становятся объектом явного доминирования со стороны другого этноса — вследствие колонизации, оккупации и т. д.

Критерии, позволяющие определить, идет ли речь действительно о правовой дискриминации коренного населения, даны во Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной в 1948 году, а с 1966 года вошедшей первым разделом в Международный билль о правах человека, включивший международный пакт об экономических, культурных и социальных правах и международный пакт о гражданских и политических правах. Весь процесс западноевропейского согласия, весь проект общеевропейского дома, которым грезят западные регионы СССР, построены на безусловном уважении и признании этого билля как всеобщей основы такого согласия. Важное уточнение: Всеобщая декларация прав человека — первый, то есть основной, раздел билля. Иначе говоря, если статьи этого раздела не выполняются, то бессмысленны поиски правовой опоры в последующих актах, в том числе и в следующем «по старшинству» опорном принципе: праве народов на самоопределение.

Перевернув, как это модно сегодня, пирамиду прав, этнократические движения в СССР во главу угла поставили не право человека, а права коренной нации — новация, которой мы, кажется, подивим мир не меньше, чем в эпоху абсолютизации классового подхода. При этом, не говоря уже о правах человека, массовое нарушение которых становится нормой на этнических территориях (а в них стремительно трансформируются бывшие союзные республики), нарушенным оказался и сам по себе принцип самоопределения народов.

Ибо, действуя в этнократически искаженном виде, он становится не столько условием реализации прав народа, сколько средством их дискриминации.

Массовый сгон «иноэтнического» населения, насильственная депортация, утрата гражданских прав по национальному признаку — все это сегодня реальность. Если сегодня в СССР в зависимости от национальности или места рождения уже нельзя обратиться за медицинской помощью даже для старика или ребенка, если принадлежность к «коренному» или «некоренному» этносу начинает определять содержание потребительской корзины, право владения собственностью, получения жилья и образования, то перед нами ситуация, сравнимая с апартеидом. И общественное мнение Запада, охотно жонглирующее темой национальных движений в СССР под лозунгом прав человека, должно знать об этом. Если же верно, как заметил в частной беседе один из иностранных корреспондентов, что, руководствуясь идущей из глубины веков антипатией к России, Запад пока склонен закрывать глаза на нарушение прав человека в отношении русских и русофонов, то об этом русские должны знать. Знать, что никто не поможет им, кроме них самих, и что «одни животные более равны, чем другие».

Однако, игнорируя права «русских», Запад уже пропустил момент, когда столь же массированно стали нарушаться и права нерусских, притом малых народов. Судьба гагаузов в Молдавии, осетин в Грузии, турок-месхетинцев в Узбекистане — убедительное тому свидетельство. Такова неизбежная логика попустительства.

«...ЗОВЁМ ЭТУ ЗЕМЛЮ СВОЕЮ»

Для миллионов людей, независимо от их национального происхождения и только потому, что они оказались на территории, некогда вполне без учета их мнения оформленной в национальное государство одного этноса, сегодня пустым звуком становится само понятие гражданских прав, ибо, в соответствии с принимаемыми законами о гражданстве, они теряют сам статус гражданина. Массовое разгражданивание «некоренного» населения ряда союзных (а в ближайшем будущем и некоторых автономных) республик — вот процесс, который разворачивается у всех на глазах и превращается в резко выраженную черту эпохи, содержанием которой должно было бы стать нечто прямо противоположное: становление гражданского общества с гарантиями прав человека и гражданина.

И потому массы наших бывших сограждан все более лихорадочно устремляются на поиск территории, клочка земли, на котором они могли бы закрепиться в качестве граждан, наделенных соответствующими правами. Процесс этот идет тем острее, чем очевиднее становится для них неспособность — или нежелание — правительства и Президента СССР защитить их права и даже статус советских граждан. Масштабы же определяются тем, что практически все границы союзных республик имеют скорее административно-политический, а не этнический характер, и с автоматизмом инкубатора загоняют одни народы в «случайно сложившуюся семью» других. Щедрые прирезки и «переделы», производившиеся на протяжении всего советского периода по соображениям как политико-экономического, так и конъюнктурного, случайного характера, нелегитимность и законодательная неоформленность подавляющей части межреспубликанских границ, несоответствие — особенно в российских автономиях — национального состава населения объявленному имени республики (например, Карелия с 90 процентами русских и русофонов), в сущности, превращают СССР в сплошной арсенал этнического пороха, к которому уже подводятся, на все новых территориях, запалы местнического национализма и шовинизма.

После Сумгаита, Ферганы, Баку, Ошской области, казалось, оформилась в основных чертах и картина взрыва: этнический погром, кровь, огонь, беженцы, чрезвычайное положение, молчание вдруг становящейся застенчивой гласности — вплоть до нового взрыва.

По тому же сценарию, казалось, шел и процесс в Молдавии: убийство 17-летнего Дмитрия Матюшина на национальной почве, избиение гагаузских и приднестровских депутатов, бурные демонстрации под лозунгами «Чемодан, вокзал, Россия» или «Шагай, русский Иван, ждет тебя Магадан», яростные «13 строф о манкуртах» известного поэта Григоре Виеру, заканчивающиеся восклицанием: «Пошли прочь, мразь!», намеки на «миллион квартир», которые вскоре освободятся,— все указы-

вало не это. Но неожиданно — хотя на глубинном уровне, видимо, и неизбежно — он прорвался в новое качество, или, если угодно, свернул в новое русло: о своей независимости объявили Гагаузская и Приднестровская республики. Устояв перед угрозами и несмотря на массированное давление из Центра и расстрел безоружных людей в Дубоссарах, проведя выборы, их население создало прецедент, который будет иметь масштабные и далеко идущие последствия. Сегодня многим эти выборы кажутся событием локальным, провинциальным, о чем свидетельствовало и отсутствие «большой» прессы, сверкающего юпитерами телевидения, иностранных журналистов в Тирасполе в дни, когда формировалось правительство новой республики. Но разве история уже не показала, что на своих решительных переломах она нередко вершится в провинции, а не в столицах: не в Риме, а в Иудее; не в Лондоне, а в Бостоне; не в Москве, а в Нижнем Новгороде?..

«Крот истории» роет в стороне от проезжих дорог.

НА ДНЕСТРОВСКИХ БЕРЕГАХ: УРОК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Республика Молдова (бывшая Молдавская ССР). Столица г. Кишинев. Территория 33,7 тыс. км^2, которую населяет 4,34 млн. человек. Из них: 3,4 млн.— молдаване, 0,2 млн.— гагаузы, 0,74 млн.— население в основном украинского происхождения. 91,6 процента молдаван считают родным молдавский язык, 71,1 процента гагаузов считают родным свой национальный язык. Русским языком владеют 53,8 процента молдаван, 71,1 процента гагаузов.

С севера на юг республику разделяют воды Днестра. Когда-то, всего 50 лет назад, по середине реки проходила граница с королевской Румынией, подданными которой были тогда и бессарабские молдаване, и гагаузы. Свидетельств об особом процветании этих народов в составе Румынии нет, но изобилуют свидетельства нарушения их гражданских прав, и последующие нарушения этих прав, уже в составе СССР, не смогли вытравить из памяти старшего поколения отрицательных эмоций, легко возбуждаемых при одном лишь упоминании возможности нового вхождения в Румынию.

Территории республики, после 1918 года входившие в состав королевской Румынии, в просторечье называют Правобережьем, территории же, никогда, за исключением периода оккупации 1941—1944 годов, не входившие ни в нее, ни в состав Молдавского княжества,— Левобережьем. На Правобережье проживает бо́льшая часть молдавского населения республики, на юге преобладают гагаузы, на левом же берегу основной массив образуют русские и украинцы, точнее, «русско-украинцы». А еще точнее — новороссы: восточнославянский субэтнос, сложившийся на определенной территории в результате естественной ассимиляции представителей различных славянских этносов, с включением неславянских народов, как на территории совместного проживания, так и вследствие смешанных браков в нескольких поколениях.

Но простая схема размещения населения на территории республики еще мало что проясняет, ибо весь этот регион исключительно своеобразен. Слов нет, молдавский народ — ближайший родственник румынского, и нелепо было бы оспаривать это. Однако историческая судьба расселила молдаван к востоку от горной гряды Восточных Карпат, разделив горным массивом два родственных народа — или, если угодно, один народ. Каждая из этих позиций имеет своих сторонников, для нас же здесь важно подчеркнуть, что разделение это восходит гораздо дальше, нежели к 1812 или 1940 г., и принадлежит к области «исторической географии».

В результате веками экономическое и культурное пространство молдаван разворачивалось на восток, в сторону восточнославянского мира и мощно восходящей России.

Укреплению восточнороманских и восточнославянских связей, узлом которых волею судеб стала Молдавия, способствовали также общая графика (кириллица, древнейшая графика молдавского языка), общая вера — православие, а общая историческая судьба формировала как общих друзей, так и общих врагов.

Во второй половине XX века зависимость жизнедеятельности Правобережья (Бессарабии) от Востока возрастает с каждым годом: ведь на территории Молдавии производится лишь 1 процент электроэнергии СССР, а потребляется гораздо больше. К тому же вся система жизненно необходимых связей с «телом» Союза проходит через Левобережье, с его в основной своей массе немолдавским населением.

Эта зависимость от Востока не была убыточной для республики: заметим, что в 1988 году из Молдавии вывезено в другие регионы СССР и за его пределы продукции на 2,5 млрд. рублей (инвалютных). Между тем в мировых ценах ввоз, включая импорт, был на уровне 5,1 млрд. инвалютных рублей. При этом во внутренних ценах ввоз статистика показывает превышающим вывоз всего на 1,04 млрд. рублей.

Несложный расчет показывает: 2,6 млрд. инвалютных рублей (5,1-2,5) составляют в ценах 1988 года 4,9 млрд. долларов США. При переводе этой суммы во внутренние рубли СССР (4,9×6,28) получаем 30,8 млрд.

Иначе говоря, реальная задолженность Молдавии соседям по межреспубликанскому балансу должна была бы составлять именно эту сумму — 30,8 млрд. внутренних рублей. Составляет же — официально — 1,04 млрд.

Оставим этот перекос «на совести» ценовых шкал, однако экономическую реальность, выражаемую данной суммой, должно иметь в виду правительство Молдавии, если оно хочет, судя по всему, развернуть на запад традиционно восточную траекторию молдавской экономики и политики. Промышленность собственно Бессарабии высокоэнергетична, и если она переходит из «восточных» в «европейские» структуры (а слово «Европа» произносится здесь почти со священным трепетом), то, видимо, кто-то в Европе и должен взять на себя ту часть расходов, которая год за годом представляла собой, в сущности, косвенные инвестиции в высокозатратную промышленность Бессарабии.

Та же проблема стоит, конечно, и перед Левобережьем, где концентрируется промышленность, которую принято именовать «союзной», то есть максимально зависящей от кооперационных промышленных связей и взаимных поставок с территории большей части республик СССР. Однако, как это ни покажется странным на первый взгляд, на эту территорию приходится 1/4 общих затрат, к тому же она, сохраняя «восточный» сектор, не имеет нужды ни в новых кооперационных связях, ни в новых энергопоставщиках и при выравнивании цен, при стабилизированных расчетах сможет работать безубыточно. В отличие от Правобережья, где все новые закупки сырья и энергоносителей придется оплачивать конвертируемой валютой на рынках Восточной и Западной Европы.

Разумеется, здесь, как и в Прибалтике, питается надежда, разорвав поле эмоционально-культурных, а возможно, и политических связей с Россией, сохранить столь выгодные и необходимые связи экономические. Еженедельник «Ньюсуик» так описывает эту стратегию Молдовы: «У премьер-министра Мирчи Друка есть мечта относительно будущего своей советской республики. Он хочет превратить республику Молдова в свободную торговую зону, привлечь туда деловых людей Запада посредством либерализации законов относительно капиталовложений и сделать из этой части Европы связующую калитку между свободной конфедерацией советских суверенных республик и развитыми странами Запада. «Мое стремление сводится к тому, чтобы Молдова стала первой восточноевропейской республикой — членом Европейского сообщества»,— говорит г-н Друк. Однако именно общность нашей прежней судьбы, интенсивность ее проживания, сплетавшего все уровни бытия, здесь, в Молдавии, и делает, пожалуй, химеричным такое решение вопроса, коль скоро эта общность пренебрежительно перечеркивается, а на смену веками царившей на днестровских берегах атмосфере межнационального согласия грядет раздор.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ!

Некоторые молдавские историки (по мнению местных национал-радикалов, продавшихся Центру и предавших «нацию») утверждают, что культура молдавского народа самобытна, его древнейшие летописные и археологические памятники не имеют возрастных аналогов в Румынии (то есть старше), а сам он, несомненно родственный румынскому, являет самостоятельное лицо в семье романских народов, как и его язык.

Известный молдавский поэт и культурный деятель А. Матеевич писал: «Присоединение Бессарабии к России оказалось спасительным актом как для молдавского языка, так и для молдавского богослужения. К началу XIX века за Прутом началось пробуждение национального самосознания, которое, неся на своем знамени ту идею, что румыны являются потомками римлян и преемниками их доблести, приняло благодаря увлечению этой идеей крайне странные выражения, приведшие в конце концов к уничтожению национальных особенностей жизни и языка».

Будучи не только поэтом, но и священником, Матеевич рисовал это в образах, где «латинство» уподоблялось «розам из розовых бумаг», а «молдавский вольный говор» — свету небесных лампад, отраженных в днестровском плесе.

Интересно свидетельство знатного бессарабского эмигранта молдаванина А. Крупенского от 10 декабря 1921 года: «Питая сердечные симпатии к доброму румынскому народу и будучи сам молдаванином, я искренне надеюсь, что Румыния будет продолжать благополучно существовать и без Бессарабии и что это не помешает ей быть в будущем богатой и счастливой».

Не отождествляет себя с румынским народом немалая часть молдавского населения, и она заявляет об этом с большой определенностью, как, например, одна из участниц встречи с И. Хадыркэ в Бендерах весной 1990 года: «Меня тревожит такой факт: все чаще в печати, по телевидению, по радио звучат выступления, в которых игнорируется такая нация, как молдаване... Моя мама пережила оккупацию. Она заболела сердцем, когда узнала, что у нас опять будет триколор. Мы говорим, что наиболее важные вопросы решаются у памятника Штефана Чел Маре — почему же мы игнорируем его флаг, его графику? Я лично воспринимаю это как предательство по отношению к молдавскому народу».

Есть и другое мнение, согласно которому молдаване — это в лучшем случае субэтнос румын, последние же в этой концепции возводят свою генеалогию через римские легионы непосредственно к капитолийской волчице. И хотя римские легионы в основной своей массе состояли отнюдь не из италиков и уж тем более не из патрициев, а являли собой пеструю амальгаму всех этносов великой империи, в данном случае это не столь важно, ибо волчица в данном случае просто обозначает западнолатинский вектор политических и культурных устремлений. А его для Румынии можно считать столь же характерным, как славянский вектор для Молдавии, и потому экстатическое «румынство» последних лет, ставшее основой всей идеологии НФМ, можно считать знаком масштабного разворота этого традиционного восточного вектора на запад. Воистину все дороги ведут в Рим, и недавно установленный в Кишиневе монумент римской волчицы говорит об этом столь же выразительно, сколь и замысел замены бюста Пушкина бюстом Овидия — словно Пушкин и очень любимый им Назон не могут стоять рядом, как стоят они в общем пространстве мировой культуры!

Однако воспаленное «румынство» не допускает такой гармонии, ибо лежащий в его основе легионерский миф запрограммирован в терминах векового соперничества «цивилизованных римлян» и «варваров славян», Запада и Востока, Европы и Азии. «Румынофильская», если воспользоваться определением историка В. Я. Гросула, печать не только не находит нужным скрывать, но и, напротив, акцентирует это противоборство, повсюду в жизни Молдавии обнаруживая видимые знаки долгожданного «латинского триумфа».

«Быть румыном, думать и чувствовать по-румынски означает заявить во всеуслышание о благородном своем происхождении, о естественной гордости за сохраненное имя, указующее на твоих древнеримских предков. Это значит говорить на румынском, даже если кое-где кое-кто называет его молдавским, языке, который не только является прямым потомком прославленной латыни, носительницы великой мировой римской культуры, но и языком-победоносцем. Да, победоносцем, потому что в вековой борьбе со славянскими диалектами и с другими языками он вышел несомненным победителем»,— так писала в сентябре 1990 года кишиневская газета «Цара», выражая этот блок настроений.

В такой же тональности прошел в конце лета на правом берегу День языка, объявленный как День молдавского языка, но превратившийся, по существу, в день «романства». Это указывает на смену ориентаций с такой же определенностью, что и римская гостья, расположившаяся, кстати сказать, неподалеку от бывшей Киевской улицы, ныне переименованной в Улицу 31 августа — день принятия Закона о языке.

«ВЗДЫХАТЬ О СУМРАЧНОЙ РОССИИ...»

Трудно расслышать друг друга, когда разбужены национальные страсти, и нам уже пришлось убедиться, что простое упоминание о кириллице как древней графике молдавского языка вызывает, по непостижимой логике, обвинения в «сталинизме». Анализ же румынско-латинских тяготений, символизируемых лозунгом «язык наш румынский», воспринимается как намеренная «бесполезная попытка» политизировать вопрос о языке. Но неужели Владимир Антонович, выступивший с этими обвинениями в газете «Молдова суверана», и впрямь столь наивен, чтобы уверять нас в чисто лингвистическом характере споров о графике и наименовании (глоттониме) языка? В таком случае отсылаем его к документам II съезда Народного фронта Молдовы, где, в частности, резолюция «О восстановлении в правах этнонима «румынский народ» и глоттонима «румынский язык» прямо-таки дышит «политическим бесстрастием», предлагая такую, например, интерпретацию сложнейшего и запутанного вопроса: «Народный фронт Молдавии считает, что этноним «молдавский язык» как в период царского господства, так и в годы советского террора употреблялся с целью денационализации бессарабских румын и создания псевдоучения (памятная лексика!) для того, чтобы оправдать присоединение румынских земель к России и соответственно к СССР.

Сегодня политика ненависти против всего румынского продолжается...»

Бурные реакции отражает и местная печать, а потому, чтобы не будоражить и далее страсти, хотим сразу же со всей определенностью сказать: самоопределение молдаван — дело самих молдаван. Считать ли им себя румынами, чтить ли Ромула и Рема, какой графикой писать — решает сам народ, и только. Однако и как ученые, и как граждане считаем своим долгом заявить, что замена «славянского вектора» молдавской политики экзальтированным румыно-латинским с неизбежностью и в обостренной форме выдвигает проблемы самоопределения перед немолдавским населением республики, ибо ни гагаузы, ни новороссы не возводят свое происхождение к римским легионам.

Более того, опорой устойчивого межнационального согласия, столь долго царившего в этом регионе, был именно своеобразный молдавско-славянский симбиоз, складывавшийся еще с XIV века в контексте устойчиво ориентированной на Русь — Россию политики Молдавского княжества. Ее примечательные вехи — династический брак Штефана Великого, породнивший его с великокняжеским московским домом, деятельность Димитрия Кантемира, общая борьба с Портой. Правда, пребывание в составе последней сегодня, в контексте распаленных антирусской кампанией настроений, бурно идеализируется. Так что, если бы не хрестоматийно известное письмо молдавского митрополита Леона фельдмаршалу Румянцеву (чугунной головой которого играли в футбол этой осенью молдовские волонтёры в Кагуле), можно было бы вообще усомниться в том, что когда-то имя «Россия» звучало здесь, не сопровождаемое бранью и проклятиями.

Между тем вот оно: «Сколько имеем надежды на Россию, столько испытали теперь разорений от турков, и чего описать не можем. Просим, посылайте сильное ваше войско в отечество наше Молдавию. Чувствуем тяжесть нетерпимую и остаемся без всякой надежды. Просим и теперь нас не оставить, как и прежде того не лишили. В слезах старцы, юноши и младенцы просим вас, и ежели удобно сие, испросите милость им, бедным, пошлите помощь им. С какого места угодно посылать войска, нет опасности никакой, и мы все силы с радостью употребим довольствовать их всем нужным. И никакого затруднения иметь не можем, бывши обрадованны заступлением и горя истинным к России усердием...»

Когда обламываются такие блоки исторических связей и меняют знак такие исторические воспоминания, мы вправе говорить об истинной трагедии двух народов, пути которых расходятся, и это беда, а не чья-либо вина.

Однако в условиях этой беды левобережные новороссы — и как восточнославянский субэтнос, и как социальная группа, всеми своими связями тяготеющая на восток, к Союзу,— вправе выбирать свой путь. И путь этот не обязательно ведет в Рим и Бухарест.

Для них речь идет о сохранении своего традиционного хозяйственного и культурного пространства, в сущности — о новом самоопределении в условиях нарастающих румыно-латинских тяготений Кишинева, причем не только лингвистических.

Проект нового административного устройства, дублирующий румынскую модель, перевод образования не только на румынский язык, но и на румынские учебники, румынскую десятибалльную систему (что, очевидно, предполагает хождение аттестата отнюдь не в Союзе), закон о гражданстве, лишающий жителей республики союзного подданства — всё это для населения Левобережья и тяготеющих к ним гагаузов суть видимые знаки форсированного наращивания такой среды обитания, в которой они не находят для себя места.

Тем настороженней становятся они к угрозе разрыва восточных связей, а после похода волонтеров в Дубоссары политическое обособление и гагаузов, и новороссов стало неизбежностью.

НА РАСПУТЬЕ

Теоретически возможен вариант федеративного оформления трех республик — собственно Молдовы, или Бессарабии, Гагаузии и Приднестровья на принципах безусловного равенства всех народов. Это отвечало бы и объективным интересам самих молдаван, так как их разрыв с «Москвой» может быть компенсирован только вхождением в Румынию, но и это отнюдь не решает проблем экономического пространства Бессарабии. Размещенная к востоку от восточнокарпатской гряды, она отрезана от основных энергетических центров Румынии и примыкает к той ее части, которая далеко не лидирует в румынском народном хозяйстве. Как раз по причине отсутствия естественных сырьевых, энергетических и других ресурсов.

Ясно, что в случае реализации этого (румынского) варианта от народа Бессарабии потребуется переход на специализированное сельское хозяйство, обеспечивающее в основном пищевую промышленность на базе максимально выгодной сельскохозяйственной монокультуры. Но совершенно неясной становится судьба мощного Кишиневского промузла, ни технологически, ни ресурсно не связанного, а по большей части и не могущего быть связанным с промышленным комплексом Румынии.

Естественно, что федерация трех республик имела бы больше шансов войти в мировое народное хозяйство — хотя бы потому, что сельское хозяйство и промышленность такой федерации, дополняя друг друга, обеспечивали бы ее население массой продукции собственного производства (то есть неимпортируемой).

Однако надежды на такой исход представляются минимальными, ибо важным условием его был бы уже утраченный симбиоз. А такие разрушения психологических связей не восстанавливаются в один день, да и ничто в ориентациях Кишинева не указывает на его стремление смягчить свою позицию по отношению к славянскому вектору истории.

Реальность такова, какова она есть, и с высокой вероятностью раскол территории на 3 части следует считать необратимым, что, конечно, обрекает каждую из них на болезненный поиск соответствующего себе нового социально-экономического и политического пространства.

Можно сказать, что вероятность сохранения приязненных связей Гагаузской и Приднестровской республик между собой, а также с прилегающими областями Украины достаточно высока.

В свою очередь, промышленная зона Левобережья, образующая основу народного хозяйства Приднестровской республики, через систему своих производственно-кооперационных связей симбиотична ко всей восточнославянской части европейского региона СССР, потому переструктурирование взаимоотношений этих республик не будет очень болезненным в области экономики.

Однако потребуется новая самоидентификация их населения и такие формы реализации его суверенных прав, которые не заложены ни в модели существующего Союза, ни в проекте нового союзного договора. В сущности, новый проект воспроизводит все уже явно обнаружившиеся дефекты прежнего устройства и закрепляет их в новом качестве: нелегитимность границ, грубость определения этносов, взятых вне исторического контекста и более широких общностей («славяне», «тюрки» и т. д.), к которым они принадлежат.

Сохраняет новый проект и принцип этнической территории, совершенно не учитывая тот факт, что сегодня число республик значительно меньше числа этносов и что многие из них разорваны между разными псевдогосударствами. Это ставит их одновременно в положение и господствующих (на своих территориях), и дискриминированных — на «чужих».

Между тем принципы выделения новых территорий для самоопределяющихся народов абсолютно не проработаны, что позволяет прогнозировать рост конфликтов. Тем более вероятный, что крах коммунистической идеологии, скреплявшей страну, лишает ее какой-либо надэтнической, общей идеи.

В этих условиях процесс самоопределения народов, объективный и неизбежный, не может идти иначе как через взламывание административно созданных и теперь стремящихся легитимизироваться с нерушимыми границами внутренних государств, ставших субъектами договора вместо народов. Сегодня для каждого политика, игнорирующего этот процесс и ставящего территориальную целостность выше права на самоопределение (а именно такова позиция Центра по отношению к ситуации в Молдавии), должно быть ясно, что это ведет только к крови, жертвам и насилию.

Сегодня, если бы произошло признание «де-юре» и «де-факто» двух созданных республик, был бы, по существу, не толь-

ко подтвержден общемировой принцип прав человека и народов, но и подтверждена новая, стихийно найденная «снизу» форма ликвидации межэтнического противостояния. Заявления кишиневского правительства о «незаконности» проведенных выборов и «незаконности» созданных республик, подкрепляемые ссылками на Конституцию СССР, неубедительны. Ибо, официально провозгласив приоритет республиканских законов над союзными, руководство Молдовы тем самым отменило «де-факто» Конституцию СССР на территории республики: в одностороннем порядке и отчасти по отношению к целому — от республик к Союзу. Тем самым создан прецедент, дающий право и части республики, как целого, де-факто произвести ту же процедуру по отношению к самой республике. Что неизбежно и состоялось: диалектика такого развития была описана еще Авраамом Линкольном.

Но уместно ли требовать главенства Основного Закона СССР по отношению к гагаузам и новороссам, не обязывая к подчинению ему молдаван? Это было бы одной из самых вопиющих форм дискриминации, острая реакция на которую рано или поздно окажется неизбежной.

Напротив, юридическое признание демократически созданных новых республик позволило бы снять или смягчить грядущие конфликты на Северном Кавказе, в Казахстане, в России и в Средней Азии. Хотя во многих случаях это означало бы переструктурирование территорий и изменение границ. Процесс, соблюдая основные принципы документов ООН, можно было бы вводить в четкие рамки, которые сегодня отсутствуют, так как принципы международного права заменены «ленинскими принципами национальной политики».

Построить правовое государство, не заменив одно другим, невозможно. Однако этот болезненный процесс настолько пугает нынешних политических лидеров, что они предпочитают не знать диагноза — если только не сознательно удерживать за собой многонациональные территории, оформленные в моноэтнические государства. Но тем тяжелее будут последствия такого упорства, ибо остановить процесс уже нельзя.

Он и начался-то гораздо раньше рождения Гагаузской и Приднестровской республик, которые лишь придали ему новое качество: политического и законодательного самооформления.

У ВРАТ ЕВРОПЫ

80—90-е годы вернули на арену мировой истории не только, как казалось, испустивший дух после двух мировых войн «евроцентрический восторг», но и классическую проблему «Россия и Европа».

Сегодня ее решение видится легким, что и заложено в основополагающей идее перестройки в СССР как вхождения СССР в мировое сообщество через общеевропейский дом. Между тем следует понимать, что в государстве с евразийским населением, с архитектоникой христианско-мусульманского мира, к тому же включающей еще латинско-православную проблему, вряд ли возможны простейшие механические решения.

Уже сегодня очевидно, что резонансом к идее общеевропейского дома в южноазиатской части СССР звучит идея общемусульманского дома. Но и на европейской части хватает сверхсложных узлов проблем.

Так, северо-западный — западный регион СССР, включающий в себя республики Прибалтики, Калининградскую область, Западную Белоруссию, неизбежно на пути своего вхождения в европейскую общность наткнется на проблему экономической ориентации (Германия или Скандинавия, романская или англо-саксонская ориентация). А также и на территориальный вопрос — так называемую проблему «спорных территорий» Украины, Белоруссии и Литвы. Судя по опубликованной в Литве еще весной карте Великого княжества Литовского — «от моря и до моря» — и по проекту Балтийско-Черноморской конфедерации, она будет весьма актуальна.

Неоднородна в своих политических ориентациях Украина, на территории которой присутствует как проблема межконфессиональных взаимоотношений (латинско-православная, обострившаяся в последнее время), так и проблема отношений межэтнических: собственно украинского населения (согласно традиционной терминологии, малороссов) и новороссов, населяющих юго-запад и юг республики, карпатских и прикарпатских меньшинств, населения восточных областей Украины, по своему типу тяготеющего к общерусскому.

Субъекты этих проблем — народы, и для каждого из них модель вхождения в европейскую и мировую общность может и должна быть специфичной.

Если «договаривающимися сторонами» являются народы, то большая часть проблем решается уже тем, что все народы объявляют свое волеизъявление. Если договариваются территории через моноэтнические правительства, то большая часть народов остается вне волеизъявления. В первом случае — **народы входят в содружество, во втором — их либо вводят, либо «затаскивают».**

История народов, проживающих на европейской части СССР, показывает, что по крайней мере в нескольких регионах развернется масштабный процесс переструктурирования:

— западный и северо-западный регион СССР, включающий в себя территории прибалтийских республик и ряд прилегающих районов, может двигаться в направлении формирования балтийско-черноморской структуры — федерации или конфедерации;

— центрально-славянский регион, включающий в себя центральную Украину и центральную Белоруссию, вряд ли поддержит латинский вектор и скорее всего будет выступать за сохранение восточнославянской общности;

— новороссийский регион, составленный из Крыма, прилегающих к нему на западе областей и далее на север до Западной Украины, явно тяготеющий к собственному структурированию внутри восточнославянского пространства, в пределах которого при исходном принципе безусловного равенства народов решается и проблема крымско-татарского населения. Вместе с тем здесь высока вероятность эскалации напряженности по оси: Крым — Западная Украина — Прибалтика;

— казачьи земли (Дон, Кубань, Терек и ногайские степи, Ставрополье). В этом регионе альтернативы восточнославянской ориентации нет;

— западная и северо-западная Россия от Архангельской области на севере до Воронежской области на юге и от Ленинградской области на западе до поволжских русских областей. Кроме двух городов — Москвы и Ленинграда,— это регион относительно политически стабильный с выраженной восточнославянской ориентацией.

Уже по характеру выделенных регионов видно, что в их западных частях, вероятнее всего, будет преобладать стремление самоопределиться в качестве независимых полносуверенных государств, апеллирующих для утверждения своего суверенитета непосредственно к мировому сообществу и опирающихся на латино-романскую или балтийско-скандинавскую историческую традицию. Напротив, центральные, северные, восточные и южные части собственно славянского пространства, включая тяготеющие к нему неславянские народы, будут искать формы самоопределения внутри существующего государства, цельность и суверенность которого выступает для них как самоценность и источник взаимных гарантий.

Этот процесс был бы существенно облегчен, если бы какой-либо достаточно многочисленный славянский народ — всё равно, украинцы, белорусы или русские,— реально мог бы взять на себя функцию нового объединения восточных славян — ту, некогда выполненную великороссами. Однако объективно ни РСФСР, ни Украина или Белоруссия не могут взять на себя эту задачу, так как сами находятся перед проблемой государствопостроения, которая все более очевидно встает как первоочередная перед всеми народами нашей страны, по мере того, как она превращается в союз суверенных этнических государств.

Эта проблема встает и перед крупнейшим народом в СССР — русским, в процессе суверенизации территорий стремительно превращающимся в народ безгосударственный, в «Иоанна Безземельного».

Сегодня Россия — это не органическое целое, а сумма механически слагающихся суверенных автономий и несуверенных краев и областей с русским и российским населением. «Русское море» гибнет, подобно Аралу...

Тем более достойно удивления и сожаления то, что суверенизировавшиеся российские автономии с необычайным ожесточением отвергли сравнительно мягкий вариент разрешения назревающего противоречия — через равностатусность внутрироссийских административно-территориальных и национально-территориальных образований. Хотя принцип равностатусности не уменьшает прав национальных территорий, а лишь дает такие же права русскому населению России. Наивно думать, что противодействие бывших автономий может снять проблему (140-миллионный народ с исторически выраженным государственным инстинктом не может остаться без государственности). Эта проблема лишь возвратится в гораздо более жесткой форме.

Отсутствие «материнской» земли для процесса новогосударственного восточнославянского объединения неизбежно переносит процесс суверенизации россиян и тяготеющих к ним этносов на малые территории. Как проявление и начало этого процесса, на наш взгляд, следует рассматривать оформление новороссами и гагаузами своих суверенных республик.

Учитывая протяженность расселения восточнославянских народов в СССР, множественность тяготеющих к ним этносов, можно прогнозировать продолжение их дисперсной суверенизации, а в случае непризнания и настойчивого стремления игнорировать их — появления новых (географически и качественно) зон конфликта на карте Союза.

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ ДОМ

Многовековая история евразийских этношений на пространствах России в значительной мере определялась желанием поглощения восточнославянских народов либо сильной Европой, либо кочевой Азией. С XIII века, когда наиболее ярко в истории России обнаружили себя «тевтоно-монгольские» клещи, и до 1945 года это историческое противоборство постоянно давало знать о себе.

Абсолютно позитивный лозунг перестройки о вхождении в мировое сообщество не заостряет эту историческую проблему, наоборот, видимым образом как бы снимает ее. Однако она, похоже, обостряется при реализации идеи вхождения в общеевропейский дом, где нет места ни восточным славянам, ни подпирающему их мусульманскому миру. В этих условиях вход в общеевропейский дом может завершиться либо у порога дома восточных славян, сохраняющих свою надгосударственную общность, либо они должны быть поделены между общеевропейским и общеазиатским домами. Ибо на примере событий в Молдавии видно, что попытки поделить восточных славян между прихожими двух домов могут иметь самые катастрофические последствия, т. к. условием такого «дележа» становится обесценение славянской истории. И тогда проблемой будет выживание полиэтноса, который еще не забыл, что до сих пор он выжил только потому, что сумел создать свой дом.

Некогда его звали Россия.

ПРОЗА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Эта книга о Сталинграде, а значит, и о войне.

Последняя книга Валентина Пикуля.

Валентин Саввич не думал писать этот роман (которому он впоследствии даст название «Площадь Павших борцов» и первый том которого — «Барбаросса» — представляется на суд читателей) — его, как известно, интересовали более отдаленные по времени события.

И лишь когда стали известны подробности гибели отца, он обратился к изучению событий Сталинградской битвы.

О Сталинградской эпопее написано много — книги историков и мемуары фронтовиков составляют солидную библиотеку, немалую часть которой Валентин Саввич детально изучил. Он использовал более 500 историко-архивных источников, монографий, воспоминаний отечественных и зарубежных очевидцев.

В истории всех войн, о которых ему приходилось писать, чаще всего его привлекало сплетение стратегии с политикой.

Понятно, что Сталинград — это не просто город на Волге, символ нашей Победы, это еще и главный военно-политический фактор всей мировой войны, влияние которого сказалось во всем мире — даже послевоенном!

Бои на чердаках и в подвалах Сталинграда эхом отражались в пустынях Ливии и в водах Атлантики, от них зависело многое в жизни народов Европы и Америки; Сталинград стал началом конца режима Муссолини в Италии: от него протянулась цепочка заговоров против Гитлера; наконец, со Сталинграда начался сдвиг в сознании немцев, когда стало заметно крепнуть антифашистское движен. . Поэтому Валентина Саввича в период работы над романом больше всего волновали стратегические планы и запутанная атмосфера политических настроений.

Валентин Саввич честно признавался, что не считает себя вправе приглашать читателей в «окопы Сталинграда», ибо сам в них не бывал. Но как писатель-историк и участник войны не мог пройти мимо грандиозных событий на великой русской реке.

Посвящая эту книгу памяти отца, Валентин Саввич брал на себя большую моральную ответственность: он должен был написать книгу, достойную того героического времени.

Роман давался трудно. Приходилось отступать, останавливаться, переводить дыхание и, собрав волю, снова идти вперед... И хотя здоровье уже было подорвано многолетней работой на износ, верность сыновнему долгу обязывала продолжать нелегкое дело. Он очень любил отца, часто вспоминал, что, несмотря на трудное житье, отец на последние копейки покупал ему детские книжки. Благодаря отцу он в четыре года уже бегло читал, сделав первый шаг по лестнице призвания.

Память об отце у Валентина Саввича неразрывно связывалась с понятиями: долг, честь, совесть, вера. Скорбь усиливалась тем больше, чем яснее он осознавал исчезновение этих качеств в людях.

И, видимо, отсюда на вопрос: «А что же было в то время у нас хорошего?» — на страницы книги выплеснулось:

«Народ был хороший — лучше нас с вами. И любовь к великой Отчизне даже в те злодейские времена народ испытывал гораздо большую, нежели сейчас...»

Работа над книгой требовала полной отдачи сил, энергии и здоровья. А всего этого оставалось все меньше и меньше...

В последний вечер перед обычной «ночной вахтой» — писал-то Валентин Саввич ночами — он сказал мне:

— Все... Осталось две главы — примерно авторский лист, потом — обращение к читателям, его мы напишем вместе.

Две последние главы были написаны начерно. Я решила внести их в текст романа в том виде, в каком они созданы автором.

Утрата — моя и почитателей творчества Валентина Пикуля — невосполнима. Как много он хотел еще сделать, сколько планов и задумок было у него. Не довелось... Судьба распорядилась иначе. Надеюсь, что читатели этой книги добрым словом вспомнят ее автора — своего современника, сумевшего по-своему рассказать нам о героических и трагических событиях многотрудной истории нашего Отечества.

Вечная память всем, павшим во славу Родины!

Вечная память Савве Михайловичу Пикулю и его сыну Валентину Саввичу, сложившим свои головы на подступах... к Сталинграду.

Антонина ***ПИКУЛЬ.***

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

БАРБАРОССА

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ

Светлой памяти отца, Саввы Михайловича Пикуля, который в рядах морской пехоты погиб в руинах Сталинграда, — с сыновней любовью посвящаю.

НАЧИНАТЬ ЛУЧШЕ С КОНЦА

Последний самолет из Сталинграда... самый последний!

6-я армия Паулюса давно потеряла аэродромы в Питомнике и Гумраке; трехмоторный «Ю-52» с трудом оторвался от земли — среди гиблых воронок, обгорелых грузовиков и штабных автобусов, забитых окоченевшими трупами. Чтобы скорее уйти от огня зениток, пилот слишком резко набрал высоту, при этом мешки с полевой почтой сами по себе откатились в хвост фюзеляжа... Перегруженную машину трясло от близких разрывов, осколки часто барабанили в корпус. Штурман прогорланил:

— Это развлекаются русские девки, которых Сталин соблазнил зенитками, вот они и лупят. Поверьте: лучше было десять раз пролететь над Тобруком или Мальтой, нежели один раз над русскою Волгою...

«Ю-52» еще недавно снабжал армию Роммеля в Африке и потому летел над заснеженной степью — желтый, как заморский попугай, замаскированный под цвет пустынь Киренаики. Штурман велел радисту передать в Полтаву, что «воздушный мост» 6-й армии Паулюса разрушен, пусть никто не вздумает повторить их опыт: они последние! Радист сообщил:

— Сальск уже не принимает, садимся в Новочеркасске. Не знаю почему, но это — *личное* распоряжение Геббельса.

— Геббельс? — удивился пилот. — Но с каких это пор министр пропаганды стал вмешиваться в дела военных?

— Сам дьявол в делах Берлина не разберется...

На аэродроме в Новочеркасске самолет ожидала команда полевой жандармерии и служба войсковой почты. Семь мешков с последними письмами последних солдат «крепости Сталинград» шмякнулись на снег, словно противные лягушки. Теперь предстояла проверка пассажиров, улизнувших из Сталинграда. Раненых из котла давно не вывозили. Покидающие котел должны были иметь разрешение на вылет, заверенное лично Паулюсом или начальником его штаба Артуром Шмидтом. Но была еще спасительной для счастливцев справка о тяжкой болезни за подписью генерала-профессора Отто Ренольди — главного врача окруженной армии. Среди пассажиров «Ю-52» только один капитан улыбался, почти блаженно. Остальные — как выходцы с того света. Впрочем, хлопот жандармерии они не доставили: кинооператор из ведомства Геббельса с отснятой пленкою, немощный генерал с камнями в печени, инженер по наладке станков, знания которого в котле оказались лишними, зубной техник, инспектор метеослужбы, два священника и прочие. Дошла очередь и до капитана, о принадлежности которого к войскам связи можно было судить по желтым петлицам.

Блаженная улыбка еще не покинула его лица.

— Сейчас, сейчас, — пугливо говорил он, ковыряясь в обширном бумажнике. — Генерал Шмидт даже настаивал на моем вылете. Не могу найти! Куда я засунул эту справку?

— Причина вылета? — спросили жандармы.

— Специалист по штабным телетайпам.

— Это профессия, но это не причина.

— Мне обещано место в гарнизоне Кракова.

— Тоже не причина. Может, вы ранены?

— Нет... Впрочем, нуждаюсь в операции.

— Тогда где же справка генерала Ренольди?

— Ренольди меня осматривал, но я...

— Ясно, — сказал офицер полевой жандармерии, и на его груди качнулась большая бляха с № 3307. — Отойдите.

— В сторону... быстро! — заорали жандармы.

Только теперь капитан все понял, и улыбку блаженства сменила серая, как гипс, маска ужаса.

— Не надо... прошу вас, — бормотал он, становясь жалким. — Клянусь... у меня жена... трое детей! Вот они...

Он загораживался фотографией трех кудрявых детишек.

Его расстреляли под «брюхом» самолета, который медленно докручивал в морозном воздухе последние обороты пропеллеров. Большие жирные вши ползали на застывающем трупе.

Жандарм под № 3307 еще продернул затвор шмайсера.

— Когда же это кончится? — сказал он...

Через пять дней все кончилось: Паулюс капитулировал.

. . . .

Был объявлен трехдневный траур. Театры, рестораны и даже пивные закрыли. Берлинское радиовещание транслировало траурные марши Бетховена; жутко было от мощного вздрагивания оркестров — от «Гибели богов» Вагнера. Политический радиокомментатор Ганс Фриче прослушивал последнюю сводку советского командования, которую Москва передавала на немецком языке. За этим занятием его и застал Геббельс.

— Ну, что они там? — спросил министр пропаганды.

— Торжествуют... Конечно, такого еще не бывало: один фельдмаршал и сразу двадцать четыре генерала, куда же больше? Сейчас их там загонят в подвалы огэпэу, где они и подпишут все как миленькие... А потом — пиф-паф в затылок!

Беседа проходила в «Радиодоме» на Мазурен-аллее.

— Надо бы вытащить к микрофону сына Паулюса, — сказал Геббельс. — Он в чине майора, тоже был в шестой армии, хотя котел его миновал. Я уже слышу скорбный, но мужественный голос сына, вещающего Германии о героической гибели отца на приволжской площади Павших борцов...

Геббельс шлепнул на стол папку, перечеркнутую по диагонали красной полосой, означавшей: СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. Неожиданно завел речь о жене Магде и своем пасынке:

— Ночью она, бедняжка, опять жаловалась на перебои в сердце. Я понимаю ее страдания: Гервальд повидал только Крит, и теперь она боится, как бы его не загнали на Восточный фронт. Материнское сердце! Тут ничего не поделаешь... Ну, — спросил он, — а как дела с почтой из Сталинграда?

Над Германией погребально звонили церковные колокола. Фриче был весь в черном — как церемониймейстер на похоронах.

— Семь мешков писем с последним самолетом, — отвечал он. — Вот не ожидал... Когда я летом из Харькова вел трансляцию об успехах шестой армии по окружению Тимошенко, разве я мог подумать, что вещаю в эфир о покойниках?

— Не раскисать, Фриче! Мы же работаем столько лет... Сейчас самое главное поставить фильм о короле Фридрихе Великом. Это будет здорово! Пусть мундир короля обветшал и весь в заплатках, пусть режиссер крупным планом выделит его дырявые ботфорты. Но лица королевских гренадеров должны излучать железную веру в победу... Я опять вижу крупный план! Это будет потрясающий фильм, Фриче...

Паулюс и его генералы этого фильма уже не увидят. Застуженные русские поезда развозили шестую армию по лагерям для военнопленных. Их везли так, чтобы они не могли прочесть названия станций. Им оставили все ордена и отличия, но отобрали географические карты и наручные компасы, дабы не возникло соблазнов к побегам. Гитлер в эти дни много рассуждал о том, что напрасно поспешил, присвоив Паулюсу чин генерал-фельдмаршала; он вспомнил красивую благородную даму — секретаршу Геринга:

— Порядочная женщина! Рейхсмаршал распустил свои руки, обращаясь с ней, а она прошла в свой кабинет и застрелилась... Как все просто! Пистолет — это же легкая смерть. Какое малодушие испугаться выстрела... В эту войну больше никто не получит звания фельдмаршала!

Паулюса отвезли в Суздаль, а в Германии о нем сообщили, что он погиб, отстреливаясь до последнего патрона, — на той же площади Павших борцов.

3 февраля Геббельс дал установку для прессы:

«Газеты должны выйти без траурных рамок. На первой странице можно поместить несколько иллюстраций героического содержания. Надлежит описать эту битву в сдержанном, мужественном, национал-социалистском духе. Настал момент, когда немецкие журналисты и писатели должны создать миф, который даст силы грядущим поколениям германской нации. Полученные раны заживут, а героизм переживет века. Разъяснение: самостоятельные комментарии запрещаются...»

— Допустимы ли сейчас, — спросил Фриче, — аналогии между нынешним положением рейха и положением старой Пруссии после поражения от русских при Кунерсдорфе?

— Пожалуй... да! — согласился Геббельс. — При этом у микрофона следует напомнить слушателям (но с умом!), что героизм сталинского солдата мало чем отличается от храбрости русского солдата времен царицы Елизаветы. Это, скорее, упрямство скотов на

великой мясной бойне, а совсем не продуманное явление патриотизма, как твердит нам по радио московская пропаганда...

Мешки с письмами вскрыли в канцелярии Геббельса.

— Начнем творить миф! — сказал он. — Создадим особую комиссию из проверенных членов партии. Срежем адреса на конвертах. Все письма из Сталинграда классифицируем по их настроению. Последние слова гренадеров Паулюса станут основой для создания бессмертной биографии... Я уже вижу, как потомки с трепетом приникнут к этим скрижалям!

Все сделали, как он велел: письма пустили в набор, и тут наступило отрезвление... Геббельсу было доложено:

— Такого мифа создать нельзя! Лишь два процента солдат армии Паулюса еще продолжали верить в дело фюрера, остальные слали проклятия. Вот послушайте: «Сталинград — хороший урок для немецкого народа. Жаль только, что тем, кто получил этот урок, трудно будет использовать его в будущие времена. Но всем нам, немцам, следует помнить о нем...»

Геббельс вчитался в корректуру. Некоторые фразы были уже подчеркнуты цензорами из бюро военно-статистической информации: «Ты — жена немецкого офицера, и ты должна понять все, что я тебе скажу... Я не трус! Но мне обидно, что самую большую храбрость я мог проявить в деле, которое абсолютно бессмысленно и преступно... Итак, ты знаешь, что я к тебе не вернусь. Но меня никто не убедит умереть со словами: «Хайль Гитлер!»

— Да, это для печати не годится, — огорчился Геббельс...

18 февраля он выступил в берлинском Спортпаласте:

— Нам осталось две крайности: капитулировать или открыть тотальную войну... Вы разве хотите поражения?

— Нет, нет, никогда, — хором отвечали из зала.

— Значит, вы хотите тотальной войны?

— Да, да... хотим! — и зал вздрогнул в овациях.

...Геббельс не дожил до Нюрнбергского процесса. Зато на скамье подсудимых в Нюрнберге оказались два представителя германского генштаба — Йодль с Кейтелем. А фельдмаршал Паулюс занял место на трибуне свидетеля, и, кажется, был момент, когда из свидетеля он мог стать подсудимым.

. . . .

Нюрнберг! Как он был страшен в те годы...

Американский солдат, удовлетворяя половой инстинкт прямо в подворотне, грубо сказал раскрашенной немке:

— Не все в Германии так уж и погано, как об этом писали в наших газетах. Благодарю вас, фрау!

Немка заплакала от женского стыда:

— Я ведь не проститутка... вдова капитана! У меня трое голодных детей, а что получишь от вас по карточкам?

«Джи-ай», ухмыльнувшись, протянул ей чулок:

— Можешь обменять на кофе... идет?

— А где второй?

— Если хочешь иметь пару, то второй получишь завтра на этом же месте. Сам я не приду, но пришлю вместо себя своего хорошего друга — со вторым чулком!

Да, страшен был Нюрнберг в 1946 году — поверженный, голодный, опозоренный. Над дверями приличных баров висели объявления: «Немцам вход воспрещен». На смену победным радиофанфарам Геббельса пришли ветхие шарманки, напевавшие старое, памятное еще со времен кайзера Вильгельма:

Мое дитя, ты не свихнись,
Где больше спятивших —
Туда стремись...

Бравые сержанты армии США торговали на рынках пенициллином, безногие калеки в мундирах вермахта предлагали авторучки «Паркер». Чашка кофе стала праздником, а жевательная резинка — развлечением. По указанию Эйзенхауэра немцы получали продуктовые карточки в том случае, если могли предъявить использованный билет на просмотр документального фильма о зверствах нацистов в концлагерях. Американцы гоняли немцев смотреть раскопанные рвы, в которых догнивали трупы замученных, а немцы говорили, что «они ничего не знали». Это бесило американцев:

— Хватит трепаться, будто вы не знали того, что у вас под носом творилось! Почему же мы, жившие за тысячи миль от Германии, были извещены обо всех ужасах в вашей стране?..

В нюрнбергском Дворце Юстиции заседал Международный трибунал, и там, в качестве обвинительных документов, тоже показывали фильмы о зверствах гитлеровского режима. Здесь тоже отворачивались от экрана, надевали непроницаемые очки, а некоторые военные преступники даже... плакали. Судьям и прокурорам невольно вспомнилась старинная сентенция: «Бойтесь побежденных немцев! Если им не удалось затопить мир в крови, они затопят его своими слезами...» Нюрнберг, бывшая «партийная столица» Гитлера, оказался столицей международного правосудия. Конечно, наехало множество журналистов и хроникеров, жаждавших неповторимых кадров, уникальных сенсаций. Но скоро первичная острота впечатлений притупилась. Корреспонденты проводили время в барах пресс-кемпа, маклачили барахлом, флиртовали. Впрочем, администрация Дворца Юстиции предусмотрела и это. В бары были выведены репродукторы, доносившие каждое слово прокуроров и подсудимых, о важных событиях процессов оповещали гудками сирены, чтобы все поспешили к телетайпам, занимали телефонные будки... Американцы жаловались русским коллегам:

— Все надоело! О чем писать? Вот если бы московский обвинитель Руденко выхватил из карманов галифе пистолет и шлепнул за барьером самого Геринга... ого!

Морозный день 11 февраля не сулил никаких сенсаций. Никаких, пока речь не зашла о плане «Барбаросса» — плане нападения Германии на Советский Союз. Руденко представил Трибуналу письменное показание по этому вопросу Паулюса:

— Его аффидевит прошу приобщить к делу...

Адвокаты, защищавшие на процессе военных преступников, даже в самом имени фельдмаршала ощутили добротный «материал» для защиты Йодля и Кейтеля, благо не кто иной, а сам Паулюс был главным создателем плана «Барбаросса».

Пошептавшись с Герингом и Риббентропом, они заявили:

— Суд, нам кажется, не может довольствоваться лишь письменным аффидевитом, для полного установления истины требуется и личное присутствие Паулюса.

Все заметили удовольствие на лице Геринга. Конечно, большевики способны подсунуть Трибуналу липовую бумажку, будто писанную Паулюсом, но... где они возьмут самого Паулюса? А если фельдмаршал еще не околел после зверских пыток на Лубянке, то что хорошего он может сказать?

Лорд Лоренс почтительно спросил Руденко:

— Сколько надобно времени советской стороне обвинения для доставки сюда свидетеля Паулюса?

— Пять минут, — ответил Руденко.

Это и был тот момент, когда сирена возвестила в пресс-кемпе небывалую для процесса сенсацию. Адвокаты в лиловых мантиях уже ринулись на трибуну:

— Нет, нет! Мы не настаиваем на вызове фельдмаршала Паулюса в качестве свидетеля советской стороны обвинения! Защита ознакомилась с его аффидевитом, и она полагает, что этого вполне достаточно для судебного процесса...

Поздно! Уже прозвенел звонок в руке Лоренса:

— Прошу ввести свидетеля Фридриха Паулюса...

Настала мертвая тишина, и в этой зловещей тишине зал услышал четкие шаги человека — это шагала сама история. Появилась подтянутая, юношески стройная фигура генерал-фельдмаршала, одетого в синий ладный костюм. Выражение его лица оставалось непроницаемо даже тогда, когда вокруг него вспыхивали репортерские «блицы», его нисколько не смутило резкое жужжание киносъемочных камер...

Нет, это не призрак. Нет, это не загробная тень.

— Вас зовут Фридрих-Вильгельм Паулюс?

— Да.

— Вы какого года рождения?

— Тысяча восемьсот девяностого.

— Вы родились в деревне Брейтенау?

— Да. Гессен-Кассельские земли Германии. — Рука фельдмаршала бестрепетно покоится на Библии. — Клянусь говорить правду, только правду...

Геринг надевает черные очки. Кейтель передает записку Риббентропу, Йодль делает вид, что сейчас нет ничего интереснее на свете, чем играть с карандашом. Паулюс ровным тоном рассказывает, как зарождалась преступная агрессия против Европы, прямо в лицо разоблачает тех, от кого отделен сейчас барьером неприкасаемости. Адвокатам военных преступников такая правда не нужна! Но есть выход: запугать фельдмаршала, вызвать к нему антипатию, здесь же следует превратить его в мерзавца и продажную тварь:

— Знает ли господин Паулюс, что если высокий Трибунал, осуждая фельдмаршалов германского генштаба, сочтет этот генштаб организацией преступной, то и господин Паулюс автоматически переводится в разряд преступников?

Но Паулюс не такой человек, которого можно упрятать за барьер. Ясно, что сидеть между Йодлем и Кейтелем он не намерен... Вот его протокольный ответ:

— Я здесь выступаю в качестве свидетеля в отношении тех обвинений, которые предъявлены подсудимым. Поэтому я прошу суд позволить мне не отвечать на вопросы, которые направлены на то, чтобы обвинить лично меня.

Перекрестный допрос адвокатов напоминает ему перекрестный обстрел из пулеметов... еще там, в Сталинграде!

— Правда ли, что вы читаете лекции в московской Академии Генерального штаба, обучая советских генералов?

Что-то вроде улыбки исказило лицо Паулюса:

— Постарайтесь вспомнить, кто кого победил в этой войне? Есть ли резон в том, если русские генералы будут выслушивать мои лекции, основанные на горьком опыте?

— А какая у вас должность сейчас?

— Самая отвратительная — военнопленный.

— Вас привезли сюда из концлагеря?

— Нет. Я живу под Москвою... на даче.

— И чем же вы заняты на этой даче?

— Вспоминаю. Рисую. Кормлю белок. Развожу цветы...

Чешский журналист из «Руде право» Зденек Кропач записал: «Когда фельдмаршал уходил, не чувствовалось, что он устал. Все такой же уверенный в себе, он шел длинными коридорами в сопровождении советско-американского конвоя».

Здесь его перехватил корреспондент Хейдеккер:

— Один вопрос — как живется пленным в России?

— Хорошо, — ответил Паулюс кратко.

«Джи-ай» уже отталкивал Хейдеккера, приказывая ему удалиться, но тот успел еще крикнуть:

— Хорошо? И даже вашим? Сталинградским?

— Успокойте немецких матерей, — холодно произнес Паулюс. — Напишите в своей газете, что германские военнопленные в России обеспечены гораздо лучше, нежели русские дети... Они были бы счастливы иметь сахарный паек — какой имеют мои солдаты...

. . . .

Повидать отца приехал из-под Кельна сын, Эрнст-Александр Паулюс, бывший майор вермахта. На постоялом дворе в деревне под Нюрнбергом майор не отказался от беседы с московским журналистом Михаилом Гусом, который всю войну вел в эфире борьбу с радиопропагандой Геббельса.

Здесь, в немецкой деревне, Гус узнал, что осенью 1944 года семья фельдмаршала была репрессирована.

— Арестовали не только меня, но и мать, жену, всех детей. Я сидел в гестапо на Принц-Альбертштрассе, восемь. Потом перевели в военную тюрьму Кюстрина. Сейчас с женою проживаю во Фризене, где служу на печной фабрике тестя...

— Наверное, репрессии обрушились на вашу семью, когда фельдмаршал выступил по московскому радио против нацистского режима и лично против Гитлера?

— Пожалуй, раньше... Сразу, как только отец вступился за генерала Курта Зейдлица, и я до сих пор не пойму, зачем он это сделал. Отец знал обстановку в рейхе, мог бы и пощадить нас. Я знаю, что Зейдлиц в плену стал вашим агентом. Но он предал моего отца еще в котле. Роль этого генерала в судьбе отца оказалась столь роковой, как и влияние Артура Шмидта... Вы его знаете?

— Да, майор. Они и в Сталинграде не ладили. Генерал Шмидт как нацистский преступник осужден на двадцать пять лет и освободится вскоре.

В беседе было никак не миновать Сталинграда.

— Вы, — сказал майор Паулюс, — не должны думать об этой трагедии упрощенно. Это не только наше поражение и не только ваша победа. В котле Сталинграда возникали проблемы не обязательно военные. Были и политические. Были и чисто моральные. Надеюсь, с вашей стороны тоже возникали подобные вопросы. А теперь немецкий фельдмаршал, мой отец, вынужден перед лицом международного трибунала осуждать своих же коллег.

— Все, что делает ваш отец, — отвечал Гус, — он делает добровольно, и не ошибаетесь ли вы, думая, что он вынужден давать показания? Вам, вышедшему из тюрьмы гестапо, не следовало бы рассуждать так наивно. Простите меня.

— Ах, при чем здесь тюрьма! Франц Гальдер, начальник нашего генштаба, тоже сидел в концлагере. Ялмара Шахта американцы вытащили чуть ли не из печей крематория в Дахау. А теперь вы же объявили их военными преступниками... Да, — заключил майор, — Германия сейчас в слезах, но придет время, и мы, побежденные, еще станем потешаться над вами, победителями. Помните, что завещал великий Шиллер: «Даже на могилах пробиваются яркие ростки надежды...»

И даже здесь, в пригородах Нюрнберга, скрипела старинная шарманка, возвещая былое, из которого все и возникло:

Мое дитя, ты не свихнись,
Где больше спятивших —
Туда стремись...

2*

ТОМ ПЕРВЫЙ

Следуй реке, начиная с ее истоков.
Истина сегодня —
завтра окажется ложью.
Ф. Паулюс (из записной книжки).

Часть первая

Большая стратегия

Мне тогда совсем не приходила в голову революционная мысль о том, чтобы сознательно вызвать поражение и тем самым привести к падению Гитлера и нацистского режима как препятствия для окончания войны.

Из архива фельдмаршала *Ф. Паулюса.*

Фридрих Паулюс — одна из наиболее выразительных фигур германского фашистского генерального штаба. Судьба этого человека, если рассматривать ее через призму исторических судеб германского милитаризма, характерна.

Д. М. Проэктор. «Агрессия и катастрофа».

1. РУКИ ПО ШВАМ

Красная вертикаль лампаса подчеркивала его стройность.

Внешне и внутренне Фридрих Паулюс как бы выражал некий эталон образцового генштабиста. Неразлучное присутствие красивой жены с ее очень выразительной внешностью яркой бухарестской красавицы дополняло его лаконичный облик.

В светском обществе он любил вспоминать былое:

— Дамы и господа, я вышел из школы Ганса Секта, стесненного условиями Версальского мира. Сект не имел права усиливать нашу армию. Но старик извернулся, найдя выход. В его рейхсвере любой фельдфебель готовился в лейтенанты, а лейтенанты умели командовать батальонами. Версаль воспретил нам, немцам, иметь танки! Но в автомобильной роте Цоссена мы обучались на тракторах, ибо трактор сродни танку. А наши замечательные конструкторы втайне уже работали над проектами совершенных форм и прекрасных моторов. Наконец пришел Гитлер, он денонсировал позорные статьи Версаля, и мы сразу оказались закованы в крупповскую броню...

Типичный офицер старой школы, Фридрих Паулюс, отдадим ему должное, был далек от пруссачества — с его моноклем в глазу и высокомерным фанфаронством. Ему, рожденному при жизни Бисмарка и Мольтке, было суждено отмаршировать в рядах армии кайзера, рейхсвера генерала Секта и гитлеровского вермахта. Перешагнув за сорок лет, Паулюс с нежной грустью вспоминал минувшую эпоху «Вильгельм-цайт», отзвучавшую вдали призывными звуками вальса:

— Германия жила иначе. По вечерам на улицах слышалась музыка, немцы были добрее и много танцевали. А какие вкусные ликеры привозили из Данцига! Тогда от самой Оперы до Бранденбургских ворот можно было гулять под липами...

Теперь — увы! — Унтер-ден-Линден казалась голой: Гитлер вырубил древние липы, посаженные еще при Гогенцоллернах, чтобы деревья не мешали его факельным манифестациям.

Паулюс всегда грустил, вспоминая эти берлинские липы, а площадь Павших борцов в Сталинграде еще не тревожила его стратегического воображения, да и сам Сталинград на картах именовался по-старому — Царицын. Но как генштабист Паулюс хорошо знал самое для него существенное:

— Там у большевиков тракторный завод, а где трактора — там и танки. Только этим интересен для меня этот город...

А все-таки, читатель, как же эта жизнь начиналась?

. . . .

Фридрих Паулюс был сыном счетовода, служившего в тюрьме Касселя; мать его, тихая и болезненная женщина, была дочерью дирижера, управлявшего хором арестантов в той же тюрьме, и пока тесть разучивал с арестантами божественные хоралы с призывами ко Всевышнему о милости, его отец отщелкивал на счетах количество съеденного арестантами гороха с салом.

Семья Паулюсов, очень старинная в Гессен-Кассельских землях, родословием не могла похвастать, ибо их предки извечно крестьянствовали, лишь одиночки выбились в священники, сельские учителя или оставались мелкими чиновниками.

Отец внушал быстро подрастающему сыну:

— Всегда помни, Фриц, что все гессенцы, потомки древнегерманского племени каттов, были людьми честными, верными и добропорядочными. Знай, что лучше совсем не иметь друзей, но только бы никогда не иметь и врагов.

— Да, папа, — соглашался мальчик...

Паулюсу запомнилась вечно заботящаяся обо всех мать, старательный труженик-отец, который вечерами иногда приносил домой кастрюлю с гороховой похлебкой, что оставалась от ужина арестантов, семья Паулюсов насыщалась, старательно вспоминая бога, который о них не забывает.

Шел 1909 год, когда Фридрих Паулюс закончил гимназию и вышел в большой мир, который для него был заранее ограничен кастовыми перегородками. Он вырос грамотным, послушным, со всеми одинаково ровный, ни с кем не сближаясь и ни с кем не враждуя. Его аттестат зрелости лишь подтверждал достоинства юноши, но дорог в будущее не указывал. Германия времен кайзера была строгой империей, где все люди были заранее расположены по сословиям, как товары в магазине по полкам, и рожденный в подвале не смел претендовать на место в высших этажах имперского здания. Свою ущербность выходца из мелкобуржуазной семьи Паулюс испытал сразу же, когда его не приняли в военно-морскую школу:

— Советуем быть скромнее в своих желаниях, — заявили в школе Паулюсу. — Разве у вас в роду имелись офицеры?

— Нет, — стыдливо покраснел Паулюс.

— Может, были коммерц-советники?

— Тоже нет.

— В таком случае ищите в жизни другие пути...

Иные пути привели его в Марбург, где Паулюс стал изучать право в университете. Догмы юридической казуистики не заманивали его в свои головоломные дебри, где привольно паслись будущие зубры-прокуроры и адвокаты с повадками хитрых лис,— Паулюса волновало иное: как ему, сыну счетовода, сбросить ярмо своего презренного сословия, чтобы вступить в новый, сверкающий мир?..

Факультет права в Марбурге примыкал к клинике для умалишенных, и вечерами, покинув аудитории, Паулюс гулял в скверике, раскланиваясь с психопатами, среди которых встречались умнейшие люди. Как-то один из них, узнав о сетованиях юноши, сказал, что история Германии во все времена была, есть и будет только историей офицерского корпуса:

— Рано или поздно Германии предстоит вести большую войну, и армия готовится к ней, допуская в офицерское казино даже отпрысков из семей чиновничества. Попытайте счастья в Баденском полку имени принца Евгения Савойского... Служить не трудно, если держать руки по швам!

Паулюс начал службу в звании «юнкер-ассистента при знамени». Это случилось в феврале 1910 года, а осенью уже выбился в фенрики — кандидаты в офицеры. Он получил допуск в офицерское казино, под сень которого и вступил с молитвенным настроением пилигрима, отряхнувшего прах с ног своих, чтобы войти в заколдованный храм, где ему откроются непреложные истины. Тогда же Паулюс окончил военную школу в Энгерсе, и наконец пробил волшебный час: в августе 1911 года он стал лейтенантом. Первой узнала об этом его любимая сестра Корнелия, которую в семье называли Нелли. При встрече в Раштадте она пылко ласкала эполеты на плечах брата, целовала эфес его сабли.

— Кто бы мог подумать, — шептала она в небывалом экстазе. — Неужели и мы, Паулюсы, стали иметь офицера? Фриц, только б не было войны... Ах, ты бы знал, что стало с отцом и матерью, когда они известились о том, что их сын — лейтенант!

— Нелли, — отвечал Паулюс, обнимая ее узкие плечи. — Знала бы ты, что со мною происходит! Да, я ступил одною ногою на ту лестницу, по которой легко взбегали другие. Но теперь, теперь... я очень влюблен.

— Так это же хорошо, — порадовалась сестра.

— Это очень сложно. Ибо добиться руки и сердца моей избранницы для меня сейчас труднее, нежели стать фельдмаршалом. Не пугай маму и папу тем, что у их сына кружится голова.

. . . .

Было от чего закружиться голове лейтенанта...

Внешне это ни в чем не проявлялось: Паулюс оставался по-прежнему пунктуальным в службе, ровным в обращении с высшими и низшими, его голос — в радости или гневе — оставался спокойным. Казалось, возмутить его невозможно! Высокий и очень стройный, Паулюс был излишне щеголеват, бдительно следил за чистотой манжет, за блеском своих сапог, за строго-уставным размером мундирного воротничка.

— Милорд, — говорили о нем в Баденском полку, и он даже гордился этим прозвищем, которое заслужил корректной холодностью, одинаково пленявшей и его врагов и друзей.

Товарищами в полку были два брата-румына — Ефрем и Константин Розетти-Солеску, сыновья бухарестского консула в Берлине, и Паулюса влекло к братьям, ибо они для него были выходцами как раз из того загадочного и волшебного мира, который для Паулюса всегда оставался недоступным.

— Знай, — говорили братья, — что по линии матери мы происходим от племянника римского императора Юстиниана, наши предки из Генуи выехали в Валахию, где и стали боярами. Прабабушка была из рода князей Стурдза, что были господарями Молдовы, а наша бабка из сербской династии Обреновичей, что были королями в Белграде. Наконец, наш родной дядя, Георг Розетти-Солеску, был румынским послом в Петербурге, где и женился на Ольге фон Гирс, племяннице русского министра иностранных дел в царствование Александра III...

Да, действительно, было от чего закружиться голове Паулюса! Розетти-Солеску считались в Баденском полку крезами, ибо их мать, разведенная с мужем и оставшаяся жить в Германии, имела немалые доходы с колоссальных имений в Валахии, — к маркам они относились небрежно, а Паулюс подсчитывал даже пфенниги. Как бы

ни был он респектабелен внешне, как бы ни стремился оставаться в душе порядочным человеком, все равно Паулюс в глубине сердца мучительно завидовал аристократам, родня которых образовала космополитическую диаспору — от Петербурга до Берлина, от Белграда до Бухареста.

— Где ты проводишь отпуск? — спросили братья.

— Да так... где придется. А что?

Но при этом подумал, что дома, в родимом Касселе, опять ему доедать вчерашний суп, слушать вздохи и стоны матери, вечно больной, слушать, как после ужина отец будет вслух читать газету «Тетка Фосс» — о берлинских сплетнях, а сестра позовет в гости свою любимую подругу Лину Кнауфф, давно влюбленную в Паулюса, чтобы потом исподтишка и даже завистливо наблюдать за развитием романа... Тошно!

— Вот что, — сказали ему братья Розетти-Солеску, — мы отдыхаем летом в горном Шварцвальде, составь нам компанию для отдыха. Кстати, у тебя такие длинные руки и ноги, что как раз пригодишься сестре для игры в теннис.

Спасибо, что пригласили! Уже не денщик в казино ставил перед Паулюсом тарелку, а вышколенный лакей расставлял перед ним целый куверт из серебра с бокалами. Аристократическим холодом веяло от матери его однополчан. Катаржина Розетти-Солеску была дружна с румынскою королевой Елизаветой, рекомендованная которой, она и была принята в Карлсруэ при дворе баденской герцогини Луизы, что доводилась дочерью германскому императору Вильгельму I. Придворная дама, внешне очень приятная, она смотрела на лейтенанта Паулюса свысока, словно на мелочь, недостойную ее внимания.

Усаживаясь во главе стола как хозяйка дома, Катаржина Розетти-Солеску даже и не посмотрела на Паулюса и, заметив пустой стул возле него, недовольным тоном сказала:

— Моя дочь имеет дурную привычку опаздывать...

Елена-Констанция, ее дочь, села рядом с Паулюсом, и он невольно сжался, очарованный ее красотой и напряженный от того, что боялся ее вопросов, неожиданных для него, на которые не всегда мог ответить. После обеда Елена предложила ему прогулку до водопада в Раумюнцбахе.

— Извините, что по-немецки я говорю с акцентом француженки, — сказала девушка. — Виною тому мое воспитание. Наверное, не самое лучшее для моего круга...

Паулюс осторожными намеками выведал, что она старше его на один год, что воспитание она получила сначала в Париже, училась в пансионе Константинополя, а потом...

— Потом окончила девичий лицей королевы Виктории в Карлсруэ, почему и принята при дворе герцогини Луизы...

И вдруг случилось чудо! На горной тропе Паулюс испытал головокружение, и Елена-Констанция бережно указала ему место, где можно присесть, чтобы избавиться от дурноты при виде пропасти.

— Вы очень милы, лейтенант, — сказала она, откровенно любуясь им. — Мне братья рассказывали о вас. Кстати, я забыла, как зовут вас в полку?

— Милорд, — смущенно отозвался Паулюс.

— А еще как?

— Кунктатор. Потому что я слишком щепетилен в вопросах службы, стараясь быть пунктуальным во всем, что я делаю.

Стройная и красивая, она долго смотрела вдаль, а внизу где-то глубоко струились к вершинам тонкие дымки деревень шварцвальдских крестьян. Кажется, девушка о чем-то думала. Неожиданным был для Паулюса ее вопрос:

— И что же теперь вы собираетесь делать?

— Я хотел бы...

«Поцеловать вас», — ожидала она, но ответ был иным:

— Я хотел бы получить адъютантскую должность, ибо склонен к усидчивой кабинетной работе при штабах.

— Это... все? — смущенно спросила она.

— На первые годы — да, я был бы счастлив.

— Вы ошибаетесь. Аксельбант адъютанта от вас не уйдет, а вот я могу уйти и оставить вас на этой горной тропе, где вы изнемогаете от робости и головокружения...

Все стало ясно! Брак предстоял морганатический, неравный для нее, зато очень выгодный для Паулюса, сразу выводящий его из общей шеренги лейтенантов.

Паулюсу было не совсем-то удобно представлять жену-аристократку в родительском доме, которую он ласково называл Коко, но она восприняла все как надо — и бедный суп с картофелем, и чтение по вечерам газеты, и даже сестру мужа Корнелию, которая смотрела на свою невестку во все глаза, как на заморское чудо...

Вот и 1914 год! В этом году началась мировая война, а жена Паулюса одарила его дочерью, которую нарекли славянским именем — Ольга; в конце той же войны Елена-Констанция разрешилась близнецами-сыновьями. Фридрих в чине капитана будет убит итальянскими партизанами после свержения Муссолини, а второй сын Эрнст-Александр — это тот самый майор вермахта, который в Нюрнберге 1946 года почти озлобленно заявил нашему корреспонденту:

— Вы слишком гордитесь своей победой. А скоро все вы, и русские и ваши союзники, разинете рты от изумления, когда избитая Германия поднимется с корточек, на которые вы немцев поставили... Так уже было! Было после Версальского мира, так будет и после Потсдамского... А имя моего отца уже принадлежит истории!

2. ВНИМАНИЕ — ТАНКИ!

Паулюс закончил войну капитаном, имея железный крест от кайзера. Подвигов за ним, правда, не числилось, да он и сам не стремился совершать их. Известно: Паулюс использовал годы войны для того, чтобы заявить себя штабным работником. Он держался подалее от окопов и поближе к начальству; он не сидел в блиндажах, давя на себе вшей, а в тиши кабинетов, благоухая одеколоном, составлял отчеты по расходу вооружения и графики движения войск. «Офицер для поручений», Паулюс становился необходим для начальства, как хороший справочник для повседневного употребления. К тому же он обладал природным тактом, был сдержан в выражении эмоций, умел совмещать несовместимое, очень любил писать, никогда не уставая, неизменно помня о том, о чем начальники часто забывали, — все эти качества делали Паулюса нужным всем командирам.

Один из его полковников, принц Эрнст Саксен-Мейнингенский, в душе артист и художник, предупреждал Паулюса, чтобы тот никогда не совался в политику, и в этом случае предрекал ему скорую карьеру генеральштеблера (офицера генерального штаба):

— Только не лезьте в это вонючее дерьмо, что называется политикой, — говорил принц. — Если бы не политики рейхстага — мы бы сидели сейчас дома возле камина, а кошка катала бы клубок ниток возле ног любимой жены... Разве же это плохо, Паулюс?

Война закончилась Версальским миром, который офицеры называли «позорным», готовые хоть сейчас «переиграть» войну заново. Германия была в разброде чувств и мнений, все чего-то хотели, все кого-то ненавидели, а больше всего немцы хотели... есть! Однажды в отеле «Бристоль», где вместо масла подавали маргарин, а вместо

свежего мяса консервы, Паулюс заказал натуральный бифштекс, который стоил четыреста марок, а одноглазый официант, распознавший в нем фронтовика, дружески предупредил:

— Ешьте скорее, ибо цены растут, и, пока вы ковыряетесь с ножом и вилкой, бифштекс будет стоить уже семьсот марок...

Ряды рейхсвера редели, множество офицеров слонялось без дела, вспоминая блиндажи и окопы как уютные квартиры. Отставные генералы хвастались победами, каждый из них выиграл грандиозную битву, и было лишь непонятно, почему все вместе они проиграли войну, ввергнув Германию в хаос нищеты, в разброд инфляции и политической бестолочи. Паулюсу повезло: он остался в рядах рейхсвера, продолжая делать карьеру, столь удачно начатую...

Как искусствовед по фрагменту картины безошибочно угадывает автора полотна, так и Паулюс — по рельефу местности и отметинам построения войск — точно определял время и название битвы. В эти трудные годы ни он, ни его семья нужды не испытывали, ибо доходы с валашского имения Капацени поступали регулярно. Паулюс имел хорошую квартиру на Альтенштайнштрассе, но служба постоянно отрывала его от жены и детей, которых он очень любил.

Военная судьба однажды забросила его в Штутгарт, где стоял 13-й полк (пехотный), и здесь, далекий от того, чтобы заводить друзей, он, кажется, нашел друга, и позже, много лет спустя, что-то роковое будет связывать его с ним, делая неудачи одного зависимыми от побед другого.

Этого офицера звали Эрвин Роммель, он был тогда командиром пулеметной роты, а в офицерском казино Роммеля иначе как «швабский задира» и не называли. Казалось, что общего может быть между ними? Роммель — обвешанный орденами фронтовик, всегда готовый выпить и поскандалить, а Паулюс — джентльмен, с утра застегнутый на все пуговицы, легко ранимый грубостью, тихий, иногда даже мечтательный. Однако крайности сходятся, и Паулюс, обычно замкнутый, был с Роммелем доверителен.

— Эрвин, — как-то сказал он ему, — ты со своим буйным характером когда-нибудь оставишь голову в канаве.

— Завидуешь? — хохотал Роммель.

— Нет. Я не люблю строчить из пулеметов, предпочитая любой стрельбе музыку Баха... Моя мечта — планировать и руководить; чтобы слева от меня лежали карты, а справа — названивал телефон. Наконец, я хочу читать лекции по оперативному искусству, чтобы видеть раскрытые рты слушателей.

— Валяй, Фриц! Может, заодно и выпьем?

— Ты пей, а я должен быть со свежей головой, чтобы вечером как актер отрепетировать свои планы на завтра.

— Черт с тобой, репетируй! А я напьюсь...

Паулюс уже прошел специальные курсы для офицеров генерального штаба, сдал экзамены в Высшей Технической Школе в Шарлоттенберге, куда неучей не принимали, изучил военную топографию. Брак с румынской аристократкой во многом дописал облик Паулюса; умная и образованная женщина, она привила мужу интерес к широким познаниям, от Коко он приобрел лоск культурного светского человека (будучи в плену, фельдмаршал поразил нашего академика А. М. Кирхенштейна: «Фельдмаршал со знанием дела говорил мне о новейших способах лечения туберкулеза, о целебных свойствах швейцарского курорта Давоса, о последних трудах немецких физиологов...»).

Осенью 1931 года Паулюса отозвали в Берлин, где его поздравили с чином майора генерального штаба и поручили ему чтение лекций по вопросам тактики:

— Вы же знаете, Паулюс, как унижена наша армия всякими запретами «Версаля», и потому курс ваших лекций не будем афишировать для публики. Часть офицеров, ваших слушателей, нужна для окружения этого... Ну, вы догадываетесь, этого ефрейтора Адольфа Гитлера, чтобы мы, военная элита, водили его потом на коротком поводке. Но у нас имеется запрос из Москвы, чтобы курс лекций по тактике прослушали и советские командиры.

Удивляться не стоит: Гудериан учился водить танки в Казани, говорили, что Геринг учил наших ребят водить самолеты в Липецке, ибо отношения между немцами и русскими были приличными.

Имя Гитлера было известно, но Паулюс не придавал фюреру нацистов особого значения.

— Я привык держать руки по швам! — не раз повторял Паулюс. — Мои погоны майора определяют мое положение в рейхсвере, но никак не могут определять мои политические взгляды...

Кажется, его недаром прозвали «кунктатором» (замедлителем). Паулюс любил все обдумать и взвесить, за раскаленное железо он голыми руками не хватался. В служебной характеристике его было начертано:

«Прекрасно воспитанный, иногда излишне скромен... почтителен, очень методичен. Отличается выдающимися способностями как тактик, хотя склонен тратить чрезвычайно много времени на обдумывание обстановки... детально исследует каждую ситуацию».

— Пожалуй, — сказал Гудериан, — этот человек мне подойдет.

Гудериана называли в рейхсвере, а потом и в гитлеровском вермахте «быстроходным Гейнцем»!

. . . .

Танки... Когда граф Китченер, отъявленный консерватор, увидел первый танк, ползущий по земле, он сказал:

— Этой дурацкой тарахтелкой хорошо бы пугать беременных кошек, но разве таким железным ящиком можно выиграть войну?..

Время опровергло скептицизм. Когда Паулюс начал в Цоссене «пахать» землю на тракторах, далеко за океаном молодой, еще никому не известный майор Дуайт Эйзенхауэр уже призывал в американских газетах: «Нужно забыть о неуклюжих неповоротливых машинах. Их место должны занять скоростные, надежные танки, обладающие колоссальной разрушительной силой».

Гитлеру недолго оставалось до прихода к власти; немецкий генштаб, работавший еще скрытно, почти подпольно, однажды встревожился, а все думающие военные, в том числе и Паулюс, были крайне озабочены сообщением из Москвы.

— Неужели русские нас перегнали? — говорил Гудериан. — У них в армии появились механизированные корпуса. Правда, — успокоил он себя, — я не вижу у них хороших машин, их конструкторы еще не нашли верных решений для своих роликов, чтобы маршевая скорость отвечала силе оружия...

В рейхсвере и вермахте танки было принято именовать «роликами». Гудериан в чине полковника был тогда начальником главного штаба всех мотомеханизированных частей.

— Вы уже покатались на тракторах, — сказал он Паулюсу, — а сейчас приходит время готовить боевые машины. Чтобы французы или англичане не слишком нервничали, будем считать, что в Вюнсдорфе существует только автотранспортная часть...

Паулюс тогда же получил чин подполковника.

Гитлер явно спешил к власти, а престарелый маршал Гинденбург не торопился умирать, чтобы освободить ему вершину политического парнаса. Как и большинство военных, Паулюс не испытывал никакой гармонии с идеями национал-социализма, и он даже не удивился, когда генерал Герд фон Рундштедт высмеял бредовые мысли Гитлера о расовом превосходстве немцев:

— Боже мой, какая бессмыслица! И разве можно говорить о «чистоте расы», если население Германии — сброд? В наших дедушках и прабабушках мы отыщем слияние славянской, романской и динарской кровей. Стоит ли говорить о чистоте крови, если в древности даже Берлин был славянской деревушкой на берегах Шпрее, в которой славяне ловили раков и осетров.

Теодор-Федор фон Бок, поздравляя Паулюса с назначением на танкодромы в Вюнсдорф-Бергене, о политической «возне» там, наверху, высказался более откровенно:

— От размягчения костей немецкий народ переключается на размягчение мозгов... В любом случае, — договорил фон Бок, — от этого парня с челкой на лбу всегда надо прятать спички подальше, чтобы он не устроил хорошего пожара...

Гитлер победил, и в окна домов ворвалась новая песня:

Нет цели светлей и желаннее.
Мы вдребезги мир разобьем!
Сегодня мы взяли Германию,
А завтра всю землю возьмем...

Из источников достоверно известно: Паулюс воспринял появление Гитлера с брезгливостью чистоплотного человека; ему, как и многим немцам, претили нравы нацистской верхушки, возмущали их крикливые выходки. Но мундир требовал повиновения:

— Я только солдат. Мои руки — по швам! Мы во времена Секта даже не задумывались над политикой. Во что превратится армия, если в казармах устроят публичные митинги?..

Его отчасти обескуражило, что многие офицеры, которых он знал и достаточно уважал, вдруг оказались в окружении Гитлера. Паулюс всегда сторонился любой «партийности».

— Вокруг любой идеи, — говорил он, — будь она плохой или хорошей, всегда крутится толпа бездельников, словно вокруг бочки свежего пива. Потом к идее примазываются всякие жулики и политические аферисты, заинтересованные уже не в идеалах партии, а лишь в том, чтобы нажраться как можно больше при жизни и оставить детям кое-что в банках Швейцарии. И пусть наши социологи не завираются: еще никому не удалось создать рай на земле, зато в аду каждый человек побывал...

В офицерском казино Вюнсдорфа, конечно, были одни разговоры, а в семье Паулюса совсем иные. Катаржина Розетти-Солеску, его теща, была переполнена гневом аристократки.

— Этот грязный плебей с замашками балаганного зазывалы, — говорила она о фюрере, а жена Паулюса не возражала матери, она еще более едко судила о Гитлере и его компании.

Паулюс, оставаясь почти равнодушным, отвечал теще, что Гитлер не с потолка свалился, а пришел к власти демократическим путем — через всенародное избрание.

— Ах, эта демократия! — восклицала теща. — Все преступления прикрывает она заботою о народе. Вы только посмотрите, что сталось с Россией, когда убили царя... Нет, я была и остаюсь убежденной монархисткой.

— Я... тоже, — добавила Елена-Констанция. — Впрочем, история любой страны знала диктаторов: во Франции — кровавый Робеспьер, в Италии — дуче Муссолини, в России — азиат Сталин, а у нас, а у нас... Гитлер!

Как бы то ни было, но вскоре Паулюсу стало импонировать внимание фюрера к созданию мощного вермахта, к развитию боевой техники. Гитлер не поленился лично посетить Вюнсдорф, и во время обкатки новых танков системы Т-1 Паулюс убедился, что фюрер ценит силу моторов, они очень мило и даже душевно побеседовали о фильт-

рах, всасывающих воздух в утробу раскаленного чудовища. Паулюс остался доволен визитом Гитлера и потом, встретившись с генералом Вальтером Рейхенау, сказал ему:

— Наш ефрейтор разбирается даже в танковых фильтрах. Вот чего я никак от него не ожидал...

Рейхенау, грубый весельчак, долго смеялся:

— Нам следует держаться этого удачливого парня! Если бы Гитлер играл в картишки, он бы каждый вечер таскал домой по чемодану денег. На чьей стороне воевать, за чертей или за ангелов, этот вопрос оставим для умозаключений папы римского.

Под окнами рейхсканцелярии не расходились берлинские обыватели, ждавшие явления фюрера на балконе, как чуда, и кричали ему: «Хайль Гитлер!» Правда, в толпе находились и отчаянные смельчаки, под шумок возвещавшие: «Хальб-литер!» (что означало хвалу пол-литра шнапса). Но это были герои-одиночки. Берлинскую толпу уже пронизывали агенты гестапо, как жирную землю пронизывают алчные черви...

Скоро жене Паулюса надоели его постоянные поездки по танкодромам и мотошколам в Вюнсдорф-Бергене и Дебериц-Эльсгрунде:

— Не пора ли, Фриди, осесть где-нибудь при штабе?

Паулюс понимал ее сетования, он и сам хотел бы уйти в кабинетную жизнь, в приятный шорох разворачиваемых по ночам карт и графиков, за которыми стояло призывное выражение Гудериана: «Танки — вперед!» На Гудериана же он и сослался:

— Коко, все зависит от быстроходного Гейнца...

Судьба Паулюса разрешилась 1 июня 1935 года, когда, срочно вызванный в Берлин, он предстал перед Гудерианом. Тот был обложен стопками книг, и среди них Паулюс успел заметить только военные труды Фуллера и Лиддела Гарта.

— Кажется, — сказал Гудериан, — Тухачевский в Москве начал понимать то, о чем я твержу много лет нашим болванам. В будущей войне главным фактором станет движение, помноженное на мощь огня... Поздравляю! — вдруг сказал Гудериан.

— С чем? — удивился Паулюс.

— Отныне вы — полковник генерального штаба и... Я отъезжаю в Вюрцбург, чтобы принимать новую панцер-дивизию, а вы остаетесь на моем месте.

— Кем?

— Начальником главного штаба всех мотомеханизированных войск, которые и станут для вермахта главной бронетанковой силой... Надеюсь, вас устроит мой кабинет?

— Благодарю.

— Благодарите фюрера, который очень хорошо отзывается о вас, Паулюс, ему сейчас нужны именно такие люди, как вы, чтобы не болтать, а — делать...

На прощание Гудериан преподал Паулюсу добрый совет: так как у Гитлера есть техническое чутье ко всему, что касается развития техники, то Паулюс в любом случае может добиться успеха в борьбе за все новое в танкопроизводстве, если он обратится непосредственно к фюреру:

— Фюрер поймет и поможет. Всего доброго, Паулюс...

В новом звании и с новым назначением Паулюс вернулся домой, на Альтенштайнштрассе, с букетом цветов.

— Теперь мы, Коко, не расстанемся. Все получилось так, как ты и хотела. Конечно, мое призвание — теория. Я ведь не Гудериан, который согласен дрыхнуть внутри танка; ты, Коко, сама знаешь, что я более склонен к мозговым решениям!

Однако этот интеллектуал, склонный (не спорю) лишь к умственному труду, въехал в историю Европы на грохочущем танке, заляпанном грязью, кровью и мозгами раздавленных людей. Бронетанковая

сила вермахта была основой всех будущих агрессий, и Паулюс оказался в числе первых — после Гейнца Гудериана! — толкователей глубоких прорывов, бронированных таранов на поле боя. В силу своей порядочности, очень далекий от примитивной зависти, Паулюс иногда все-таки испытывал к «быстроходному Гейнцу» некое ревнивое чувство, которое от Коко и не думал скрывать:

— Верно ли считать Гейнца автором танкового блицкрига? За время учебы в Казани он наверняка перенял для себя новое из тактики русских. Наконец, немало позаимствовал из рассуждений австрийца фон Эймансбергера, который *раньше всех нас* преподнес миру идею глубокого танкового прорыва. Русские перевели фон Эймансбергера, и, надо полагать, в будущем они учтут наступательный дух своих танковых двигателей.

. . . .

Еще в двадцатые годы Берлин был переполнен русскими эмигрантами, русская речь звучала на улицах, всюду русские издательства, русские журналы в киосках, на киноэкранах — русские актеры, вечерами шумели русские рестораны, из которых на улицы немецкой столицы выплескивало столь знакомое:

Марфуша все хлопочет,
Марфуша замуж хочет,
И будет верная она же-ена-а-а...

В ту пору даже существовал анекдот. На улице встретились двое русских, поздоровались, вспомнили, как водится, феерический блеск Петербурга или дремотную тишину Тамбова.

— Ну, а как тебе Берлин? — спросил один другого.

— Да ничего городишко. Одно в нем плохо.

— Плохо? А что же?

— Да то, что немцев в нем еще много и — вот беда! — все немцы говорят по-немецки...

Понятно, что русские эмигранты не миновали и дома Паулюса, где их любезно привечали Розетти-Солеску, мать с дочерью. Теще Паулюса, конечно, эти эмигранты казались намного интереснее и дороже тех выскочек «нового времени», что появились при Гитлере на высотах власти и которые — это было ей даже неприятно! — появлялись иногда за столом в доме ее зятя.

Паулюс никогда не питал особого любопытства к России (по родству жены он более интересовался Румынией), но как хозяин дома полковник был радушен к русским. В его обширной квартире на Альтенштайнштрассе перебывало немало знатных эмигрантов: Бискупский — муж певицы Вяльцевой, а теперь приятель Гиммлера, графы Шуваловы, князья Васильчиковы и граф Валентин Зубов. Специально для русских ставился самовар, и, попивая чай, неумело заваренный горничной, Паулюс вежливо вникал в разговоры гостей, не всегда ему понятные: о той России, что была раньше и какой не стало. Иногда он даже вмешивался в беседу, но информация Паулюса о новой русской жизни была, скорее, забавной:

— Мне рассказывали люди, недавно побывавшие в России, что русские после революции приобрели очень странные, даже дикие привычки. Так, они теперь не любят иметь отдельные квартиры, а стараются занимать в них лишь отдельные комнаты. Мало того, страсть к коллективизации так велика, что русские почему-то любят спать по пять-десять человек в одной комнате: мужчины, женщины, дети — все вповалку...

Странно, что Паулюс, человек эрудированный и начитанный, был очень далек от понимания русской культуры; он знал лишь музыку Чайковского, что-то слышал о Пушкине, но сама русская история и русское искусство оставались для него тайною за семью печатями. Перед женою он оправдывался:

— Коко, ты напрасно надо мною подшучиваешь. Я все-таки генеральштеблер, и по этой причине знание рельефа русской равнины для меня более важно, нежели русская поэзия...

Елена-Констанция, как румынка, наоборот, высоко ценила русскую культуру и однажды, выбрав вечер, увлекла мужа в театр, где ставили «Три сестры» Чехова:

— Посмотришь, как жили русские раньше — еще до того, как их обуяла бешеная страсть к коллективизации...

Из театра Паулюс возвращался какой-то сумрачный, о чем-то думал, потом вдруг сделал неожиданный вывод:

— Жизнь в Германии все-таки была лучше, нежели в этой России. Я, милая Коко, так и не понял, почему три сестры все время завывали со сцены: «в Москву, в Москву, в Москву...» Очень им хотелось в Москву, но так и не уехали. Наверное, и при царе это был закрытый город. А жизнь в Германии намного проще: захотел немец в Берлин — купил билет и поехал.

3. И ДАЖЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Вскоре Паулюс развеселил жену информацией, исходившей из близкого окружения фюрера. Почти сразу, как только Гитлер засел в рейхсканцелярии, на стол ему стали регулярно подкладывать вырезки из советских газет о производстве зубных щеток в СССР. Год за годом русские писали, что зубных щеток опять нет в продаже, а если они и появятся, то их щетина остается во рту советского гражданина, решившего раз в неделю почистить зубы. Когда же — спрашивалось в газете — наша передовая советская индустрия наладит производство и массовый выпуск зубных щеток, столь необходимых для культурного развития народа, закладывающего прочный фундамент социализма?..

Гитлер каждый раз оставался доволен:

— Вот еще убедительный пример слабости большевистской системы! Если эти кремлевские дикари несколько лет возятся с зубными щетками, никак не наладив их массовое производство, то я полностью уверен в том, что они никогда не смогут наладить конвейерный выпуск танков...

Паулюс, отдыхая дома после служебного дня, редко включал радиоприемник, но однажды, случайно поймав московскую волну, он просил графа Валентина Зубова переводить.

— Очередное хвастовство «железного наркома» Клима Ворошилова. Он опять заверяет мир, что Красная Армия никогда не отступала.

— Тем хуже для маршала, если его армия не умеет отступать, — изрек Паулюс. — Мастерство отхода перед противником — это альфа и омега тактики, и оно гораздо сложнее тактики наступления...

Ворошилов речь закончил, эфир заполнило — бодрое:

И с нами Ворошилов,
первый красный офицер,
готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!

Зубов перевел текст песни, а Паулюс засмеялся:

— Странно, что они готовы умереть! За что? И за кого?

Валентин Платонович Зубов был создателем Музея истории искусств в Петрограде, который он оставил Зиновьеву и мадам Троцкой на разграбление, а сам бежал, ибо аристократов ожидала страшная участь в застенках ЧК. Сейчас он воспринял слова Паулюса на свой лад, заговорив о том, что не понимает, почему Сталин отказался подписать Женевскую конвенцию от 1929 года о военнопленных и

обращении с ними. Ему было непонятно, почему Гитлер конвенцию подписал, а Сталин от нее отмахнулся:

— Сталин мотивировал свой отказ тем, что конвенция о пленных не отвечает духу социалистического государства.

Паулюс ответил, что пока в мире существуют войны, до тех пор в мире будут и военнопленные, а Сталин не подписался под конвенцией совсем по иным причинам:

— Ворошилов уже не раз заявлял, что в случае войны Красная Армия будет только наступать и обязательно на чужой территории, а красноармейцы в плен не сдаются...

Известно, что стратегия, как и тактика, никак не зависит от идеологических рецептов, а в СССР армию воспитывали на мысли, будто любое наступление — это «помощь страдающим братьям по классу», и стоит Красной Армии пересечь границу, как сразу во всем мире перед ней распахнут объятия «представители угнетенного пролетариата»... Может, и прав был Черчилль, который говорил о советской России, что это даже не страна, а некий секрет, завернутый в загадку и укрытый непроницаемой тайной...

. . . .

Паулюс в разговоре с Зубовым мог бы добавить, что в берлинском здании гестапо уже имеются советские военнопленные, доставленные прямо из... Испании!

Война там была гражданская, но в нее вмешались Гитлер и Сталин, используя Испанию вроде полигона: под Мадридом и Гвадалахарой впервые скрестилось оружие — советское и немецкое. Нашим летчикам пришлось горько разочароваться в своих истребителях, а немцы выкатили на прямую наводку новейшее оружие XX века — противотанковую артиллерию, и Сталин в Кремле с большим недоверием разглядывал фотоснимки своих развороченных танков.

— Неужели мы начали отставать? — обеспокоился он, подозревая, что и тут не обошлось без «врагов народа»...

Настал 1937 год, и в Берлине нервно и чутко реагировали на все репрессии, которые Сталин — раз за разом! — обрушивал на свою же армию. Среди немецких генералов иные недоумевали, даже не смея верить, другие откровенно радовались тому, что Сталин истребляет лучших полководцев и офицеров. Генеральный штаб возглавлял Людвиг фон Бек, генерал старой выучки, нелицеприятный и резкий; Бек почти откровенно презирал Гитлера, не допуская его вмешательства в дела вермахта. При встрече же с Паулюсом он начал разговор о Сталине:

— Неужели сами большевики не понимают, что к власти над страной пришел сумасшедший? Его хваленая армия никак не является шедевральной, офицерский корпус задавлен страхом... Я всегда привык отыскивать в истории аналогии и, знаете, с кем я могу сравнить этого усатого грузина?

— С кем?

— С персидским шахом Надиром, который даже своим сыновьям выколол глаза, подозревая в них изменников. Сталин был бы на своем месте, если бы лет триста назад управлял каким-либо маленьким ханством на Востоке, но... в московском Кремле? Но во главе такой великой страны, как Россия?.. Не верится!

Наконец, как удар грома, отозвалось в Берлине известие о расстреле маршала Тухачевского, и Паулюс, узнав об этом, даже подумал, что Людвиг фон Бек в своих предположениях прав.

— Если Тухачевский и его коллеги, — рассуждал Паулюс, — осуждены Сталиным справедливо, то... Простите, что же это за армия, если вся ее верхушка состоит из предателей? А если Тухачевский и его коллеги осуждены Сталиным несправедливо, то... Простите, что же это за государство, в котором один человек обладает властью рубить головы генералам?

Его сомнения разрешила жена, подчеркнув в газете от 24 июня 1937 года статью под игривым названием: «Счастье и гибель Тухачевского». Паулюс был согласен с тем, что было там сказано:

«Расстреляв известнейших военачальников Советского Союза, сознательно пожертвовали в интересах политики боеспособностью и руководством Красной Армии. Тухачевский, бесспорно, был самым выдающимся из всех красных командиров, и его нельзя заменить... Мнимый шпионаж, конечно, был просто выдуман. Если большевики утверждают, что «обвиняемые признались во всем», то это, конечно, *ложь*!»

— Все кончится плохо для России... — сказала Коко.

Вывод был справедливый, ибо вскоре авторитет СССР вдруг резко упал во всем мире, политики Европы, и правые и левые, открыто говорили, что *эту* страну нельзя иметь в числе союзников, а мощь Красной Армии, не в меру расхваленной, попросту эфемерна. Никто в Европе уже не верил Сталину и его приспешникам, которые, засев за стенами Кремля, словно в крепости, творили неслыханные зверства, а население страны превратили в своих рабов, понукаемых страхом и лозунгами, зовущими их в «светлое будущее».

Паулюс в эти дни как раз инспектировал панцер-дивизию Вальтера Рейхенау, и, конечно же, в офицерском казино было немало разговоров о репрессиях в России.

— У меня такое впечатление, — рассуждал Рейхенау, — что этот грузин решил помочь *нам*, немцам, в решении танковой проблемы. Ведь именно Тухачевский ратовал за развитие бронетанковых корпусов, а теперь в Кремле восторжествует угодное Сталину мнение его кавалеристов. Не знаю, как вы, Паулюс, а я и мои офицеры готовы Сталину аплодировать.

Молодой майор Виттерсгейм толковал о том, что пишут сейчас газеты Франции и Чехословакии:

— По их данным, вопросы стратегии и тактики в Красной Армии исходят из понятий времен гражданской войны и боев под Царицыном. Оснащение армии отвратительное. Нигде нет такой отсталой техники и вооружения, как у русских...

Этот разговор неожиданно завершился беседою с Францем Гальдером, ведавшим оперативными вопросами в генштабе (и, по слухам, он был не прочь занять место фон Бека).

— Сейчас, — сказал Гальдер, — из числа военных мыслителей в Москве осталось лишь два толковых генеральштеблера — это еще царские теоретики Шапошников и Свечин.

Б. М. Шапошников был хорошо известен, его труды о развитии штабного мышления не раз переводились в Германии. Свечина знали хуже. А вот в Москве его таскали по тюрьмам, ибо мысли Свечина никак не совпадали с военной доктриной Ворошилова, благоухающей ароматом конюшен. Профессор Академии Генштаба, Александр Свечин утверждал нечто крамольное: мол, боеспособность армии никак не зависит от идеологии правительства. Мало того, Свечин призывал укреплять дружбу с Финляндией, чтобы иметь в ней доброго союзника, и тогда сам по себе прикроется один из главных рубежей страны. Случись же война, — предрекал Свечин, — и Ленинграду суждено испытать примерно такие же муки, какие испытал Севастополь в Крымской кампании... Этого хватит! А. А. Свечина расстреляли как «врага народа»!

Был репрессирован даже легендарный маршал В. К. Блюхер, славе которого Сталин явно завидовал. Над народным героем палачи так издевались на допросах, что выбили ему глаз. Блюхер держал свой глаз на ладони, которую протягивал к следователям, спрашивая:

— Что же вы делаете? Люди вы или нелюди?

4. ГЕНЕРАЛЫ

— Все, что делает Сталин, — утверждал Гитлер, — все это принесет пользу нам. Красная Армия благодаря отеческим заботам о ней уже осталась без головы. У нее теперь целы только *ноги*, чтобы драпать до самого Урала.

Кейтель кивал одобрительно, но Йодль выражал сомнения:

— Война с Россией — это такая война, когда всегда знаешь, *как* начать ее, но никогда не будешь знать, *чем* она закончится. Любую войну с любой страной можно довести до победного конца. И только в войне с Россией нам не дано заранее увидеть ее финала...

Гитлер тоже не сидел без дела, устраняя тех генералов, которые мешали ему взять власть над вермахтом в свои руки. Только — в отличие от Сталина — он поступал гораздо изощреннее.

Рокировка генералов на шахматной доске вермахта была достаточно сложной, и Паулюс говорил Коко:

— Я вынужден следить за расстановкой главных фигур, чтобы самому не остаться пешкой, задвинутой в угол...

Гитлер уже начал сближаться с генералом Вильгельмом Кейтелем, которого в вермахте отчасти презирали, считая его выскочкой, называли «диспетчером дежурной бензоколонки», ибо Кейтель отличался любезностью, более схожей с лакейской угодливостью. Не так давно его сын женился на дочери фельдмаршала Вернера фон Бломберга от первого его брака. Но в январе 1938 года и сам Бломберг женился на молоденькой секретарше Эрике Грюн, причем шаферами на его свадьбе были сам фюрер и Герман Геринг... Казалось, что бы тут такого?

Но Бломберг мешал Гитлеру, ибо он не выносил Гиммлера, который свои войска СС возвышал над вермахтом. Не прошло и нескольких дней после свадьбы маршала с секретаршей, как однажды Паулюсу показали фотографию голой девицы в соблазнительной позе.

— Порнографией не увлекаюсь, — отвернулся Паулюс.

— Но это не просто ветреная девушка, решившая обнаженной позировать, а Эрика Грюн, ставшая на днях женой Бломберга. Как выяснилось, она провела юность в «массажном салоне» своей матушки, которая тоже состояла на учете полиции...

Вот за эту «ветреность» жены Бломберг и расплатился скорой отставкой. Вслед за тем фюрер взялся за генерала Фрича, помощника Бломберга, и Фрич был обвинен в педерастии, которая считалась «изменой государственным интересам», ибо люди этой породы лезут не туда, куда надо. Фрич доказал, что любая задница мужчины вызывает в нем только отвращение, но клеймо позора уже было наложено, почти несмываемое, и Фрич, злобно шипя, ушел в тень отставки, а его пост освободился для генералов, казавшихся Гитлеру более восприимчивыми к усвоению его национал-социалистских идей...

Паулюс не догадывался, что в это время возникло нечто вроде «заговора генералов», никак не согласных с агрессивной политикой фюрера. Людвиг фон Бек призывал удалиться в отставку генерала Вальтера фон Браухича:

— Разве не видите, что фюрер разевает рот шире своего желудка? Рано или поздно, но он втянет Германию в войну, выдержать которую немецкий народ не в состоянии.

Вальтер фон Браухич обещал подать в отставку. В это время он как раз разводился со старой женой, чтобы жениться на молоденькой Шарлотте, и Гитлер одобрил его брак с этой Шарлоттой.

— Но моя старая жена, фюрер, желает иметь «отступное».

— Понимаю. Я дам вам денег, — согласился Гитлер.

— А моя молодая Шарлотта желает иметь виллу.

— В чем дело? Будет, Браухич, и вилла...

После этого Браухич согласился занять пост командующего сухопутными силами, а фон Беку он заявил, что с фюрером порывать не собирается, ибо все страхи Бека излишни:

— Наш фюрер не такой парень, чтобы допустить войну на два фронта, а Сталину не до Германии, ибо он сам не знает, как разобраться со своими маршалами...

Паулюс, пронаблюдав за расправой над Бломбергом и Фричем, за тем, как одни падают, другие возвышаются, сказал жене:

— Сейчас следует ожидать и взлета Гальдера... Думаю, что Бека фюрер все же не тронет, ибо репутация этого человека безупречна и к нему Гитлер не подыщет отмычек.

Коко волновало другое — верно ли говорят, будто вскоре начнется война более страшная, нежели при кайзере?

— Вряд ли, — отвечал Паулюс. — Германия к войне не готова. Как можно воевать, если даже в бензобаки такси заливают лишь половину бензина, разбавляя его спиртом или бензолом. Нет, на войну без горючего фюрер никогда не решится.

Он знал и другое: нехватку стали Германия покрывала за счет импорта из Швеции, а в холодильниках рейха заморожены лишь 750 000 свиных туш — раздели их на всех, и один из дней немцы поедят суп с мясом, а что потом?

— Наконец, — добавил Паулюс, — ты, милая Коко, живешь в достатке, не зная, что такое нормированные продукты или товары... Успокойся, в ближайшее время войны не будет.

Сталин в это время сокращал военные поставки в Испанию, а Гитлер, напротив, их увеличивал, укрепляя режим Франсиско Франко, в котором видел на будущее приятного союзника. Адмирал Канарис подозрительно зачастил в Эстонию, завел в Ревеле дружбу с военными, и эстонцы теперь поставляли в абвер секретную информацию об СССР. В марте 1938 года состоялся аншлюс Австрии, отчего Германия сразу усилилась, уже начиналась подготовка к аннексии Чехословакии...

Было ясно, куда идет Гитлер и куда он тащит за собой вермахт, потому среди генералов и возник «заговор», о котором сохранилась легенда, будто сам Франц Гальдер брался застрелить фюрера в его кабинете рейхсканцелярии. Генералы, пережившие поражение в прошлой войне, не хотели второго «Версаля», они предвидели, что рано или поздно неизбежен конфликт с Востоком, а какова бы ни была Россия сейчас — верхом на лошади или верхом на танке, — в любом случае эта гигантская держава всегда останется опаснейшим противником в войне с Германией. Конечно, при этом вспоминался не только завет Бисмарка, но и поучения Клаузевица, считавшего, что Россия всегда останется непобедима, а любая армия, даже самая совершенная, растворится, как пыль, в ее роковых и необозримых просторах... Узнав о недовольстве среди генералов, Гитлер пребывал в ярости. Но из многих генералов-заговорщиков только один фон Бек открыто выразил Гитлеру свое несогласие с его политикой, которая очень дорого обойдется всем немцам. Предупреждая Гитлера, чтобы не лез в Чехословакию, фон Бек подал в отставку: «Солдатское повиновение кончается там, — писал он. — где существует сознание и где есть совесть честного человека и моральная ответственность...»

С такими словами фон Бек и удалился!

На его место — место начальника генерального штаба — сразу же был назначен Франц Гальдер, желавший стрелять в Гитлера, а Паулюс в одну из ночей — по секрету — нашептал любимой жене:

— Ты догадываешься, как мне трудно сохранить свою честь на этой псарне, где все грызутся... Видишь, как все просто! Несчастный фон Бломберг, когда вел под венец свою секретаршу, разве мог подумать, что порнографические открытки с ее изображением уже давно

лежат в кармане у фюрера, который сам и благословил свадьбу! Но теперь, после всех манипуляций с генералами, Гитлер обрел власть над вермахтом, а его верный Кейтель толчется подле него, превратившись в Лакейтеля...

Кейтель стал начальником штаба верховного главнокомандования, а подле него выдвигался и генерал Йодль, который с Гитлером мирился. Схожие между собой, как близнецы-снаряды единого калибра, порожденные из одной матери-пушки, Кейтель с Йодлем были столь неразлучны, что даже на эшафоте в Нюрнберге их объединяла одна веревка... Гитлер спрашивал их: каков ожидается результат, если за Польшу вступятся Англия с Францией? Генералы угодливо отвечали, что возня с поляками не займет много времени:

— После чего наш вермахт развалит и всю Европу...

Гитлеру снова подсунули информацию о производстве зубных щеток в стране победившего социализма.

— Вот! — воскликнул он радостно. — Это ли не доказывает крах сталинских пятилеток? Бедные русские, — нес Гитлер, — которым даже нечем зубы почистить...

. . . .

Тогда же японцы решили «прощупать» прочность дальневосточных рубежей СССР, и возле озера Хасан завязались бои. Наши войска изгнали самураев, и 11 августа 1938 года японский посол Сигэмицу предложил в Москве мирные переговоры.

Но ситуация была странная. Все тихо и мирно.

Вдруг — ни с того ни с сего — напали!

Можно догадываться, что в случае первого успеха японцы, наверное, развернули бы мощное наступление в глубину Сибири и началась бы самая настоящая война — до Байкала! Советская сторона официально признала 236 человек погибшими, а 26 бойцов получили высокое звание Героя Советского Союза.

Что-то плохо мне верится в первую цифру, ибо в этом случае на каждых десять убитых приходилось по одному герою *...

Но дело не в этом — в другом. Время, словно рентгеном, безжалостно просветило забытые страницы битвы у озера Хасан, и наружу вдруг выступили те самые язвы, о которых при Сталине предпочитали умалчивать...

Тридцать седьмой год, будь он проклят, уже сказывался на состоянии наших войск. Вот что писал С. Шаронов, участник тех событий: «Дивизию обезглавили *полностью:* арестовали комдива Васенцова, комиссара Руденко, начштаба Шталя, начальника артиллерии, начмеда и его жену... Мы, рядовые бойцы, даже не знали — *кому верить?»*

В штабах царила неразбериха, люди не доверяли один другому, в каждом приказе слышали голос «врагов народа». Связь работала безобразно, иногда открывали огонь по своим же людям и танкам. Бинокли офицеров были на сорок процентов негодны, при любой панике бойцы бросали противогазы, винтовки и пулеметы...

Так было, читатель, и не стоит стыдливо зажмуриваться!

Это еще не все. Дополню. На передовую слали новые полки. Но они прибывали на позицию, имея *холостые* патроны и *деревянные* макеты гранат (калабашки), с боевыми же гранатами умели обращаться даже не все офицеры, и часто после боя поле было усеяно *невзорвавшимися* гранатами. Оказывается, бойцов не всегда учили, как вырвать чеку перед броском. Виноваты ли в этом люди? Нет. В свое оправдание они говорили, что ради экономии (?) их учили бросать что придется, а боевых гранат многие и не видели.

— Чем же вы занимались в своей части? — спрашивали их.

— Мы-то? А мы сено в колхозах на зиму заготавливали, овощи собирали на полях. Иной час дровишки на зиму кололи. А бывало

* Сомнения автора понятны — число погибших, по статистике тех лет, действительно оказалось заниженным (здесь и далее прим. публикатора).

и так, что нас всех строем сгоняли лекции слушать! Иногда нам кино показывали.

Такова была подготовка бойцов в те времена огульного хвастовства, когда «железный нарком» Ворошилов бахвалился перед всем миром о непобедимости Красной Армии...

Думаете — в Берлине не знали о том, что было на берегах озера Хасан? Все знали, и любая мелочь учитывалась на будущее, а подробности боев немцы тщательно анализировали. Гальдер в беседе с офицерами генерального штаба говорил:

— Россия при сталинском режиме — это даже не страна, а большущий мыльный пузырь, слегка бронированный снаружи. Ткни его пальцем — и он сразу лопнет, обнажив свою пустоту. Недаром же, чтобы прикрыть свое убожество, Москва так любит щеголять всяческими рекордами. Выше всех, дальше всех и... часто, пожалуй, глупее всех. Не хотел бы я быть русским в эту эпоху, столь гибельную для России. Наверное, наш фюрер прав, что следит за производством зубных щеток...

. . . .

«В Москву, в Москву, в Москву...» — тосковали сестры в пьесе Чехова. А Паулюса тогда больше всего привлекало кафе «Комик», где в роли конферансье подвизался отважный Вернер Финк; он выходил к рампе, вскидывая руку в нацистском приветствии:

— Хайль! — Но руки не опускал, объясняя: — Вот на какую высоту умела прыгать моя любимая собака... Кстати, сегодня я что-то не вижу средь публики этого парня с челкой, который не признает мясной пищи. Ах, опять я забыл, как его зовут... Может, кто из вас и подскажет мне его имя?

Паулюс навещал кафе «Комик» совсем не потому, что состоял в оппозиции к Гитлеру, — нет, ему просто иногда хотелось от души посмеяться и послушать от Финка свежие анекдоты о видных членах нацистской партии, и, как беспартийный, он мог себе это позволить — без ущерба для своей карьеры.

Карьера же складывалась удачно! Паулюсу хорошо жилось и при нацистском режиме. Победные почести, денежные дотации, поклонение толпы, обезумевшей от восторга, грохот танковых гусениц и солдатских сапог на маршах — все это невольно взбадривало, все это увлекало его вперед. (Много позже, оправдывая себя, Паулюс говорил Вальтеру Ульбрихту: «Прошу понять, что Гитлер дал нам, генералам, все, в чем мы нуждались. Он поставил политическую цель — завоевание жизненного пространства, он дал нам отличное оружие, и он сумел привлечь к себе весь народ ради осуществления этих целей...».)

Может быть, именно поэтому Паулюс никогда не вызывал у Гитлера никаких подозрений в смысле его лояльности.

Сколько было фрондирующих против нацизма, сколько офицеров замышляло заговоры против фюрера, и никто из диссидентов — вплоть до 1942 года — даже не подумал привлечь Фридриха Паулюса в ряды оппозиции. Очевидно, сам Всевышний велел ему пройти через горнило Сталинградской битвы, чтобы он осознал: Германия — это не Гитлер, а Гитлер — это еще не Германия, и эти два понятия не следует совмещать.

Но сейчас для него осталось самое главное:

— Танки — вперед! Panzer — marsch!

Начинался 1939 год — поворотный, решающий...

1 января Фридрих-Вильгельм Паулюс, сын тюремного счетовода, получил чин генерал-майора генерального штаба.

По этому случаю он выпил... с Кейтелем!

Отцовский завет остался памятен: лучше пусть не будет друзей, только бы не было и врагов... Хайль!

5. НАПРЯЖЕНИЕ

Сыновья уже вышли в офицеры, изредка появлялись в доме в форме танкистов (короткие черные кителя, на головах черные пилотки). Но любимицей Паулюса всегда оставалась дочь Ольга, ставшая женой барона Альфреда Кутченбаха *, который носил мундир эсэсовца (тоже черный).

В звании зондерфюрера СС барон появился в доме Паулюсов, привлеченный не только матримониальными планами, но и русскими эмигрантами, с которыми был давно связан. Один из его предков еще при Николае I торговал сыром в Тифлисе, а сам барон делал карьеру военного переводчика с русского языка. Череп и кости в эмблеме его фуражки никого в семье Паулюсов не пугали, ибо звание зондерфюрера СС присваивалось тогда в Германии многим профессорам, врачам, даже кинорежиссерам (от этой чести не смел отказаться даже знаменитый писатель Ганс Фаллада).

На правах зятя Кутченбах был откровенен с Паулюсом, однажды признавшись, что боится, как бы его не послали в Россию:

— Легко догадаться, с какими целями! Вы, наверное, слышали, что русские недавно провели аресты наших агентов в Кузбассе, Баку и Челябинске, а сейчас, по слухам, фюрер сильно заинтригован танковым производством в Сталинграде. Меня тоже готовили не для того, чтобы я читал Достоевского в подлиннике...

Очевидно, Альфред Кутченбах обладал какой-то информацией по ведомству Риббентропа, и весною он намекнул, что сейчас возникает дипломатическое напряжение между Москвою и Хельсинки. Сталин как будто решил покорить Финляндию, а Шапошников, будучи начальником Генштаба, возражает Сталину.

— Смелый человек! — заметил Паулюс.

— Да. Сталин к нему прислушивается, единственного называя по имени-отчеству, а не «товарищем». Мало того, он простер свое внимание к Шапошникову вплоть до того, что позволяет курить в его кабинете когда вздумается...

Сталин давно подумывал приобщить финнов к миру социализма, а Гитлер решил покорить Литву: вермахт получил приказ о захвате Мемеля (Клайпеды), чтобы затем присоединить к Германии всю Прибалтику. Литве был предъявлен ультиматум — чтобы отвела свои войска и полицию от побережья, а Гитлер, страдая морской болезнью и вволю наблевавшись, прибыл в Мемель на крейсере «Дойчланд» уже как хозяин, и Литва с этого времени вошла в сферу германских интересов.

Альфред Кутченбах сообщил Паулюсу:

— Сейчас следует ожидать известий с Дальнего Востока...

Верно! Отброшенные от озера Хасан, японцы вдруг открыли фронт в Монголии — на реке Халхин-Гол, и здесь они получили столь мощный удар, что их 6-я армия была окружена и разгромлена полностью. Действия на Халхин-Голе никак не были схожи с топтанием на месте у озера Хасан, а советскими войсками командовал не известный еще тогда Жуков... Это имя ничего не говорило обитателям германского генштаба:

— На всякий случай, кажется, пора заводить на этого человека особое досье, как на человека способного.

Между тем Франц Гальдер пребывал в миноре, чем-то озабоченный, и — человек резкий! — однажды при встрече с Паулюсом как бы вскользь обмолвился:

— Кажется, наш фюрер начинает зарываться...

Паулюс, верный своим принципам не вмешиваться в политику,

* В разных источниках фамилия Кутченбах пишется по-разному.

только пожал плечами. В дневнике Франца Гальдера появилась красноречивая запись, свидетельствующая о том, что он умел многое предвидеть: «Трудно поверить в пакт между англичанами и русскими, но это сейчас — единственное, что может *остановить Гитлера...»*

Гальдер не пророк, но он удачно напророчил.

. . . .

Между тем Гитлер от начала 1939 года повел себя несколько странно. 12 января во время приема в рейхсканцелярии дипломатического корпуса, аккредитованного в Берлине, фюрер, обходя шеренгу послов, посланников и доверенных, вдруг задержался подле московского полпреда и вдруг начал с ним беседовать, чего ранее никогда не делал. Это была сенсация, газеты всего мира задавались вопросом: что бы это могло значить? Наконец, 30 января, выступая по радио, Гитлер в своей речи ни разу не лягнул Сталина, ни разу не облаял Москву, он уже не метал в сторону России привычные громы и молнии... Политики были встревожены!

Остановить Гитлера взялись англичане с французами — миссия союзников по волнам Балтики тихо подплывала к бывшему «парадизу Российской империи». Английскую делегацию возглавлял адмирал Дракс, французскую — генерал Думенк, их окружала свита офицеров и чиновников от дипломатии, чтобы вовремя подсказывать Драксу и Думенку, что говорить в Москве, о чем большевиков спрашивать, что отвечать, споря...

И если бы, как предрекал Гальдер, возникла новая ось Лондон—Париж—Москва, в этом случае Гитлер не рискнул бы развязать войну. Но Сталину агрессивное поведение Гитлера импонировало больше, нежели неуверенная политика этих английских и французских гуманистов и демократов...

Переговоры с англо-французами Сталин поручил Ворошилову; к тому времени бывший наркоминдел Литвинов уже проживал под домашним арестом, а вот почему переговоры не вел новый нарком Молотов — этого я не знаю. Но странно, что Сталин сделал «дипломата» из своего друга Клима, человека полуграмотного, заносчивого, прифранченного с тем шиком, который был свойственен полковым писарям времен еще царской армии... Правда, Дракс и Думенк тоже не были дипломатами, и, может быть, именно по этой причине Сталин и приказал разговаривать с ними именно своему приятелю.

Англичане и французы хотели бы видеть СССР на своей стороне, чтобы воспетая в песнях «страна героев» не пожалела для них крови (как не пожалела ее Россия в 1914 году). На Западе уже знали, что следующей жертвой Гитлера, обреченной на заклание, станет Польша, но говорить о ней англичане и французы остерегались, зная, что в Варшаве не слишком-то хорошо отзываются о советской России. Но вот вопрос: если Гитлер пожелает напасть на Россию, то прежде всего он должен прокатиться на своих роликах через Польшу, — это ясно; а если Сталину пожелается участвовать во всеобщей войне против Германии, то ему тоже никак не миновать Польши, чтобы выйти к рубежам Германии. Наконец, если оставить Польшу в покое, а следовать прямиком на Восточную Пруссию, то Красной Армии придется пропахать гусеницами танков поля в странах Прибалтийских республик... Вот так и судачили за круглым столом, не желая касаться Польши, но все же касаясь, не желая тревожить Прибалтику, но все же тревожа ее, и тут Ворошилову подсунули записку — столь выразительную, что она достойна сохранения в анналах истории:

> «Клим! Коба сказал, чтобы ты сворачивал
> свою шарманку и — поскорее...»

Ворошилов понял, что Коба — Сосо Джугашвили знает что-то такое, что ему, Ворошилову, еще неизвестно, и потому он сразу же прервал

переговоры. Сталину же просто мешало присутствие в Москве англо-французской делегации, ибо он получил телеграмму от Гитлера, который предупреждал: кризис в отношениях между Германией и Польшей назрел, есть угроза, что в войну с поляками будет вовлечена и Россия, а потому он призывал Сталина к переговорам на самом высшем уровне, обещая прислать Иоахима Риббентропа, его министра иностранных дел...

В глубине души Сталин всегда восхищался Гитлером, и даже — об этом умалчивать нельзя! — он явно завидовал фюреру, в очень короткий срок достигшему такой небывалой власти.

— Вот молодец! — говорил о нем Сталин. — Всех скрутил в бараний рог, а немцы молиться на него готовы. Только почему у него в концлагерях так мало народу? Всего каких-то полмиллиона... для удержания власти этого мало!

Еще в 1933 году он пытался установить с Гитлером тайные контакты, но союз между ними не состоялся по той причине, что контакта не желал сам Гитлер, называвший Сталина... Чингисханом! Но Сталин по-прежнему считал, что с Гитлером надо не бороться, а находить с ним точки соприкосновения, так что задачи немецкой дипломатии были облегчены. Может быть, зная о симпатиях к нему Сталина, фюрер спокойно взирал на то, как немецкие коммунисты бегут в СССР, где их сразу же ставили к стенке как «троцкистов», «фашистов» или «шпионов».

А вот слова Гитлера, сказанные им однажды:

— Сталин безусловно заслуживает нашего уважения, так как в своем роде он попросту гениальный парень...

Итак, все было готово, а московский аэродром украсился флагами со свастикой. 23 августа грузно приземлились два мощных «Фокке-Вульф-200»; Риббентропа встречали согласно общепринятому протоколу, а он, выходя на трап самолета, сказал по-русски:

— Господи, даже не верится... опять я в России!

Проезжая по улицам Москвы вместе с Молотовым (они учились когда-то в одной петербургской гимназии), Риббентроп спросил: как поживает предмет их общего юношеского увлечения? Молотов понял, что Риббентроп спрашивает об Анне Ахматовой, и он ответил, что она... жива. Живет и работает!

— Ты уж, Вячеслав, — дружески просил Риббентроп, — сделай так, чтобы ее ваши держиморды не обижали...

Может, не случись такой беседы, и гибель талантливой поэтессы была бы приближена, а Риббентроп невольно «спас» ее от неизбежной расправы. Сталин принимал Риббентропа очень радушно, о чем впоследствии Риббентроп рассказывал: «Я чувствовал себя в Кремле словно в кругу своих старых партийных товарищей...»

Между гитлеровской Германией и сталинской Россией был заключен договор о ненападении сроком на 10 лет, скрепленный подписями Риббентропа и Молотова, повторяю, еще когда-то в юности обоюдно влюбленных в талант Анны Ахматовой... Вот после этого, читатель, и говори, что история — наука скучная!

Финал этой встречи в Кремле известен.

Сталин поднял бокал с вином — за здоровье Гитлера:

— Я знаю, — сказал он, — как немецкий народ обожает своего вождя! Так выпьем за здоровье Гитлера...

Теперь, после подписания договора, Гитлер мог не бояться, что СССР откроет второй фронт, вступаясь за поляков вместе с Англией и Францией; теперь Гитлер мог не пересчитывать свиные туши в государственных холодильниках, немецким шоферам отныне не надо разбавлять бензин чистым спиртом, — Сталин, согласно договоренности, сразу начал снабжать Германию сырьем, горючим, ценными металлами, мясом и хлебом. Любая антифашистская пропаганда в СССР была запрещена...

Конечно, такой «успех» следовало отметить хорошей выпивкой! У себя на даче, в Кунцево, Сталин устроил вечеринку. Подвыпив, «вождь народов» выразительно глянул на Калинина — и «всенародный староста», тряся козлиной бородкой, прошелся перед ним вприсядку; Сталин мигнул потом Микояну — и тот, воспрянув от стола с закусками, охотно сплясал для него лезгинку.

Ах, если б я это выдумал! Увы... сохранились очевидцы, засвидетельствовавшие эту отвратительную картину, при изображении которой вспоминается Иван Грозный с его опричниками...

. . . .

По улицам Берлина, в сиянии ламп и витрин, бесконечным потоком, постанывая сиренами и квакая клаксонами, катили «мерседес-бенцы», «хорьхи», «опели», «испано-сюизы», «фиаты» и «форды». Среди прохожих было немало военных, державшихся свысока, и немецкая публика, приученная обожать свой вермахт, легко определяла войсковую принадлежность: белый кант — пехота, красный — артиллерия, голубой — авиация, желтый — связисты. Возле газетных киосков выстраивались длинные очереди. Немцы торопливо разворачивали громадные (метр на метр) листы «Фёлькишер беобахтер», официоза нацистской партии.

— А все-таки фюрер гениальный ловкач! — восклицали читатели. — Мигом договорился с Москвою...

В германской политике началась полоса фальшивого «ухаживания» за СССР, как за очень богатой невестой с отличным приданым, но зато с очень скверным характером. Немцы веселее стали взирать на жизнь, рестораны и пивные — бирштубе заполняла оживленная публика, рассуждая:

— Гениально... даже не верится! Украина давно лопается от избытка сала, теперь-то подкормимся. Спрашивается, зачем воевать с русскими, если они согласны торговать с нами?

Немцы читали в газетах о великих преимуществах колхозной системы, о «солнце сталинской конституции», о передовом стахановском движении на производстве. Желая окончательно задурманить мозги, Геббельс указывал, чтобы нацистские газеты выходили под девизом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Выезжая по воскресеньям за город, немцы дружно распевали советские песни:

Все выше, и выше, и выше
стремим мы полет наших птиц,
и в каждом пропеллере дышит...

Генерал-майор Эрнст Кёстринг, военный атташе при германском посольстве в Москве, навестив Берлин, привез патефонные пластинки с новыми советскими маршами. Отыскивая нужную, он между прочим делился впечатлениями о первомайской демонстрации на Красной площади, явившей сказочное изобилие народов СССР:

— Мимо трибуны мавзолея проволокли громадный бюст Ленина, слепленный из шоколада. Дюжина спортсменов-тяжеловесов вызвала смех Сталина, когда они показали ему колбасу длиною в трамвай. Комсомолки в трусиках несли на себе гигантский флакон одеколона «Красная Москва»... Нашел, вот послушайте:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет...

У Кёстринга собрались как раз танковые генералы; Гудериан, Гот и Гёпнер, с деловитым вниманием прослушав, заговорили:

— У них разве есть первый маршал? — усмехнулся Гот.

— Ворошилов, уповающий на лошадей и тачанки.

Было смешно, а Генрих Гот не удержался от вопроса:

— Кёстринг, какова скорость их танка БТ-7?

— Шестьдесят два километра в час. Это на гусеницах, — пояснил атташе. — И восемьдесят с чем-то на катках.

— Надеюсь, по гладкому шоссе? — спросили его.

— Нет, даже на грунтовых дорогах. Вы же знаете, господа, что большевики не слишком-то озабочены созданием дорог.

— Какова же броня?

— Только противопульная.

— Быстроходные самовары, — злобно фыркнул Гудериан...

Паулюса на этом вечере не было, с ним давно хотел повидаться фельдмаршал Эрвин Вицлебен, которого генерал-майор застал в состоянии нервной депрессии, почти озлобленным.

— Я всегда очень низко котировал политический курс нашего фюрера. Но теперь я никогда не прощу ему, что он заключил этот дурацкий пакт с большевиками.

Ненавидя Гитлера, фельдмаршал одинаково презирал и сталинское государство. В их беседе участвовал молодой полковник Мартин Латтман, очень близкий семье Вицлебена, и он, человек опытный, поспешно накрыл телефон подушкой.

— Так будет спокойнее... гестапо все прослушивает. А я крайне удивлен, что попал в такую *реакционную* компанию.

Фельдмаршала эти слова Латтмана попросту взбесили.

— Молодой человек, — крикнул он, — попасть в компанию реакционеров — это еще не самый худший вариант в жизни!

— Стоит ли об этом? — примирительно сказал Паулюс.

Но Вицлебена было уже не остановить.

— Да, стоит! — закричал он на генерала. — Стоит, тем более что наш телефон накрыт подушкой... Разве вы, Паулюс, не допускаете мысли, что этот о л у х, — было понятно, о ком идет речь, — способен даже вовлечь нас в войну с Россией. Я не против, но кто спасет нас от поражения?

— Между нами договор о ненападении...

— Не смешите меня! — отвечал фельдмаршал, — скоро фюрер снесет громадное яйцо, а мы должны будем кудахтать...

6. «ЗИГ ХАЙЛЬ!»

Франц Гальдер, прощаясь с Паулюсом перед его отбытием в Лейпциг, сказал как нечто уже определенное:

— Фюрер все-таки решил сохранить в СССР колхозную систему, а не раздавать землю крестьянам, так как у частника труднее выбрать продукты, а колхозы при Сталине уже давно приучены к тому, чтобы их грабили подчистую... Так что ни вермахт, ни весь народ впредь нуждаться не будут!

«Но сначала, — домыслил Паулюс, — П о л ь ш а...»

Перед отъездом в Лейпциг он был исполнен чувства воинского долга, но дома ему пришлось пережить неприятный момент. Конечно, жена догадывалась, ради чего он едет и что втайне готовится, а потому Елена-Констанция, аристократка до мозга костей, чересчур резко осудила и Гитлера, и весь вермахт, не пожалела она слов и для осуждения мужа:

— Война с Польшей, которую вы начинаете, — это чудовищная несправедливость. Поляки и так бедные люди, им всегда не везло, а вы собираетесь усугублять их страдания.

— Опомнись, Коко, о чем ты?

— Это вам надо опомниться. Если в семье муж и сыновья посходили с ума, то мне, матери и женщине, сам великий Господь указал хранить свой разум в истинной святости...

С этим Паулюс и отъезжал. Ему предстояло быть начальником штаба 16-й танковой дивизии, которой командовал Вальтер Рейхенау и которая в Лейпциге заканчивала свое формирование. Именно эта

дивизия — вот она, судьба! — стала ядром для образования 6-й армии, которой суждено сложить свои кости на площади Павших борцов в Сталинграде. Впрочем, тогда никакой астролог не мог бы предугадать ее будущего, и Паулюс, прибыв в Лейпциг, сначала установил деловой контакт с Рейхенау, служить при котором не мог ни один генеральштеблер, — все давно разбежались, как мыши при виде кота.

— Что вы хотите? — миролюбиво сказал Рейхенау. — В моих служебных формулярах четко записано, что я, спортсмен и пьяница, обладаю «нетрадиционным» характером. Я только не кусаюсь, но способен дать коленом под зад даже фюреру...

Рейхенау, кастовый офицер прусского происхождения, был бесспорно чертовски галантлив как водитель танковых колонн, но карьеру он сделал еще в 1933 году, сразу и бесповоротно примкнув к Гитлеру, и — так рассказывали! — его дерзости побаивался сам фюрер. Но Паулюс, будучи покладист, ладил и с этим легкоатлетическим чудовищем: Рейхенау с утра делал пробежку, метал ядро или копье, забивал мячи в футбольные ворота, а Паулюс, как проклятый, сидел в штабе, взбадривая себя кофе и сигаретами, писал, переписывал, дописывал, вычеркивал, сокращал, уточнял, а вечером, пока Рейхенау еще не напился, он приносил ему на подпись бумаги, и Рейхенау, сверкая моноклем, говорил ему:

— Дай-ка гляну, что я там намудрил...

Где бы ни служил Паулюс, он нигде не заводил себе любимцев, никого из коллег не отличая, но в шестой армии он явно симпатизировал адъютант-капитану танковых войск Альфреду фон Виттерсгейму, и тот, ощутив приязнь начальника штаба, иногда откровенно подтрунивал над Паулюсом:

— Вы в роли Гнейзенау при маршале Блюхере.

— А вот это не ваше дело, фон Виттерсгейм... Лучше быть Гнейзенау, чтобы таскать на веревке маршала Блюхера!

— Яволь! Мне все понятно, господин генерал...

1 сентября ударом небывалой силы Гитлер обрушился на несчастную Польшу. Никто в мире не мог предвидеть, какой силой обладает германский вермахт, который буквально размял под гусеницами польские гарнизоны. Европейцы по сводкам газет знакомились с неизвестными ранее именами: Клюге, Гот, Рундштедт, Клейст, Хубе, Гёпнер, Рейхенау и, наконец, Роммель. Паулюс занял место в штабном танке с рацией, невольно щелкая зубами, как волк, когда машину бросало наверх и тут же свергало вниз. Через полоску триплекса он разглядывал, как фланирует вдали польская кавалерия, как ползут допотопные танки поляков. Паулюс приник к микрофону:

— Рейхенау, я — штаб. Цель. Справа. Видите?

И в ответ дребезжали мембраны шлемофона:

— Я — команда, Рейхенау. Цель. Вижу. Старье! «Виккерс» и «Карден-Ллойд». Мне смешно. Из какого сарая варшавские зазнайки вытащили эти старые консервные банки?

Рейхенау, даже не стреляя, просто раскатал в блин, как на блюминге, весь этот железный и ржавый хлам времен «санации» пана Пилсудского и велел увеличить скорость. По крупповской броне звонко стучали клинки отважных варшавских жолнёров, об эту же броню ломались пики польской кавалерии. Под гусеницами танков погибло все живое. «Panzer — marsch!» — громыхало в наушниках шлемофонов...

Под Варшавой их навестил Гитлер, очень довольный успехами танкистов, а Паулюс не стал выделять себя, докладывая фюреру:

— В этот момент Рейхенау подал прекрасную мысль... Рейхенау счел возможным... Рейхенау исправил положение тем, что... Рейхенау совершил невозможное...

Говоря так, Паулюс невольно вспомнил своего бедного отца с его афоризмом: «Лучше пусть не будет друзей, только бы не было

врагов...» Гитлер ласково оттягал Рейхенау за ухо, что заменяло жест сердечного поцелуя:

— Молодец, Рейхенау! Я чувствую, что вашу бесподобную шестую армию впереди ожидают великие дела...

В офицерском казино Рейхенау предложил выпить.

— Господа, — сказал он офицерам. — Напомню старую историю После битвы при Ватерлоо великий Блюхер был однажды в обществе, где устроили игру в шарады. Был задан вопрос: кто из присутствующих способен поцеловать себя в голову? Дамы пытались целовать свое отражение в зеркалах, но это был не ответ на вопрос. Вдруг поднялся Блюхер и сказал, что способен расцеловать свою голову. С этими словами он поцеловал голову Гнейзенау, своего начальника штаба: «Вот моя голова!» — сказал Блюхер, — и при этом Рейхенау поцеловал Паулюса...

Все было понятно, а объяснять не следует.

Рейхенау — да! — повезло, зато не повезло Гудериану.

Мощным рывком от Кенигсберга его танковый корпус возник на подступах к Бресту; город немцы взяли с налету, а крепость не сдавалась. Ее гарнизоном командовал генерал Константин Плисовский — бывший офицер царской армии. Наши историки, воспевая героическую оборону Брестской крепости в 1941 году, старательно умалчивали, что такой же героизм был присущ и полякам в 1939 году. Гудериан, образно говоря, разбил себе лоб о нерасторжимые ворота крепости, но поляки сдаваться не собирались. Три дня вокруг фортов громыхало сражение, да такое, что все горожане попрятались в подвалах, а над Брестом ветер раскручивал языки пламени. Штурм за штурмом — нет, не сдаются, а горы трупов у немцев растут. Гудериан откатился назад и вызвал авиацию. Бомбы рвались, танки — вперед, из пушек — прямой наводкой. Сбили ворота, ворвались в крепость, а в ней — ни души: Плисовский ночью обманул Гудериана и тишком вывел гарнизон так, что немцы даже не заметили его отхода...

Это случилось в ночь на 16 сентября, а через день к микрофону московского радиовещания подошел Молотов...

. . . .

Молотов! Так уж случилось, читатель, что пятый класс школы — последний в моей жизни — я заканчивал в городе Молотовске (ныне Северодвинск) и хорошо помню школьные учебники того времени по географии. На картах серым цветом были залиты многие страны Европы, а поверх краски было оттиснуто: «Область государственных интересов Германии». Помню, что вместе с папой я был на какой-то лекции, и лектор политпросвещения почти упоенно восхвалял гитлеровскую машину Германии, но при этом не забывал издеваться над англичанами и французами...

Итак, 17 сентября 1939 года Молотов по радио заявил о полной «несостоятельности» Польского государства, возвещая ему конец. Ни Англия, ни Франция не пришли на выручку полякам, а с востока в Польшу были введены советские войска, и бывшая великая Речь Посполитая оказалась в тисках: с запада — немцы, с востока — русские...

Одна старая женщина из Белоруссии недавно рассказывала:

— Помню, как входили красные. Сначала летели самолеты с красными звездами, и мы даже радовались, что помогут. Потом ехали конники — много-много. А когда показалась армия, мы смеялись... что такое? Шинели длиннющие, некрасивые, такому чучелу даже в плен стыдно сдаваться. Ведь наши польские жолнёры были одеты с иголочки, любо-дорого посмотреть!

Московские газеты возвещали о «братской миссии» Красной Армии, освобождающей украинцев и белорусов для их окончательного воссоединения, но в сводках командования уже появилось слово «пленные». Если мы несли на знаменах освобождение от «панского

нга», то, простите, откуда могли взяться пленные? Впрочем, польские офицеры, когда мы предлагали сложить оружие, зачастую тут же стрелялись. Они кончали с собой перед немцами, они убивали себя и перед советскими командирами. «Рука дружбы», протянутая Сталиным в Польшу, оказалась с острыми когтями хищника: сразу же покатились в Сибирь из Польши эшелоны арестованных, тысячи и тысячи семей были разлучены навсегда. Зачем это делалось? Или опять «враги народа»? Друзей мы не приобрели. А если врагов и не было, так они сразу появились...

22 сентября в поверженном Бресте состоялся парад.

Объединенный парад победителей — войск немецких и советских, дружно маршировавших перед трибуной, с которой их приветствовали генерал Гейнц Гудериан и комбриг С. М. Кривошеин. Оркестры гремели, над крышами домов с воем проносились немецкие «мессершмитты», а советские войска склоняли знамена, чествуя колонну гитлеровских танков...

Этот совместный парад был вычеркнут из нашей истории! Но помнить о нем надо. Будем же знать, что после парада Гудериан дружески потчевал Кривошеина, сказав ему за выпивкой:

— Поляки — храбрецы, каких мало на белом свете. Второй раз штурмовать крепость Бреста я бы не мог... Ах, сколько тут поляки положили моих парней! Теперь из Берлина приехала целая миссия, каждый день вывозят трупы солдат в Германию...

Брест вошел в состав СССР, но в праздничные дни, 1 мая или 7 ноября, в Бресте созидалась трибуна — для почетных гостей, и немецкие генералы принимали парады нашего гарнизона. Советские войска уже вступили в Прибалтику, часть польских земель Сталин передал литовцам — вместе с древним городом Вильно, в котором тогда жили одни поляки, а литовцев было меньше одного процента, но литовцы сразу превратили его в свою столицу и назвали — Вильнюс. Вступив на территорию Прибалтики, войска вели себя тактично, ни во что не вмешиваясь: по приказу наркома Ворошилова от 25 октября им было запрещено общаться с жителями, они не имели права отвечать на вопросы о том, какова жизнь в Советском Союзе. Если красноармейцев и выводили в город, то обязательно в сопровождении политруков, которые следили за ними, а рядовые с удивлением озирали витрины магазинов, переполненные товарами, их шокировало, что на улицах все хорошо одеты, никто не падает с голоду, никто не молит о милостыне, нигде не видно трущоб, о которых им всегда говорили.

— Гляди-ка, — перешептывались. — Эвон сколько колбас на витрине сразу и никаких хвостов с улицы не тянется. Это как же понимать? Ведь они же капиталисты прогнившие... Да у нас в Сызрани покажи такое — враз бы набежали с кошелками!

Страшный сентябрь, определивший трагедию миллионов людей, этот сентябрь заканчивался, и московский аэропорт снова украсился знаменами со свастикой — столицу вновь посетил Риббентроп; Гитлер уже объявил о ликвидации Польского государства, теперь СССР и Германия становились соседями, имея общую границу, и требовалось определить демаркационную линию. На карте раздела польских земель расписались Сталин и Риббентроп, при этом Сталин подмигивал своим соратникам:

— Обдурил я Гитлера... провел его...

28 сентября между Германией и СССР был заключен пакт о дружбе, и Лаврентий Берия сразу же распорядился, чтобы в концлагерях охранники не вздумали оскорблять «врагов народа» кличками «фашист», ибо отныне все изменилось:

— Теперь слово «фашист» уже не может быть ругательным...

31 октября на сессии Верховного Совета Молотов указал советским людям, как правильно все понимать:

— Оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной Армии, чтобы ничего не осталось от Польши, этого уродливого детища Версальского договора... Идеологию гитлеризма, — я цитирую Молотова, — можно признавать или отрицать. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию... Теперь Германия находится в положении государства, стремящегося к миру (!), тогда как Англия и Франция стоят против заключения мира (!)...

С ног все было переставлено на голову. Отныне — в глазах советских людей — Гитлер должен выглядеть миротворцем, а демократы Англии и Франции переходили в разряд «поджигателей войны». Сталину теперь казалось, что перед ним открыта дорога на Запад, а в Берлине исподтишка уже готовился поход на Восток.

...Я заканчиваю. 1 сентября 1939 года стало первым днем второй мировой войны, и в этот же день в СССР был принят «Закон о всеобщей воинской обязанности». Сопоставьте эти события, и вы сразу почуете приторный запах пороха. Затем была ликвидирована трудовая пятидневка с семичасовым рабочим днем, рабочие и служащие потеряли право переходить с одной работы на другую. Шумели? Да еще как шумели:

— За что кровь проливали? За что боролись?

За что боролись, как говорится, на то и напоролись. Теперь стоило опоздать на работу хотя бы на пять-десять минут, и можно было закончить жизнь за колючей проволокой. Но Сталин, кажется, уже начал понимать, что мы опаздывали. Нас уже обгоняли. Советский Союз отставал, и никакие рекорды и никакие стахановцы не могли скрыть это всеобщее отставание...

. . . .

Ничего для себя поучительного, кроме ужасов, Паулюс из польской кампании не вынес. Но из опыта боев были выделены два главных требования к насыщению вермахта — это полная моторизация, это устойчивая радиосвязь.

Паулюс вернулся в Берлин, усталс сказав жене:

— Наши ролики крутились исправно. Правда, случались неувязки организационного порядка, но они легко устранимы в следующих кампаниях... скорее всего во Франции.

— О боже! — разрыдалась Коко.

В эти же дни Гитлер, будучи в хорошем настроении, решил поговорить с начальником генштаба — Францем Гальдером:

— Вам следует знать, что все захваченные польские земли отныне следует считать только удобным плацдармом для стратегического развертывания войск ради полного уничтожения большевистской заразы. Но выступить против России мы сможем лишь тогда, когда у нас будут развязаны руки на Западе...

«Зиг хайль!» — ревели на улицах, и этот возглас означал: «Да здравствует победа!».

7. «РОЛИКИ» И КОЛЕСА

Немецкая разведка работала хорошо, и на основании ее докладов Гитлер убежденно говорил, что Россия сейчас ослаблена как никогда изнутри политическими процессами, а ее армия имеет очень низкую боеспособность. Отчасти он прав. Постоянные репрессии выбили почти все командные кадры, дивизиями теперь командовали капитаны, иногда и ротные командиры. Известно по этому поводу мнение Семена Буденного:

— Не беда! За годик любого подучить можно.

— Верно, — поддерживал его нарком Ворошилов. — Кто командовал хоть взводом, тот может командовать и армией...

Стыдно сказать, что в Академии Генштаба перед войной еще читались лекции об устройстве зимних саней, слушателей знакомили с конной упряжкой, следовало знать назубок убогий инвентарь обозного имущества. Генерал И. М. Голушко вспоминал, что слушатели Академии, заполняя аудитории перед началом лекций, с некоторой ехидцей спрашивали один другого:

— Какая у нас тема сегодня? Теория хомута и оглобли? Или станем подводить марксистскую базу под колесо у телеги?..

Все это было. К великому сожалению. «Моторизация» — на словах, а на деле — кобыла в упряжи. Между тем адептов верховой езды было немало, и Буденный открыто возвещал:

— А что? Лошадь да тачанка еще себя покажут...

Другой апостол лошадиной тактики Ефим Щаденко, будучи замнаркома, подпевал кремлевской кавалерии в газете «Правда»:

«Сталин, как великий стратег и организатор классовых битв, правильно оценил в свое время конницу, он коллективизировал ее, сделав массовой, и вместе с К. Е. Ворошиловым он вырастил лошадь на горе врагам пролетарской революции...»

Обо всем этом знали в Берлине, где «Правду» тоже почитывали, и в один из осенних слякотных дней Паулюс встретил Гудериана, который, будучи в праздничном настроении, завлек его в ближайшее кафе. С нажимом на слове «нас» он сказал:

— Нас, танкистов вермахта, можно поздравить.

— С чем? — не понял его Паулюс.

Они заказали по чашке кофе с птифурами, Гудериан дымил очень дорогой сигаретой «Равенклу», Паулюс закурил сигарету «Аттика». Гудериан со смехом сказал, что слона можно учить бесконечно, но ловить зайцев он все равно не научится:

— Это относится к русскому генералу Кулику, любимцу Сталина, который служит чуть ли не главным специалистом по вооружению. Не так давно Кулик собрал всех кавалеристов, и они совместно постановили: РАСФОРМИРОВАТЬ ТАНКОВЫЕ КОРПУСА.

Было время нарастания танковой мощи, когда в мире уже вызревал вопрос не только о корпусах, но даже танковых армиях, а потому Паулюс даже не хотел верить в услышанное.

— У меня, — сказал он, — ваша информация с трудом укладывается в голове... абсурд! Или русские спятили?

Гудериан объяснил, в чем дело. После репрессий Сталина некий лейтенант Яркин, командир батальона, мигом обрел чин генерала и стал командовать танковым корпусом. Когда начался поход на Польшу, этот «герой» потерял управление корпусом, наделал массу глупостей, и Кулик принял решение:

— Если, мол, Яркин не мог справиться с корпусом, так и другие не могут. Потому, — заключил Гудериан, — танковые корпуса в Красной Армии уничтожили. По этому поводу закажем коньяку, чтобы отпраздновать нашу бескровную победу... Тем более, на улице такая дрянь, такая слякоть.

Они выпили, и, собираясь уходить, Гудериан медленно натягивал перчатки. Заранее поднял воротник шинели и склонился над Паулюсом, прошептав ему на ухо:

— Последняя информация. Только что получили... оттуда. Уровень боевой и особенно тактической подготовки советских генералов не превышает уровня знаний германского лейтенанта. Хайль Гитлер! — выкинул Гудериан руку, прощаясь.

— Хайль, — отозвался Паулюс, допивая кофе...

. . . .

Франц Гальдер уже не раз выезжал в Финляндию, чтобы инспектировать оборонные сооружения знаменитой линии Маннергейма.

Интуиция, на которую столь часто уповал Гитлер, не подвела его и на этот раз: Англия и Франция лишь 3 сентября очень неохотно, даже с какой-то ленцой объявили ему войну, но в Лондоне и Париже палец о палец не ударили, чтобы спасти от разгрома несчастную польскую армию. Началась война, которую называли «странной», и она, эта война без выстрелов, затянулась до самой весны следующего года. Возле Саарбрюккена французы вывесили над своими траншеями плакаты: «Мы в этой войне не выстрелим первыми!». Правда, над Лондоном по вечерам повисали аэростаты, небо над Парижем иногда пронзали лучи прожекторов, но все было спокойно, и немецкие солдаты — прямо с фронта — целыми эшелонами ездили по своим домам, чтобы целовать невест и жен, при этом и весело распевали:

Меня и все желанья,
войдя в земную глубь,
пробудит заклинанье
твоих влюбленных губ.
Труба играла нам отбой,
а я опять, опять с тобой,
Лили Марлен,
Лили Марлен...

Паулюс тоже не раз наведывался в Берлин, оставляя Рейхенау лакать шампанское, играть в теннис и дуться в карты.

— Так воевать можно без конца, — говорил он жене. — Иногда я сравниваю бойню времен кайзера с этой войной и начинаю верить в гениальность нашего фюрера, который говорил, что если противники блефуют, то почему бы и ему не блефовать?

— Но все-таки война, Фриди, а я — жена. Жена и мать!

— Ах! — морщился в ответ Паулюс. — Ты бы хоть раз видела эту войну... На линии Мажино французы зазывают наших солдат «на чашечку кофе», а наши солдаты любезно приглашают французов «на кружку мюншенера». Кое-где даже играют в футбол — между собой. Так что ты, Коко, не волнуйся...

Между тем после польской кампании гитлеровцам опять повезло: Сталин объявил Финляндии войну, которую у нас много лет стыдливо именовали «зимней кампанией 1939—1940 годов» или скромнейше называли эту войну «зимним вооруженным конфликтом». Немцам же повезло по той причине, что, пристально наблюдая за боями на Карельском перешейке, они по сути дела ставили точный диагноз всем потаенным болезням, которые уже достаточно ослабили Красную Армию за годы глупого шапкозакидательства. Во-первых, немцы убедились, что русские тоже из костей и из мяса, а потому страдают от жестоких морозов, как и все люди на свете. Моторы танков не заводились, танкисты всю ночь подогревали их кострами, разведенными под днищами машин. Немецкие офицеры издавна служили в финской армии инструкторами, и потому их не удивляла маневренная подвижность лыжных батальонов, тогда как советские войска, увязая в сугробах, маневрировать не умели. Сталин надеялся расправиться с финнами за две недели, но с первого же дня боев его дивизии попадали в окружение и были разбиты, а жестокие приказы не помогали — армия топталась на месте. Весь финский народ сплотился в эти дни воедино, чтобы дать отпор сталинским претензиям.

Немецкие наблюдатели докладывали Францу Гальдеру:

— Русский солдат остается хорошим в любых условиях, удивительно стойким и выносливым, но советское командование ни к черту не годится. Москва обвиняет своих офицеров в измене и в трусости, но они просто не научены воевать...

Лишь в конце года советские войска с трудом подошли к линии Маннергейма, но прорвать ее не могли. Сталин материл Ворошилова,

а тот предлагал усилить репрессии: «Провести радикальную чистку корпусов, дивизий и полков. Вместо грусов и бездельников (сволочей тоже немало) выдвинуть... Кулика или Щаденко». Сталин понимал, что Кулик и Щаденко с их тачанками до Хельсинки никогда не доскачут, и послал Льва Захаровича Мехлиса, чтобы перестрелял негодных:

— Расстреливать, — велел он Мехлису, — приказываю перед строем личного состава, чтобы напугать всех...

Мехлис перестрелял так много невинных, что вызвал даже протест военной прокуратуры. Но армия с места не сдвинулась, замерзая по-прежнему, и тогда Сталин назначил командующим С. К. Тимошенко; подтянули свежие войска, бросили в прорыв танки, авиацию — и лишь в конце февраля Тимошенко, после длительной паузы, повел армию на штурм линии Маннергейма.

— Он... бездарен, — говорил Гальдер о Тимошенко, издали наблюдая за его действиями. — Этот маршал способен бить только в лоб, не признавая маневра, и его пиррова победа будет стоить очень большой крови...

Так и случилось: неся колоссальные потери, войска Тимошенко наконец-то прорвали линию Маннергейма!

Англия и Франция очень хотели бы помочь Финляндии своими войсками, но 5 марта 1940 года Швеция заявила, что войска союзников через свои порты не пропустит, Стокгольм советовал финнам начать переговоры с Москвою. Война закончилась штурмом Выборга; за 105 военных дней наша армия потеряла около 300 000 человек, но... Что выиграл Сталин?

Н и ч е г о. Напротив, он проиграл: весь мир убедился в слабости его армии, коммунисты других стран не понимали, почему СССР оказался в роли агрессора, и, наконец, итог всей войны подвела Лига Наций — Советский Союз был исключен из числа ее членов как агрессивная держава. СССР оказался в политической изоляции. Но самое страшное, что война с Финляндией приблизила сроки нападения Германии.

— Русские совсем разучились воевать, — говорил Гитлер. — Наверное, они только и ждут, чтобы с ними разделались. Но сначала мы проучим зарвавшихся англичан и французов.

Сталин после войны пребывал в удрученном состоянии.

— Д у р а к! — честно и справедливо сказал он Ворошилову.

Климент Ефремович возражать не осмелился и вместе с Буденным парился в бане на своей даче, а пока они парились, генерал Ока Городовиков (тоже кавалерист) играл им на баяне самые популярные мелодии, чтобы маршалам не было скучно:

Ах, тачанка-ростовчанка,
наша гордость и краса,
пулеметная тачанка —
все четыре колеса...

Закончив играть, Ока Городовиков спросил Буденного:

— Семен, всех берут. Неужто и нас посадят?

Буденный утешил друга:

— Нас не коснется. Берут-то ведь только умных...

. . . .

А здесь играли на губных гармошках:

По соседству от казармы
у больших ворот
столб стоит фонарный
уже не первый год.
Так приходи побыть вдвоем
со мной под этим фонарем,
Лили Марлен,
Лили Марлен...

Ранней весной все песни кончились заодно с этой очень «странной» войной: вермахт вдруг перешел в активное наступление, какого союзники не ожидали. Кажется, в Лондоне и Париже все еще надеялись, что Гитлер, блефуя перед ними, блефующими, развернет свои силы против России, но...

Кто бы мог тогда ожидать удар такой силы?

Паулюс с удовольствием выслушал признание Виттерсгейма:

— Если вы, генерал, по-прежнему останетесь начальником штаба в нашей шестой армии, то Рейхенау, я думаю, снова предстоит целовать вашу голову вместо своей...

Шестая армия Рейхенау уже считалась «элитарной» в вермахте, и Паулюс сам понимал, что авторитет этой армии следует поддерживать. Под траками гусениц была раздроблена свобода нейтральных Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и Люксембурга. В канун удара по Франции немецкие самолеты забросали линию Мажино открытками с надписями: «Приятель, поверни ее против света, и ты сразу поумнеешь!». Глядя на открытку против солнца, французский солдат видел парижанку, спавшую с англичанином из британского корпуса, который Черчилль благоразумно расположил в тылу — позади фортов линии Мажино. Такова была пропаганда Геббельса:

— Умейте плевать в открытую рану, — поучал он...

Генералам Франции казалось, что достаточно отсидеться под землей на линии Мажино — и победа придет сама по себе. Немцы так и оставили их сидеть в фортах, а германские танки обошли их стороною, нанося удар во фланг, и через пять дней в Лондоне на квартире Черчилля раздался истерический звонок от Рейно, премьер-министра Франции.

Диалог между ними строился таким образом:

РЕЙНО: Мы разбиты вдребезги, война проиграна.

ЧЕРЧИЛЛЬ: Но это невозможно... так быстро?

РЕЙНО: Немцы прорвали фронт, их танки идут лавиною, за ними движется с автоматами колоссальное количество пехоты... она у Гитлера вся мотомеханизирована!

ЧЕРЧИЛЛЬ: Послушайте, Рейно, надо как-то держаться.

РЕЙНО: Как держаться? Как, если их пехота слишком подвижна, ее силы не убывают. У пикирующих бомбардировщиков действие сокрушающее. Франция проиграла войну...

Английская экспедиционная армия спасалась в сторону моря. Рейхенау в горнолыжном костюме, как бравый чемпион, сидел поверх брони танка и солдатским тесаком резал на восемь кусков громадный торт-безе с цукатами. Хохотал:

— Сколько мы потешались над «ефрейтором», Паулюс, а ведь он всегда прав. Надо держаться этого чудака, который воротит морду от жирного шницеля с пивом. В конце концов, он недорого и обходится нации. Пожует травки, как зайчик, и — сыт! Зато мы уже отхватили пол-Европы и попрем дальше...

Гальдер вызвал к себе молодого цветущего полковника Адольфа Хойзингера, служившего по оперативным делам. Между прочим, не акцентируя его внимания, он спросил его:

— А что там с генералом Пуркаевым?

— Уже сидит на нашем крючке. Вряд ли сорвется, ибо страх перед Сталиным заставит его служить нам...

Генерал Пуркаев занимал в Берлине пост военного атташе — такой же пост, какой со стороны немецкого командования занимал в Москве генерал Эрнст Кёстринг.

Подготовка текста и публикация Антонины ПИКУЛЬ.

Продолжение следует

ПОЭЗИЯ

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

ПОСЕВ И ЖАТВА

ПОЭМА

Глава VII. БЕРЕЗОВСКИЙ ДНЕВНИК

Запись первая

РАЗДУМЬЯ У ПАМЯТНИКА

По всей Руси великой обелиски
Стоят, как знаки скорбной тишины.
И полукругом — каменные списки
Убитых, не вернувшихся с войны.

Построились в колонны ротой
целой,
А то — так и полком... А впереди
Один (сынок? отец?)
в шинели белой
И с белым автоматом на груди.

Оружие сжимает он руками
Надежно, по-хозяйски, как мужик...
...Березовка — от века — велика ли,
Но до чего же список-то велик!

Вон, на любую букву алфавита —
Фамилия... а то и три... и пять!
Почти четыре года
длилась битва —
Успели миллионы потерять.

Фамилии, фамилии... и снова...
Но стоп!
Куда должны быть внесены,
В какие списки,
братья Журавлевы?
Они убиты были до войны.
Сначала Павел, а потом Алеха...

Ответьте, люди: разве их вина,
Что выпала такая вот «эпоха»
На долю их, такие времена?
Из них, уверен, предпочел бы
каждый,
Над ямой становясь иль у стены,
Стократно умереть от пули
вражьей,
Чем от своей, не ведая вины.

И не были б — ручаюсь головою —
В войну они — ручаюсь,
как солдат, —
Ни лишними в сраженьи
под Москвою,
Ни робкими в боях за Сталинград.

И более того: война б едва ли
До этих докатилась городов,
Когда бы Журавлевы не лежали
В земле
До той беды за пять годов.

...Стоим с дружком пред списками,
согбенны...
Роняет он, итожа разговор:
— Вычеркивать невинно убиенных
Из памяти — кощунство и позор!

Из года в год заботами о хлебе
Живя, я полагаю, что страна
Должна бы отслужить о них
молебен,
О пахарях расстрелянных, должна!
И вырубить железом на граните
Отмытые от лжи их имена,
Чтоб каждый крепко помнил,
каждый видел,
Сколь велика *беспечности* цена.

Минуту-две стоим в молчаньи оба,
Покуда не слетает с языка:

Окончание. Начало в № 1 за 1991 год.

— Беспечности?!. Пожалуй...
Но особо
Доверчивости, друг мой, велика
Цена-то!.. Принимаем л и ц е м е р а
За Бога! Потакаем л о в к а ч у!..
Я думаю, слепая наша вера
И развязала руки палачу.

Запись вторая

ВОСПОМИНАНИЕ О КИТЕЖГРАДЕ

1

На островах, среди озерной сини,
Над куполами вскинувши кресты,
Как Китежград, во всей красе
и силе,
Стоял, века считая, монастырь.
И шли к нему по праздникам
престольным
Из деревень, разбросанных окрест,
Селяне... И встречал их
колокольный,
Над озером плывущий благовест.
Девчата, сбившись в кучку
у парома,
В сапожки обувались, хохоча, —
Они босыми шлепали от дома, —
Ребята пили воду сгоряча...
А бабы, приподняв чуток подолы,
С душою, переполненной добром,
Весь божий мир — моря, леса
и долы
Благословя, ступали на паром.
Отдав поклоны церковке
надвратной,
Оставив все мирское за спиной,
Они, перекрестившись
многократно,
Входили в храм степенно,
по одной...
Рассказывала мама — не забыл я —
Как, покаяньем горьким насладясь,
Душа там расправляла
снова крылья
И с небом восстанавливала связь.
И весело — опять на босу ногу —
Бежалось с башмаками на плече
В обратную дорогу, слава Богу,
С душой, не опечаленной ничем.
И думалось с надеждою о ниве,
О ржи, о льне («Вот в зиму
попряду!»),
И верилось («Бог милостив!»),
счастливей
Все обернется в нынешнем году...

2

...И вот они, среди озерной сини,
Те острова. Стою на берегу.
Гляжу, оцепенев... И как
ни силюсь,
Увидеть то, что было, не могу.
Ни колоколен белых силуэтов,
Ни шпилей, ни крестов...
Не счесть утрат.
И плачет сердце: Китежграда нету.
Ушел под воду дивный Китежград.
От чудной сказки, роскоши
вчерашней
Остался монастырских стен развал
Да остовы обрушившихся башен —
Как будто впрямь Мамай тут
воевал.
А поверху — железная мережа[1]
И вышки с часовыми по углам.
За ними крыши серые: похоже,
Монашьих келий что-то вроде там...
Да вот они и сами, в Божьем
страхе
Живущие и в праведных трудах,
Остриженные наголо «монахи»
С березовыми мётлами в руках.
Метут вполмаха, медленно...
На лицах
Тюремный несмываемый загар.
Летают влево-вправо рукавицы —
Их монастырский фирменный
товар.

3

...Тридцатые, восторженные годы!
Повсюду утверждалось, как закон:
Для полной человеческой свободы
Нужна еще свобода от икон.
И вдалбливался в головы
крестьянам
Простой, досель неведомый им
стих
Евангелья от Емельяна[2]
О том, что вера — о п и у м
для них.

[1] Мерёжа — рыболовецкая сеть (сев.-русское).

[2] Емельян Ярославский (Губельман) — деятель партии, возглавлявший борьбу с православной церковью.

Что церковь разжигает только
страсти
Ненужные... И потому она
От новой власти, от советской
власти
Должна быть навсегда отделена.
Должна быть... И кому-то
уж неймется
(«Дозволено!») тряхнуть ее
слегка..
(Была бы жертва,
а палач найдется —
Свидетельствуют прошлые века.)
Воистину!.. И вот, ругаясь пьяно,
Полез на колокольни всякий сброд
(На радость современным
Емельянам,
Орущим: «Церкви рушил сам
народ!»).
Два года, три
по всей Руси великой
К подножью оскверненных алтарей
Колокола летели безъязыко,
Как головы казненных бунтарей.
А следом, на апостолов похожи,
С надкупольной небесной высоты
С безмолвным криком
«Покарай их, Боже!»
Подпиленные падали кресты.
С тех пор в пустых проемах
колоколен
Свистят ветра, пасется воронье...
Ну что ж, антихрист может быть
доволен:
Он сделал дело черное свое!

4

...Стою на берегу, не в силах
слова
Произнести. Душа тоски полна.
Ни зги... Лишь на штыке
у часового
Горит полночная луна.

Запись третья

В ПОКИНУТОЙ ДЕРЕВНЕ

По деревенской улочке, дружки, на зависть вам,
Иду, как раньше хаживал, гляжу по сторонам.

Гремит мое сердечико, кружится голова...
И спутывает ноги мне высокая трава.

Никто, видать, по улочке не хаживал давно...
Ах, темное окошечко, откройся хоть одно!

Улыбочкой приветною порадуй, позови
И жаркий пламень памяти зажги в моей крови,

Чтобы на этой улочке, где до колен трава,
Взвились припевок девичьих любовные слова;

Чтобы гармошка, — встречную стремясь переорать,
Парней на улку вывела отчаянную рать.

Конечно, неженатую, конечно, под хмельком,
Конечно, тоже с песнями, конечно, с огоньком.

А матушек, а тетушек вдоль улочки стеной
Поставь, о память светлая, поставь передо мной,

Чтоб я, идя срединою в компании парней,
Узнал свою родимую и улыбнулся ей.

И бабушке, и тетушке, а кроме — этой вот,
Какая, может, тещею мне станет через год...

С восторгом я на улочку гляжу из наших дней:
Ах, Боже мой! Народу-то в дерёвенке моей!

«Преображенье» празднуя, она вовсю шумит,
Не зная о судьбинушке, какая предстоит.

Не зная, что подует ей в грудь ветер ножевой,
И зарастет вся улочка травой, травой, травой...

Запись четвертая

ВОСПОМИНАНИЕ О ГОРОДЕ

Я дивлюсь,
В любое время года
Подъезжая к городу, дивлюсь
Не домам, и даже не заводам,
Я дивлюсь садам и огородам,
Серым дачкам-будочкам дивлюсь.
Несть числа им! Улочки,
как стрелы,
Между ними — вдоль и поперек
(Маленькие, собственно, наделы:
Бок о́ бок, порожек о порог).

Смотрят, строй равняя,
как солдаты,
В два оконца смотрят кто куда.
Грабли у крылечек да лопаты —
Символы крестьянского труда.

Все тут (вот работа так работа!),
Все тут (где вы мини-трактора?)
Вырвано у леса да болота
С помощью кирки да топора.

Нет для сердца радостней
картины,
Чем вот эта; глянешь за забор:
Грядки — чудо! — взбиты,
как перины,
Овощи на грядках — весь набор!

И ничем — ни холодом, ни зноем
Их не бьет. Ботва фонтанит с гряд.
«Есть ты, притяжение земное!» —
Эти чудо-грядки говорят.

Я и сам душой (и даже кожей!)
Ощущаю: е с т ь! Не спорьте, ша!
Ибо в невесомости не может
Пребывать крестьянская душа!

Раб и жертва мачехи-судьбины,
Пашенку оставивший народ
(Потяну-уло!) пустоши, лядины
В оборот под городом берет.

После затянувшейся разлуки
Каждый вдохновением горит:
Как перо, берет лопату в руки
И с душой в согласии т в о р и т!

Перед ним вот эти грядки-сотки,
Как бумаги чистые листы.
Все, что ни посадит —
не для сводки,
Просто так порой — для красоты.

Что ни соберет — не для расчетов
С «дядей» — по грабительской
цене...
Господи, додумался бы кто-то:
Так бы да везде! По всей стране!

Запись пятая

ДЯДЯ ПАНЯ

В старом доме — три шага за поворот —
Паня Околов в Березовке живет.

Было, помнится, — давно ль? — на весь посад
Пани Околова детки голосят.

А теперь в его избенке — тишина.
Никого. Лишь сам да Олюшка — жена.

Дяде Пане от восьми и до шести
Нынче очередь коровушек пасти.

Говорит он Ольге Павловне — жене:
«Ты бутылочку поставь сегодня мне.

А не то, — грозит, — возьму и не пойду.
Мой характер поимей, жена, в виду».

Ольга молча, далеко ли до греха,
Принимает ультиматум пастуха.

Поллитровочку несет из кладовой:
«На! — сует. — И хоть залейся с головой».

...Паня весел — он не первый раз пасет.
Он пасет да из бутылочки сосет.

Пососет да поглядит из-под руки:
Что за чудо?! Ходят парами бычки.

И телята тоже по два — меж кустов...
Подивясь, он навзничь падает: готов!

С этой кочки он теперь уж никуда.
А коровам нет спасенья — овода.

Эти в воду забрели, а те в кусты,
Эти к дому понеслись, задрав хвосты.

По дороге только пыль да гром копыт...
Дяде Пане все до лампочки: он спит.

Комаров над ним толчется туча, зла.
Дядя Паня ни рукою — тяжела,

Ни губою — непослушна и губа...
Только пота струйки жаркие со лба.

Опорожненный, в траве блестит сосуд.
Комары из дяди Пани кровь сосут.

Надуваются, как красные шары,
Кружат головы им винные пары.

Отвалясь, едва взлетают: тяжело.
...Свечерело. Солнце за́ лесом зашло.

Обнаружив, нету дома пастуха,
Тетка Ольга — далеко ли до греха! —

Чертыхаясь, запрягает меринка...
По частям на воз вздымает мужика

И везет его с поскотины домой...
Детки в городе — приходится самой.

Меринок ступает ходко. Вот уж двор,
Вот сельмаг уже — торгует до сих пор.

В окнах свет, над входом лампочки горят...
Слева ящики горою Арарат.

Выше крыши деревянная гора.
«Надо ж было столько вылакать добра!» —

Ольга ахает. А вскоре за «горой»:
«Все! Вставай! — орет. — Приехали... герой!»

Глава VIII. НАСТРОИЛАСЬ ДУША

По избе он в этот вечер
Не ходил — печатал шаг.
Был удачею отмечен
День его. Я понял так.
Сел к столу и, озоруя,
На меня нацелил взгляд:
— Как ты мыслишь, почему я
Замахнулся на подряд?
— Из-за денег, говорят... —
Подыграл я Валентину. —
Что за жизнь, коль денег нет...
— Так... И все ж не всю картину
Раскрывает твой ответ...
Да, отчасти из-за денег.
Ну, а больше потому,
Что бездумье да безделье
Мне обрыдло самому.
Быть хозяином в дому
Захотелось! Сколько ж можно
Так обманывать безбожно
Землю? Старое круша,
Захотелось в руки вожжи
Взять, настроилась душа!

Взять и править, не внимая
Окрикам со стороны.
Править вплоть до урожая,
Ну, а дальше — до весны,
Ну, а далее — до лета...
Чтоб, колосьями звеня,
Как поэма для поэта,
Стало поле для меня.

Пусть не поле даже — стадо,
Например, бычков, овец...
Но чтоб я изведал радость,
Ту, что ведает творец!

— Радость, если подфартило!
Наросло!.. А если — нет? —
«Поддеваю» Валентина.

— Стыд! —
Бросает он в ответ. —
Убежден: «Царю Природы»
Невозможно без стыда!
А у нас?.. Мол, от погоды
Все зависит... Ерунда!
Все зависит от труда!
От хозяйского пригляда...
В нашем деле глаз да глаз
Нужен! Ну, а у подряда
Это все и есть как раз.
Наш народ сложил не зря ведь
В поговорочку слова:
«По двору пройдет хозяин —
Рубль найдет, обратно — два».
А поденщик — даже в мыслях
Он не держит тех рублей.
А зачем? И так начислят.
Рубль начисленный — длинней...
Оглянись на день вчерашний:
Как трудились мужики?
А вот так: на вешней пашне
Шапка свалится с башки —
Не подымут! Каждым часом
Дорожили, недосуг!
Чуть опнутся, выпьют квасу,
Лбы утрут — и вновь за плуг.
Дедко мой, когда работал,
Повторял себе в усы:
«Урожай большой от пота,
А никак не от росы...»

* * *

...Оказавшийся тут (как всегда, под хмельком)
Паня Околов ляпнул некстати:
— А тебя, Горячов, при напоре таком
Ненадолго, я думаю, хватит.

Беспощадно работаешь, брат, на износ.
Поискать нынче этаких дурней.
Для чего нас, скажи, загоняли в колхоз?
Чтобы легче жилось и культурней.

Вот... А ты, посчитай, половину работ
И теперь — все вручную, вручную...
Смотришь: в смену дневную с тебя градом пот
И почти что ручьями — в ночную.

Да и Ритка твоя, погляди, извелась.
А была ведь красавица, Ритка!

Сколько годиков — двор да коровы, да грязь
По колено... Ведь это же пытка!

— Глико ты! Пожалел! — улыбнулся в ответ
Горячов, не смутившись нимало. —
Ну, во-первых, крестьянское дело, сосед,
Легким делом вовек не бывало.

К сожаленью, об этом забыл ты, мужик...
Ты, беря бригадира «на бога»,
Получать — я заметил — помногу привык,
Ну, а спину сгибать понемногу.

Получать, на чем свет понося свой колхоз,
Выдирая из горла пятерку,
И не в гору — не в гору! — тащить общий воз,
А спускать равнодушно под горку.

Да, работы у нас — согласиться готов —
На дворе поприбавилось малость...
Но и радости — тоже!
За двадцать годов
Мы впервой обрели эту радость!

Радость — делать работу, как совесть велит,
Как диктует забота, смекалка.
Радость — знать, что никто за спиной не стоит,
И душа — что ни день — нетерпеньем горит,
И растраченной силы не жалко!

Не меня — ты себя пожалел бы, сосед! —
Он добавил с усмешкою Пане. —
Что за жизнь, коль в душе твоей радости нет?!
Кроме той, извини, что в стакане...

Глава IX. ЗАБОТА

Тот вечер, помню, нас застал в сторожке.
Все в ней как надо было, все *ладом:*
Топилась печь. В углу дремала кошка.
Дымил котел. И пахло хомутом.

(Лошадкой, удивив опять соседа,
Недавно обзавелся Горячов.)
— Послушай-ка... — настроясь на беседу,
Вдруг начал он. — ...Я тут статью прочел.

Задористо написана, красиво!
И много громких фраз, и много цифр...
Мол, факт: не дефицит рабочей силы,
А совести в деревне дефицит!

И дефицит сознательности, значит...
Но в наше время, думается мне,
На совести далеко не ускачешь:
Она уже давненько не в цене...

Нужна забота, черт возьми, забота!
Та самая, какая мужика
С рассветом выгоняла за ворота
И за полночь толкала под бока.

Ну а еще — нужда, сестра родная,
Заботушки мужицкой. Испокон,
Детей рожая, стройку затевая,
Нужду-злодейку в чем-то ведал он.

То в хлебе — ну-ка, семеро по лавкам!
То в сене — без скотины-то куда?!
Отколосится рожь, поспеет травка —
Всем праздник, а крестьянину — страда!

От скошенной травы, как от ребенка,
Он ни на шаг... Начнет Илья пророк
Ворочать громы — он траву в копенки,
Ударит солнце — он ее в стожок.

Перехитрит любую непогоду,
Набьет сухим сенцом и сеновал...
Оставить скот без корма в зиму? Сроду
Позора он такого не знавал!

А почему? Заботою заряжен
Он был, мужик, в отличие от нас.
В страду — скажу опять — и часом даже
Он дорожил! Не так, как мы сейчас...

А техника была! Коса да вилы,
Да грабли, да носилки, да топор...
Согласен, он не мало тратил силы,
Мужик... Да не об этом разговор.

О том, что — повторюсь-таки — забота
Его по жизни, темного, вела,
Не позволяла плохо сделать что-то,
От лишней рюмки даже берегла.

И выпил бы порой, но завтра сеять,
А вешний день, он помнил, кормит год...
Вот говорят: пила тогда Расея.
Пила. Но разве так, как нынче пьет?!

Ну, а с чего? С того, что много денег
У мужиков, как не было вовек?
Брехня! Заботы нет у них о деле!
А без заботы... Слаб он, человек!

Заботы нет и, значит, интереса,
Что согревает душу, тоже нет...
Такая вот у нас дурная пьеса
Играется, таков у ней сюжет.

Хлеб, например, по этому сюжету
Нам город шлет, и даже кренделя.
Зайди в сельмаг, одну иль две монеты
Подай — и нет проблем, и тру-ля-ля!

Пускай хоть век от засухи ли, града
Не вызреет в полях ни колоска,
Не дрогнем мы: не вызрело — не надо,
Беда, как говорят, не велика.

Нас «буржуин» пшеницею и рожью
Снабдит, и кукурузы нам продаст.

За золото продаст! Но сколько ж можно,
Скажи мне, проедать и нефть и газ?!

Вложить бы эти денежки в землицу
Да всколыхнуть бы как-нибудь людей, —
Уверен, ни картошку, ни пшеницу
Возить бы не пришлось из-за морей.

Ведь это ж стыд какой — картошка с Кубы!
А между тем за семьдесят-то лет
Наука на картошке съела зубы —
Науки — короб, а картошки — нет...

Куда науку ту? Да на помойку!
И кое-что еще... И потому
На сто процентов я за перестройку!
Притом, всех этажей в родном дому.

За то, чтобы рассеялись потемки,
В которых мы блуждаем по селу...
И может, хоть за это от потомков,
Мы, блукари, заслужим похвалу!

Глава X. ...А В ГОРОДАХ

Из дневника

...И мне случалось в городах
Не раз торчать в очередях.
Не сумки — чаще рюкзаки,
Для турпоходов сшитые,
Запомнились... и кошельки,
Как никогда, набитые...
Ну и, конечно, разговор...
Порой, почти дискуссия:

«Гостила раз в деревне Бор
У бабушки Маруси я.
Живет одна во всем дому,
Одолевая нёмочи...
Чуть что: «Работать-то кому?!
Одни, гляди-ко, неучи
Остались... Тех, что поумней,
Не вижу что-то дома я».
Три сына было и у ней,
Троих взрастила, вдовая.
И ни о д и н крестьянский род
(Крестьянский!), кроме дочери,
Не захотел продолжить, вот...

А мы пеняем: очереди!»
«Ну да, — откликнулся рюкзак, —
Обычная история.
И, в общем, так все это, т а к...
И все ж н е т а к, поспорю я!
Есть и в деревне мужики
Пока еще достойные.
Перемогли, крепясь, деньки
Проклятые, застойные.
И так придвинулись к делам,
Не соблазнившись городом,
И так взялись, скажу я вам,
Что просто любо-дорого!
Им без обмана бы расчет
Да технику по выбору —
Страна, пожалуй, через год
Почувствовала б выгоду».

...Вновь оглядев сегодня двор
И все пристройки прочие,
Я вдруг вот этот разговор
Припомнил, эту очередь...

Глава XI. ОБИДА

В наши дни деревенский народ,
Извините, не «стадо баранов».
В каждом доме динамик орет,
В каждом *телек* мелькает экраном.

И поэтому — что ни мужик
В наши славные дни — то политик:
С упоением чешет язык
Каждый, будучи в курсе событий.

Ну, а мой Горячов — просто клад!
Я порою завидую другу...
Вот, к примеру, неделю назад
Он такую мне выдал речугу.

— Слышал ты или нет, Валентин, —
В дом ввалившись, я выпалил
с ходу, —
Как вчера академик один
Сделал выговор строгий народу?
Дескать, всё мы кого-то клянем,
Упрекаем... А ежели честно:

Как работаем — так и живем...
А работаем плохо, известно.
Это ж, друг, про тебя,
в том числе...

— Про меня... — согласился сквозь
зубы. —
Не живал он, видать, на селе
Академик... А надо ему бы...

И родители, видно, и дед
У него не из нашей родовы.
Не унизил иначе бы, нет
Он селян оскорбленьем подобным...

«Как работаем...» Ну, голова!
И ведь кто-то, наверно, поверит...

Ну, а ежели эти слова
К академикам взять да примерить?!
Т а к на т а к чтобы... Не для суда,
Разумеется, не для отчета...

Чернобыльская, скажем, беда —
Это ч ь я, извините, р а б о т а?
Кто — ответит пускай на вопрос
Академик, пускай он ответит! —
Кто удар по бюджету нанес,
Ставший «черной дырою»
в бюджете?
Сколько ж надо народу, спеша,
Надсажаться под тяжкою ношей,
Чтоб з а д е л а т ь «дыру»,
ни гроша
Не прибавив для жизни
«хорошей»?!

Кем — поспорить не побоюсь —
Чьей наукой опять,
чьим стараньем
Предана́ деревянная Русь,
В смысле, брошена на вымиранье?!

Кто опять же нацелил страну,
На войне истощившую силы,
В Казахстан, поднимать целину,
В час, когда издыхала Россия?

Кто, изгнавши траву и овес
Из «системы»,
с ученою миной
Вновь удар по колхозам нанес
Кукурузно-тяжелой дубиной?!

Кто — спрошу я ученую рать —
Кто оплатит колхозам затраты
За продукты, которые жрать
Невозможно,
поскольку — нитраты?!

Кто, блюдя только свой интерес,
На чины и на звания падкий,
Целых семьдесят лет, как прогресс,
Обосновывал труд из-под палки?

Оскорбляя притом мужика:
Частнособственник, дескать,
от века...
И сдирали, как шкуру с быка,
Целых семь с одного человека.

Ну, а он до мозолей сплошных
Продолжал отшлифовывать руки...
Потому у вралей записных
Все сходилось, все шло «по науке».
Цены даже снижались, пока
Терпеливец ломил,
о б е с к о ж е н...

Но свершилось: в мошне мужика
Завелась чудо-денежка тоже!
И пошел он по градам страны
Штурмовать магазинные кассы,
Закупая — на выбор — штаны
И без выбора вовсе — колбасы.

Села в лужу «наука» опять,
Убежденья держась до упора,
Что село будет лишь
д о б ы в а т ь,
Ну, а есть в аппетит будет город.

Верно, так и велось до поры.
И мотались с котомками бабы
В города, оставляя дворы,
Чтоб разжиться буханкой хотя бы...

Это как на ладони сейчас:
«Теоретикам» многим крестьянин
С революции самой, как класс,
Чуждым был, как ино́-плане-тянин.
Им признаться бы в этом —
так нет!
Ищут, воду мутя, виноватых,
Митингуют, орут на весь свет,
Записавшись теперь в «демократы».
В предводители, хлеб мой жуя,
Рвутся, чуя слабинку момента...

«Демократы»! А я?.. кто же я?
Кролик снова для эксперимента?!
И брести мне своей бороздой,
Прибавляя им хлеба и мяса,
Горделиво бряцая уздой
Диктатуры рабочего класса?

Нет, что было — тому уж не быть!
Все болят одинаково раны...
Потому я хочу говорить
С гегемоном сегодня на равных!

А иначе — какой же «союз»
Между мною и им, гегемоном,
Коль один указует на груз,
А другой поднимает со стоном?!

Бьется, так сказать, о стену лбом,
Лженауке доверившись... дуре!
А его еще нагло рабом
Величают, рабом по натуре.

Нет, он не был им, русский мужик!
Через реки ступая и горы,
Вон какую державу воздвиг,
Вон какие засеял просторы!

«Как работаем!..» Чушь он изрек
Академик... Ему бы — на землю...
Этот выговор, этот упрек
Лично я и на дух не приемлю!

Глава XII. ОТЪЕЗД

Я с грустью уезжал от Валентина,
Хотя, казалось, вдоволь погостил...

...Запомнилась печальная картина,
Представшая глазам моим в пути.

В негромкой деревушке,
возле школы,
Где липы да поваленный забор,
Угрюмые, под небом невеселым,
Два мужичонка, лежа, жгли
костер.
От скуки, знать, они играли
в карты
(Коров им нынче выпало пасти).
Пылал костер. В костре горели...
парты!
Горели парты, новые почти.

Я онемел. Потом: «Зачем вы...
это?..» —
Спросил, смутив вопросом
мужиков.
«А для сугреву!» — было мне
ответом. —
А окромя — и надобности нету
В них... потому как нет учеников.
Один, на всю деревню, ребятенок
(Взяла девица на́ душу грешок)...
Один! И тот недавно из пеленок.
Ему пока не парта, а горшок
Нужней...» —
Мужик в карман не лез за словом.

«Все так... Но чтобы парты —
и в костер! —
Не скрыл я удивленья. — Это —
ново...
Такого не слыхал я до сих пор».
«А ты слыхал, чтоб церковку,
к примеру,
Взрывали — не сказать,
чтоб сгоряча, —
Из-за того лишь,
что на свиноферму
Колхозу не хватило кирпича?
Чтобы ее иконы — слышь, иконы! —
«Безбожники» кололи на дрова?
Притом, с благословения закона...
Да, да!.. А ты о партах, голова!

Папаши наши, прорываясь к свету
Из тьмы, как призывал
«родной отец»,
Жгли образа... А мы сожгли
патреты!
И вот взялись за парты,
наконец... —

Он встал. — А что прикажете
нам делать?
Что?.. Подскажите вы,
говоруны,
Когда Россия эдак опустела,
Причем совсем не только
от войны?..»

* * *

...Уж год прошел, как я от
Валентина.
Но до сих пор живет еще во мне
Исполненная горечи картина:
Костер... и парты школьные
в огне...

И в сердце, как вонзившиеся
стрелы,
Болят, не оцененные сперва,
Тревожные — «Россия опустела», —
По главной сути верные слова...

ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ

(Вместо эпилога)

...Мой друг, одно я понял до конца,
В Березовке живя с тобою рядом:
Есть мудрецы при званьях и наградах —
Народ мудрей любого мудреца!
И вот, чтоб в словесах не утопить
Суть дела, относящегося к теме,
Решил я: ты, мой друг, в моей поэме,
Ты в полный голос должен говорить!
Хотя бы потому, что мужиков,
Где «мудрецы» витийствуют, немного.
И лично мне наскучило, ей-богу,
Велеречивых слушать Собчаков...
Трибунный бой, дарованный судьбой,
Они на жажде власти замесили
И флаг «демократической России»
Подняли самозванно над собой.
«К нам, к нам!» И с толку сбитая толпа
Прет с площадей и улиц в их ворота...
Но есть еще
Россия патриотов,
И Молота Россия, и Серпа!
Она немногословна — это раз;
Зато — и это два — мильонноглаза!
И крепкое словцо в урочный час
Она еще — я верю в это — скажет!

1987—июнь 1990 г.

ПРОЗА

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ИСКУШЕНИЕ

РОМАН

Глава четырнадцатая

Стояло звонкое сентябрьское утро. В продутой ветрами голубизне таял над городом бледным перышком ослабший месяц.

Эта солнечная, ясная звонкость в воздухе властвовала и во всей Москве — на ее улицах, на перекрестках, на пустынном бульваре, против которого он вылез из такси, не доезжая до Старой площади. Оставалось в запасе пятнадцать минут, и он пошел по непрерывно шелестящей аллее, по бегущей навстречу коричневой поземке к переходу на другую сторону, к блещущим стеклами подъездам ЦК. Северный ветер с шумом гнул полунагие липы, сорванные листья вздымались над бульваром, летели, заслоняя оловянное солнце, в сторону Политехнического музея, густо усыпали сухие тротуары.

В просторном вестибюле, тихом и светлом, а потом в беззвучно скользящем вверх лифте Дроздов еще чувствовал на лице удары ветра, металлический запах листьев, лицо в тепле немного горело, и тревожное ощущение не исчезало.

Битвин бодро вышел из-за стола своего большого кабинета, энергичный, бритоголовый, его белое волевое лицо широко улыбалось, он долго тряс руку Дроздова очень сильной в пожатии рукой, говоря свежим голосом:

— Чрезвычайно рад вашему приходу, Игорь Мстиславович. Я отниму у вас некоторое время. Чаю? Кофе? Я убежден, вы пьете чай. Верно ведь? Искра Борисовна, будьте добры, чаю! — попросил он, приоткрыв дверь в приемную, и под локоть проводил Дроздова к длинному столу, предназначенному для совещаний, сел напротив, пододвинул пепельницу. — Я не курю, но мне не мешает. Наоборот. Да, интересно, Игорь Мстиславович! Весьма любопытно! — продолжал он, вспоминающе откидывая голову, и громко захохотал.— Конечно, Тарутин у вас большой оригинал и, я бы сказал, якобинец и жирондист своего рода! Ему не хватает гильотины. Экстремист, но неглуп, неглуп!.. Хотя, как говорят, увлекается зеленым змием. Это так? А добрейший наш Чернышов был в полуобморочном состоянии. Бедняга! Жестокие меморандумы его просто убивали наповал! Какое у вас впечатление от вчерашнего скандальчика? Нелепо и скорбно! Верно ведь? А?

Сюда, в кабинет Битвина, весь озаренный сентябрьским солнцем, отраженным в стеклах шкафов, за которыми разноцветно теплились корешки книг, не доходило ни звука с московских улиц, мягкими волнами подымался от конвекторов нагретый воздух, а за окнами выделялось в выветренном небе толпообразное скопление кремлевских глав, недалекий купол Ивана Великого горел с одного бока нежарким огнем — все было надежным, прочным вместе с сочным смехом Битвина: «Верно ведь? А?» В то же время ощущалось что-то нетвердое в нелетнем, уже косом освещении кабинета, что-то нащупывающее в этом веселом добродушии вопроса о вчерашнем «скандальчике» у Чернышова.

— Это должно было произойти. Рано или поздно, — сказал Дроздов, разминая сигарету над пепельницей. — И не потому, что Тарутин экстремист, жирондист и якобинец. Гильотина — не его оружие. Относительно змия — тоже сильное преувеличение.

— Возможно, возможно.

— Не знаю, многие ли из нас могут плыть сейчас против потока хаоса в экологии. Большинство плывет по течению. Тарутин прав. Наше варварство не принесет земле благоденствие. Катастрофа наступит.

— Мда-а, — протянул Битвин и махнул ладонью по зеркально полированному столу, точно пылинки стирал. — Ваша истина, Игорь Мстиславович, слишком печальна.

Без стука открылась дверь, неслышно вплыла в кабинет полная женщина в опрятной белой наколке, неслышно поздоровалась одними губами, неслышно расставила на чистейших салфетках стаканы с чаем, сушки, вазочку с кубиками сахара и так же бесшумно вышла, сопровождаемая кивком Битвина.

— Печальная истина, горькая истина, — продолжал Битвин, ловко захватывая щипчиками кубик сахара и с дружеской бесцеремонностью опуская его в стакан Дроздова. — Вам один? Два? Слишком прискорбная, слишком, — повторил он, положив сахар в свой стакан, и со звоном закрутил ложечкой. — Не правда ли, слишком, Игорь Мстиславович?

Он громко отхлебнул, скосил на Дроздова густые брови лешего, своей лохматостью, разительной чернотой словно бы не соответствующие его крепкой гладкой голове.

— Не находите в этом сверхмаксимализма? А то мы все мастаки перехватывать.

— Нет, не нахожу. В экологии почти все невесело.

— Разумеется, так, — озадаченно крякнул Битвин. — Но печальные истины тревожат. И знать их не всегда хотят.

— Кто не хочет, Сергей Сергеевич?

— А вот это уже вопрос за гранью! — Битвин опять захохотал, смягчая этим уход от ответа, затем взял из вазы сушку, с удовольствием разгрыз ее сильными зубами, с таким же удовольствием запил ее чаем, придерживая в стакане ложку между указательным и средним пальцем. — Ах, Игорь Мстиславович, — заговорил он расположенным к обоюдной доверительности голосом. — Ведь мы с вами о многом одинаково думаем и, надо полагать, понимаем друг друга. Если в наше время что-то категорически не разрешено, то еще не значит, что оно категорически запрещено. И в этом нет прибежища для ума и добродетели. Наша с вами жизнь — это борьба с неотвратимостью.

Окончание Начало в № 1 за 1991 год.

— Борьба с неотвратимостью? Какой?

— С неотвратимостью смерти. И моей, и вашей. И всего народа нашего. И всего рода человеческого. Аксиома. Мы живем накануне мировых катаклизмов... Как говорится, перед Судным днем. Перед последним...

— Если я правильно понял... — проговорил Дроздов, улавливая по тону Битвина, что он в доверительной откровенности перешел или хотел перейти запретную в его положении черту, быть может, рискованную. — Значит, Сергей Сергеевич, — договорил он, решаясь на ответную откровенность, — значит, официальная правда и официальная ложь — синонимы? Значит, они стоят друг друга?

Битвин сцепил на столе руки, втиснул короткие пальцы меж пальцев, в упор глядя из-под лохматых бровей на Дроздова мудрым взором прошедшего через все хитроумные изыски человека.

— Кто знает, Игорь Мстиславович, что есть изнанка вечности на земле? — заговорил он размеренно. — Не запрограммированное ли разрушение? Весьма сомневаюсь, что можно изменить человеческую природу, коли ее идеал — комфорт, тепло, свет, легкая... бездумная жизнь. Кайф в раю удовольствий. Верно ведь?

— Вы сказали — бездумная? Вы уверены в этом?

— Абсолютно. И — бесповоротно. — Битвин сцепленные в двойной кулак пальцы придавил к столу. — Мы никак не можем поверить в то, во что надо давненько поверить. Правда — жестокая вещь! Мало кто думает, что будет завтра. Технократы кричат экологам: «Не пугайте нас и не внушайте людям, что без красоты земной шар круглая пустыня, трупное гниение. На наш век хватит!» А уж отечественный обыватель родимый относится к природе как к месту воскресного безделья. Как к месту для выпивки на загородном воздухе. А кормилица наша чахнет, из труженицы превращается во вдову-дачницу. Верно ведь? Во всех нас сидит проклятый гедонизм — тяга к развлечению, желание понежить свои телеса в хороших костюмах, мягких креслах, теплых домах. Поэтому — рыцари практицизма богаты миллиардами и мощны необыкновенно! Ибо — обещают прогресс, удобства и изобилие, как за океаном... Процветания нет, но им верят. В этом весь нонсенс и трагизм. А другой выход — где? Так или иначе — накормить и обогреть надо...

И Битвин снова опустил туго сцепленные пальцы с чистоплотными ногтями на край стола, точно на отшлифованную наковальню, и продолжал своим веским голосом, кругло слова отпечатывая:

— При всем том все наши гидростроительства потеряли душу. Прошу быть снисходительным к невежливым определениям, здесь я уже не чиновник, а ученый. Как только мы окончательно предадим и продадим землю, весь прогресс завоняет гнилью. Как гигантский мусорный ящик! Радужного впереди мало... Может, его вовсе нет.

Он сердито расцепил пальцы, с требовательным гостеприимством спросил:

— Почему чай не пьете? Сидите всезнающей невестой и слушаете меня с недоверчивым видом.

— Разрешите я закурю.

Дроздов, внимательно-сдержанный, не притрагиваясь к чаю, все разминал сигарету над пепельницей и, слушая Битвина, догадываясь о причинах его откровенности, всегда обезоруживающей, думал в эти минуты о том, что «якобинец» Тарутин, не колеблясь, подписался бы под всей этой безвыходной исповедью доктора технических наук Битвина. Но, полный жизненной энергии, умеющий принимать административные решения, Сергей Сергеевич, в течение десяти лет занимая свою высокую должность, с данным ему влиянием почему-то не вступал ни в один серьезный конфликт ни с Академией, ни с «Гидроцентром», ни с Государственной экспертной комиссией, через которую проходили все проекты, заряженные запрограммированной разрушительной силой.

— Я не согласен с вами, — сказал Дроздов, закуривая. — Суть дела не в проклятых гедонистах. Для этого, Сергей Сергеевич, у нас нет возможностей и средств. Просто мы оказались в сетях ложных проектов и мифических планов.

— Не все! — протестующе рассек воздух ребром ладони Битвин. — Позвольте мне тоже не согласиться! Вас лично, Игорь Мстиславович, я не осмелился бы упрекнуть в неверности науке. Есть разница между истинным и достоверным. Я не скажу, что вы были со знаменем на баррикадах в борьбе против ведомств. Но в институте вы занимали сдерживающую позицию. Отлично понимаю, что вы не часто оказывались рядом с покойным Григорьевым и его учеником Чернышовым. Должен сказать, слабости того и другого я знаю. Знаю досконально! Академик Григорьев, весьма понятно, жил за счет традиции своего большого авторитета и за счет дворянской, так сказать, интеллигентности. Чернышов — за счет чего или кого намерен жить? — Битвин облокотился на стол, навесил над столом бритую голову, погружаясь в состояние сожалеющего размышления. — Милый, сентиментальный, безвольный человек, ученик, так сказать, Христа и добра, — продолжал он. — Но хоть убейте — не представляю его во главе института! Заместитель — да, но... Вы можете вообразить Георгия Евгеньевича директором вашего головного института, от которого многое и многое зависит?

— Могу. И реально, — сказал Дроздов с некоторым напряжением. — Евгений Георгиевич хорошо воспитан, уступчив, покладист. С таким легче жить, Сергей Сергеевич.

— Иронизируете, Игорь Мстиславович, — и Битвин обаятельно поблестел молодыми зубами и вновь заговорил с видом неподдельной серьезности: — В конце концов, простите за прямоту: меня мало интересует характер Чернышова. Интересуете меня вы, Игорь Мстиславович. Как, должно быть, вы догадываетесь. Но-о... ничего я в данную минуту от вас не требую. Ни «да», ни «нет». Подумайте дня два-три... И позвоните...

Битвин не досказал, о чем следует позвонить, но покрутил пальцем в воздухе, будто набирая номер телефона; синевато-стальные глаза его, высвеченные сейчас солнцем из окна, были непогрешимо ясны, только в середине их неподвижными дробинками чернели зрачки и чем-то портили чистоту острого взгляда.

— О чем я должен подумать? — спросил Дроздов, уже сознавая, что вот в этом, недосказанном, самое главное, что может сделать его жизнь особо зависимой, но в следующую секунду нечто темное, вязкое, как всасывающая воронка, повернуло его от первого ответа, и он в мучительной раздвоенности, неизменно гибельной в конце концов, сказал вполголоса: — Вы не договорили, Сергей Сергеевич, о чем я должен подумать...

— Верю, что вы поймете меня так, как надо, — стремительно заговорил Битвин. — Целесообразно со всех точек зрения, если бы вы позволили мне рекомендовать вас на место Григорьева. В данном случае это даже не ваше личное дело. Общее. Мы не в силах наложить на проекты вето. Бесповоротный запрет. Но Институт экологических проблем может вмешательством точных научных обоснований и предупреждений задержать, хотя бы оттянуть реализацию прожектерских проектов. Насколько я знаю, у вас есть благоразумие и нет раздражающего экстремизма.

Битвин быстро встал, и следом с облегчением поднялся Дроздов и, опережая улыбку Сергея Сергеевича, завершающую встречу, положил вынутую из портфеля желтую папку на стол. Сказал:

— Это заключения по Чилимской ГЭС. Материалы некий срок лежали у Григорьева. Подозреваю, что их знают в Академии. Хорошо было бы, чтобы эти заключения были известны и на самом верху. К сожалению, проектанты вводят правительство в заблуждение.

— Именно, — подтвердил четким голосом Битвин и зорко глянул на корешок папки. — Прочитаю. А вы подумайте... — Его пытливые, стального цвета глаза опять стали простодушно ясными. — О нашем с вами сегодняшнем разговоре.

При его малом росте у него была чрезвычайно сильная рука, сверх меры порывисто и плотно, как тисками, охватившая на прощание руку Дроздова, и, уже выйдя от Битвина в безлюдный коридор, пахнущий синтетикой, и опускаясь на первый этаж в бесшумном лифте, он ощущал это неумеренное заковывающее рукопожатие.

«Он хотел, по-видимому, произвести впечатление человека мужественного и простого нрава. Но глаза... как меняются глаза. Какие у него отношения с Козиным? — пытался в лифте осознать Дроздов, что произошло и что может произойти вскоре, когда он скажет «да» и переступит границу своей относительной независимости. — У меня такое чувство, что я в каком-то всасывающем заговоре вместе с Тарутиным, а сейчас с Битвиным, людьми, совершенно исключающими друг друга. Так заговор против кого? Против мощнейших министерств? Академии наук? Заговор трех против целой узаконенной машины?..»

Еще в неясности предположений после встречи с заведующим отделом науки, Дроздов почувствовал, как лифт в мягкой плавности остановился на первом этаже и обеззвученно разъехались двери. Он вышел в вестибюль, наискось разлинованный солнечными полосами осеннего дня, и здесь, в коридоре, с неким даже мистическим ошеломлением («телепатия, телепатия!») увидел академика Козина, о котором косвенно подумал в лифте. Филимон Ильич, безукоризненно прямой (ни намека в рослой фигуре на сутулость возраста), в длинном пиджаке, шел к площадке лифтов, по-молодому озорно помахивая «дипломатом», сверкающим никелированными замочками, ухоженная бородка, подобно запятой, чуть задрана кверху, в узких меж красноватых век глазах, по обыкновению, отражался неколебимый успех, неприкасаемость признанного патриарха науки. И Дроздов, вспомнив его злобно перекошенное лицо на вечере у Чернышова, решил про себя: «В старике какая-то самонадеянность дьявола».

При виде Дроздова академик приветственно расставил руки, утверждая этим жестом символические объятия, открытые для собрата по науке, его трескучий голос загремел на весь коридор:

— Ба, знакомые всё лица! («Черт возьми, он, оказывается, знаток Грибоедова!») Откуда вы? Ах, да, да, да! Дверь со знакомой табличкой! Весьма рад! Кстати, Игорь Мстиславович! Со всей большевистской прямотой хочу вам сказать о вашем сотруднике... Как его? Невзначай запамятовал. Несуразная, какая-то чудаковатая фамилия! Ах, да, вспомнил — Тарутин! Так вот! — И черные, молодецки заигравшие глаза Козина полыхнули колючей молнией. — Не сомневаюсь: дай ему автомат в руки — и он расстрелял бы все человечество! И вас, и меня в том числе! Вот кто он-с! Такие субъекты, как этот... ваш сотрудник, ведут науку к междоусобной вражде, к гражданской войне... к ненависти между своими... к фашизму, если уж хотите, Игорь Мстиславович! Вот кто он-с, Тарутин ваш! Таким опасным особям не в науке место!..

— Не порите чепуху, Филимон Ильич! — не выдержал Дроздов эту еще не остывшую мстительность Козина. — Не знаю, ловко ли вам в вашем почтенном возрасте говорить глупистику и нелепицу! Неужели ваше чувство имеет отношение к науке?

Потом на улице среди текущих под ногами листьев он вдохнул северную железистую остроту ветра и выругал себя за непреодоленную вспыльчивость, которую в последние годы сознательно приручал «иронией к бытию», но не всякий раз достигал удачи.

Глава пятнадцатая

За полчаса до обеденного перерыва Тарутин позвонил Дроздову и попросил его выйти на бульвар напротив института, так как необходимо двумя фразами перекинуться да заодно подышать свежим воздухом, тем более что денек погожий, а в стекле и бетоне родного учреждения задохнуться можно.

Дроздов, с недавних пор устраивая себе голодные дни, выпил в столовой два стакана кефира, заел антоновкой, безрадостно наслаждаясь ее крепостью, кислотой, треском под зубами, и в некоторой озадаченности вышел на прохладный воздух бульвара, из конца в конец оранжевый, солнечный.

Везде царствовала осень, сухой холодок, низкое солнце, загороженное липами, и везде навалы опавшей листвы на дорожках. День был тихий, прозрачный, обогретый последним теплом; над газонами летела в воздухе паутина. Нежный голубиный пух зацепился за увядающую траву и, невесомый, колыхался, светясь на солнце, как забытый июньский одуванчик.

С неопределенным беспокойством, со смутным чувством неслучайного и неизбежного, Дроздов обратил внимание на этот пух-одуванчик в обманчиво-зеленой траве, бессмысленный под нежарким туманным солнцем, и неизвестно почему снова вспомнил задыхающийся Митин голос по телефону и нахмурился от внезапной мысли, что вся его жизнь, кажущаяся внешне похожей на безбедную в общем-то жизнь других своих коллег со многими плюсами и минусами, на две трети состояла и состоит из бессилия и борьбы с собой, и, вероятно, ему самому можно было бы о себе сказать с насмешкой: «несчастный счастливец».

В конце аллеи сидели на скамье Тарутин и Улыбышев, с легкодумным видом бездельников вытянув ноги к ворохам листьев, словно бы для загара подставляя лица тепловатым лучам. И Улыбышев, уже простив своему кумиру недавнюю обиду, как готов был простить все, говорил возбужденным голосом:

— А знаете, Николай Михайлович, в Австралии обитает интереснейшая черепаха, слышали? Старуха способна существовать только в двух измерениях. Стоит поднять ее от земли, подержать в воздухе, и она умирает. Дуреха не выдерживает высоты. Здорово? Интересно все-таки?

— Чересчур, Яшенька. Не черепаха — Ахиллес, — задумчиво отозвался Тарутин, с закрытыми глазами нежась на солнце. — Похоже на всех нас, прости господи.

— Прощения уже нет никому, даже после раскаяния, — подходя к скамье, сказал шутливо Дроздов. — Слишком нагрешили.

Тарутин открыл глаза, внимательные, чуткие, с незнакомым оттенком летней зелени, как будто никогда не было в них выражения мрачной дерзости человека, презирающего ничтожество ближних своих, а всегда сквозила бесхитростная чистота веселого решения.

— Игорь, сядь на два слова, погреемся на московском солнце, — проговорил он и сбросил бугорок листьев с края скамьи. — В институте вокруг меня или пустота, как вокруг прокаженного, или дальние круговороты с шепотом. А это меня веселит. Но каждому смертному нужно хотя бы полчаса одиночества для того, чтобы что-либо осознать. Поэтому — это рандеву на бульваре.

— Одиночества не вижу, — сказал Дроздов.

— Яшенька сегодня не в счет, — успокоил Тарутин.
Улыбышев, пунцовея, выговорил заискивающим шепотом:
— Мне уйти, Игорь Мстиславович?
— Сиди, юнец, коли связаны мы с тобой веревочкой.
И Тарутин щелчком сбил жухлый лист, спланировавший ему на грудь. Его невозмутимо-спокойное лицо со светлой челкой на лбу показалось сейчас Дроздову молодым, свежим, как если бы он хорошо выспался, отдохнул и пребывал теперь в хорошем расположении духа,
— Что осознать, Николай? — спросил Дроздов и, поддаваясь теплу и тревожному холодку бульвара, опустился на скамью, тоже вытянул ноги, погружая их в шуршащую глубину наметенного сюда желтого сугроба. — Какой необыкновенный день, а? — сказал он, вдыхая тленный запах листьев, на секунду зло досадуя на все раздражающее, фальшивое, что происходило за последние дни. — Что мы можем с тобой осознать, Николай, в такой божественный день, кроме того, что все мы живем не так, как надо. Яша прав. В двух измерениях.
— И задыхаемся, как только на сантиметр оторвем ноги от земли, — договорил Тарутин добродушно. — Но черепахи тоже, знаешь ли, хочут жить.
— Ха-ха! — сказал Улыбышев не без осторожного ехидства. — Оба вы похожи на черепах, как две капли воды.
— Отрок науки, ша! Не умничай, — сказал Тарутин с тем же добродушием и развалился на скамье, прищуриваясь в солнечную благодать неба. — Да, денек шикарный... Вот что я хотел сказать тебе, Игорь. Я уеду недели на две.
— Куда?
— На Чилим. Как член экспертной комиссии. От института. Пощупаю, что там сейчас. Что за похабщина там творится. И поговорю с местным начальством, которому монополии уже дают подачку в четыреста миллионов, чтобы получить согласование проекта. Миллионы якобы предназначены для строительного развития чилимского региона, но это капля в море. А объегоренные местные власти из-за своего нищенства пойдут на согласование и продадут край на разрушение. Хочу побывать. Чернышов не против поездки. Наоборот — высказал полное одобрение. Командировку подписал и сказал: «Думаю, Дроздов тоже будет не против». Видишь, какая идиллия наступила! А мне в Москве уже — вот так! — Тарутин провел по горлу. — Мечтаю побродить по тайге, пощелкать кедровых орешков, сходить на глухаря или на амикана-дедушку, если берлога попадется. Как только понаедет строительная бригада, сметут все подряд. Кстати, есть тайные сообщения: поселок для гидростроителей там нелегально уже сооружают. И валят лес на трассе зверски. И прибывает техника с Саяно-Шушенской. Проект не утвержден, а мафия уже действует. Со мной напрашивается Яша. По своей геологической линии. Какие на этот счет у тебя будут соображения?
В голосе Тарутина сквозила легкая ирония, лицо было по-прежнему добродушно, оживленно, точно наступило освобождение или он заставил себя освободиться от всего, что мешало простоте во взаимоотношениях с жизнью, и это новое, вроде еще вчера непредвиденное в нем, озадачило Дроздова. Он спросил:
— Когда едешь?
— Самолет завтра. В одиннадцать часов вечера. Как у тебя? Когда дашь ответ Битвину? Решил? Решаешь? Я хотел бы, чтобы глагол был в прошедшем времени. Хотел бы, Игорь. Для общего дела. Все сроки против тебя.
— Я тугодум, Николай. Общее дело... Повторяешь слова Битвина.
— Не настолько близко с ним знаком.
— Ваше назначение, Игорь Мстиславович, ждут в институте, вас встретят аплодисментами! — вставил восторженно Улыбышев, и от

восторга короткий носик его стал еще более вздернутым. — Вас уважают, потому что вы вне подлых групп, вы себя ничем не запятнали!
— Поэтому-то аплодисменты будут жиденькими, Яша, — поправил Дроздов. — Далеко не все хотят моего назначения. Сейчас говорят, что новая группа уже есть. Создалась. Тарутин, Валерия Павловна и я. Слыхал, Николай? Слухи носятся по коридорам. Группа захвата власти. Заговор тиранов. Социал-предателей науки. Ни меньше ни больше.
— Ладно. Захват власти у бездарей меня не пугает. Но, но... Почему Валерия? — задумался на мгновенье Тарутин. — А! Вероятно, потому, что была с нами в Крыму. Тогда почему не зачислили в группу тиранов Нодара? Бедный наш Нодар в невероятной панике. Ходит бледный, как нимфа. Но тут ничего не попишешь. Миролюбивый Нодар хочет вселенской дружбы, его мечта влюбить лягушку в скорпиона. Ни хрена не выйдет!
Тарутин беззлобно засмеялся, ударил кулаком по колену. Все, казалось, было решено для него, проверено, взвешено, и от этого настроение сохранялось ровным, не свойственно ему веселым. А Улыбышев, умоляя ребячески пестрыми, подобно донной гальке, глазами (откуда у сугубо городского человека такой деревенский цвет глаз?) сказал робко:
— Я хотел бы поехать, Игорь Мстиславович... Я все-таки геолог... Я пригожусь... Я их всех терпеть не могу...
Тогда Дроздов сказал с целью придать разговору несерьезное направление:
— Вы, Яша, думаете, что у нас действительно создалась группа? Братство масонов в науке? Солидарность тиранов? Вы хотите, чтобы я как заместитель директора отпустил вас на Чилим?
— Я хочу.
— Отпускаю вместе с вашей прекрасной наивностью. Можете не спрашивать разрешения у Чернышова. Оформляйте командировку.
— Как вы смеетесь надо мной, Игорь Мстиславович! — проговорил Улыбышев со страстью обиженного интеллигентного мальчика. — Вы меня подозреваете, как и Николай Михайлович, я вам нужен как предмет для насмешек. Я не в двух измерениях! Я не черепаха. Да, я хочу быть в вашей группе, а вы не признаете молодых, вы нами пренебрегаете!
— Ну, стоп, стоп, стоп, отец, — остановил Тарутин, охлаждая Улыбышева поглаживанием по плечу. — Нацицеронил столько, что компьютер зубы поломает! Игорь Мстиславович здесь ни при чем! Он — вне групп. Группа — это я. Поэтому насчет тебя я подумаю. Для поездки на Чилим готовь заявление, все анализы, справку из домоуправления и прочая...
— Все зачем-то шутки и шутки!.. Для чего все время со мною шутки? — возмутился Улыбышев. — Я с вами хочу быть! Что я — неполноценный осел какой-нибудь?
— Кончатся шутки — начнутся полноценные слезы, — сказал вскользь Тарутин и ободряюще потрепал Улыбышева по заросшему затылку. — Ты парень семейный, молодожен. Тебе деньги в семью нести надо. Жену любишь и ребятенка, кажись, ожидаешь? Так? А я — бобыль, холостяк, старый морж, перекати-поле. Кому безопаснее размахивать кулаками? Тебе или мне? Мне, паря, мне. Разобьют витрину мне — дело одно. Встану. Тебе двинут по очкам — уже дело другое. Очки ноне дороги. Драма. Паря ты ничего, но раньше времени ни в какие группы, ни в какую драку не лезь. Это так, что ли, Игорь Мстиславович?
— Добавить нечего.
Улыбышев едко усомнился:
— И вы ничего не боитесь, Николай Михайлович?
— Ересь! — отмахнулся Тарутин. — У меня иногда волосы шевелятся на голове от страха.

— От страха? Как от страха?

— А ты думал от чего — от восторга? Прожитый день навсегда потерян — верно? — поэтому прошлое теряет значение. Так вот. От страха за твоего ребятенка, который родится в угробленном будущем.

— Не шутите, — угрюмо произнес Улыбышев. — Я знаю... У нас есть мафия. Не такая, конечно, как в Америке. Но есть...

— Запомни уж, Яша, кстати, безумную сказочку. Это самая могущественная мафия в мире. Американская «коза ностра» — невинное дитё. Патриархальщина, — выговорил Тарутин беспечным голосом, но в его прищуренных смеющихся глазах загорелся дерзкий огонек. — Только вместо автоматов у нашей мафии — бульдозеры, землечерпалки, подъемные краны, миллионы для обмана и подкупов... Цель мафии: вранье правительству, то есть — под знаменами обещаний блага устроить гибель земель, лесов, рек. И всеобщий голод в стране, а потом превратить ее в кучу дерьма, где зарыта жемчужина для чужих. До этого ты допер, Яша? Россия — сырьевая база Америки. Красиво, а?

— В самом деле, Николай, твои безумные шуточки не имеют предела, — сказал Дроздов, раздраженный ничем не прикрытой «сказочкой» Тарутина. — Не развращай страхами молодежь.

— Поедет со мной — услышит и не то, — отозвался Тарутин, не придавая значения словам Дроздова, и тут же с нарочитым легкомыслием проговорил: — Ну вот, в поле зрения еще одна групповщица, по партийной кличке «Валерия». И, кажется, направляется к нам. Сейчас надо быть рыцарями, хотя вставать неохота, — добавил он и лениво шевельнулся на скамье.

— В твоем дворянском воспитании крепко не уверен, — сказал Дроздов.

Валерия шла по аллее, похрустывая каблучками сапожек по листьям, приближалась к ним, высокая, в серой водолазке, в синей юбке, и Улыбышев, наверное, замечая сейчас поворот в настроении Тарутина, связанный, надо полагать, с той клоунско-рыцарской «туфельной историей» на вечере у Чернышова, теперь известной всему институту, сказал, хмыкая:

— Кристина Киллер. Идет как будто манекенщица.

— Молчать, несмышленыш! Что ты понимаешь в этом деле, геологический молоток? — зашипел Тарутин и, как показалось Дроздову, не без умысла первый встал навстречу Валерии, театрально произнес немного измененные свои слова, сказанные на вечере у Чернышова: — Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора... По струям падающих листьев мы могли бы забраться на небо. Не Тютчев, конечно, а мы с вами.

Валерия взглянула на него в томительной озадаченности.

— Опять пошлость, Николенька? Вы, как я помню, говорили: по струям шампанского. По струям листьев — хуже. И вообще — стоит ли повторяться?

— Шампанского сегодня нет. Есть осень. И бабье лето. А то, что я говорил вам в тот чудный вечер, наплевать и забыть.

«Что все-таки между ними? — подумал Дроздов. — Любовная игра? Неприязнь? Ясно одно: равнодушия друг к другу они не испытывают».

— Благодарю за фразу хорошего тона. Я забыла. — И, притворно ласковым взглядом отстраняя Тарутина, она взяла под руку Дроздова и повела его по аллее, негромко говоря: — Вот видите, вы нужны и мне. Вы сюда — я следом. Это как-то странно, пожалуй.

— На этом свете все странно наполовину.

— Я как раз о земном. Сегодня, представьте, почему-то позвонили мне от министра Веретенникова... Вы, конечно, знаете его немножко — Дмитрия Семеновича Веретенникова... Самого молодого из Совмина, сделавшего умопомрачительную карьеру. Хотите, чуточку его напомню? Внешностью не министр. Никакой солидности, никакого брюшка. Современный аккуратный образованный мальчик, с хорошей прической и с приятным голосом. Да дело не в этом, — Валерия пальцами надавила на локоть Дроздова. — Веретенников звонил сам и почему-то конфиденциально просил узнать у вас: смогли бы вы на субботу и воскресенье приехать в Кабаньево, в охотничий домик министерства, где можно отдохнуть, поохотиться, поудить рыбу и поговорить спокойно о бренной жизни. Передаю вам дословно. Почему Веретенников позвонил именно мне — представьте, теряюсь в глупых догадках. И злюсь на себя. Я ведь не ваша секретарша.

— Злитесь в связи с чем?

— Я обнаглела и сказала ему, что я отнюдь не передаточный пункт и надобно звонить непосредственно вам. Он ответил: умоляю, есть некоторое неудобство.

— Не ясно. Почему все же он позвонил вам?

— Малость догадываюсь, — пожала плечами Валерия. — С Веретенниковым мы вместе работали в Госплане. После института. Он даже настойчиво ухаживал за мной. Но по какой причине я должна быть передаточным пунктом — это загадочно, как сплетня. Вторая загадка — действительно интригующая. Веретенников передал, что с вами хочет встретиться и поговорить в охотничьем домике Никита Борисович Татарчук.

С шелестом текли вдоль аллеи листья под ногами. Она шла рядом, упруго двигаясь, ее юбка, раскачиваясь, задевала его случайным живым прикосновением, создавая терпкое ощущение невинной близости. И он почему-то вспомнил, как они на закате уплыли далеко за бакены в радужно темнеющее море, как ее длинные ноги ножницами скользили в воде... а потом оба, усталые, выходили из морского благолепия на предвечерний пляж, и здесь ее тонкое тело, сильное, гибкое, вообразилось тогда ему непорочным телом взрослой девочки, омытое прохладой воды, свежестью воздуха перед какой-то ночной тайной, к которой она должна была прийти, но не была готова.

— Татарчук? Тот самый? Странная фигура инкогнито. До сих пор не уточню, кто он, в конце концов?

— Кто он? Я слышала о нем в Госплане, что это — царь, бог, сатана и дух святой. Личность могущественная, невероятно таинственная. Работал послом в Африке, устроил там какой-то финансовый переворот. В Госплане совершил революцию. Заметил Веретенникова, через год сделали его министром. Вхож во все инстанции — от Академии до Совмина и Политбюро. Генеральный его боготворит и ловит его каждое слово. По слухам, нечто вроде негласного первого советника.

«Охотничий домик, рыбалка, и приглашение министра и желание разговора, исходящее от «негласного первого советника», и Валерия, как «передаточный пункт», — подумал Дроздов, еще не находя осознанной логической связи между собой, самым молодым министром и последними событиями, но в то же время тревожной ощупью начиная подозревать эту связь, кому-то нужную с неопределенной до конца и не понятной ему целью, вызывающей, однако, у него любопытство и неясную безотчетность возможного риска.

— Что ж, Валерия, приглашение министра кое-что значит! — сказал он с шутливым вызовом. — Если не возражаете, поедем в субботу вместе. Уж коли вы стали передаточным пунктом, то давайте вместе. Мне с вами будет интересней. Не так часто приходится общаться с сильными мира сего.

Она взмахнула бровями.

— И вас не пугает, что мы будем вместе? Не смущают институтские сплетни?

— А вас?

— Мне наплевать и позабыть, как говорит Тарутин.

Солнце сквозь ветви рдеющими пятнами лежало на холмах листьев, усыпавших аллею, а за деревьями, в подсолнечной стороне отливало в тени стеклами окон здание института со всеми его неразрешенными противоречиями, бессилием, заключениями, документами, пересудами, завистью, ненавистью, слухами, курением в тесных комнатах — гигантская «стекляшка» Научно-исследовательского института экологических проблем, куда ему надо было сейчас идти из этого листопадного дня, из этой утешительной прохлады, которой овеивало его вблизи Валерии даже там, в Крыму, в нестерпимо знойные часы на прокаленном пляже.

— Тогда поедем вдвоем, раз приглашение передавали через вас,— повторил Дроздов. — Так будет наверняка веселее.

— Вы старомодный оптимист, — сказала она, и он увидел блеск ее смеющихся глаз. — Вряд ли так будет веселее. Мне почему-то неспокойно. Но пусть — поедем. По дороге, кстати, можем заехать в церковь и обвенчаться для приличия. Мы это забыли сделать в Крыму. Хотя вряд ли это нам поможет.

— Почему же не поможет, Валерия?

— Не допускаете, что я ведьмочка на метле? Под венцом нам никогда хорошо не будет.

Глава шестнадцатая

Двухэтажный «охотничий домик» стоял на берегу озера, далеко синеющего до противоположного берега, где на песчаной возвышенности золотились под солнцем медовые стволы сосен, за ними грядами уходили в стеклянный туманец рязанские леса. С озера, из-за дальних заросших кугой островов, время от времени доносились бухающие выстрелы, раздробленным эхом катились по воде, стихали в лесах. Вблизи дома на асфальтовой площадке, перед воротами гаражей маслянисто сияли лаком протертые после дорожной пыли «Волги», но никого не было ни возле машин, ни около веранды дома, и Валерия сказала:

— Нам повезло! Ни одной души вокруг. Хорошо, чтобы никого и не было. Мы сами похозяйничали бы в золушкином дворце.

В это же время с крыльца веранды проворно сбежал аккуратно причесанный молодой человек, по-змеиному эластичная его талия, обтянутая спортивным пиджаком с металлическими пуговицами, заизгибалась, задвигалась подле машины, его смуглое красивое лицо выразило почтительную приятность. Весь в улыбке, он артистично открыл дверцу, выпуская Валерию, с радостно-благодарным замиранием приложился к ее руке, затем изящно порхнул к левой дверце «Жигулей», выпуская Дроздова, и порывисто охватил его руку, точно несказанно осчастливленный его приездом, представляясь журчащим речитативом:

— Дмитрий Семенович Веретенников, мы виделись только издали... Вы не представляете, какую радость ваш приезд доставил мне и доставит Никите Борисовичу. Вас ждали утром и весьма беспокоились. Потом все решили, что вы сегодня не приедете. Поэтому все на охоте. Неслыханная досада! Но я на страже, жду вас и полностью в вашем распоряжении, Игорь Мстиславович! Мы немедленно можем экипироваться в охотничьи доспехи и на катере двинуться в сторону Лазурного острова. Валерия... Валерия Павловна, вам с нами будет также интересно, уверяю и гарантирую. Бить утку влёт — зрелище волнующее... Извини великодушно, удобно ли мне будет называть тебя по имени и на «ты»?

— Удобно. Почему ты не сказал «зрелище волнительное», как говорят артисты нового МХАТа? — спросила Валерия, рассеянно оглядывая берег, деревянные мостки с перилами, сбоку которых дремали в тени у свай лодки и крытые катера.

— Театр? МХАТ? Это — страна обетованная! Я уже забыл, когда был в театре! Театр только снится, как в золотом тумане юности! — воскликнул Веретенников с душевным принятием необидного упрека. — Был последний раз, вероятно, лет пять назад! Отстал непотребно! Стыдно сказать, позор, срамотища заблудшего технократа среди миллиона чиновничьих проблем. В общем, личной жизни — никакой! Не поверишь — я начал читать американские детективы. Для расторможения. Торчишь в кабинете по двенадцать часов! Извините, пожалуйста, мы несколько лет работали в одном отделе с Валерией Павловной,— обратился он к Дроздову, прося глазами и голосом снисхождения за невольный отход от главного.— Предлагаю вот что. Мы сейчас зайдем в дом, и я покажу ваши комнаты. Не обессудьте, я пойду впереди вас. Вы какое оружие предпочитаете? — поинтересовался он, заходя вперед Дроздова.— «Тулку»? «Зауэр»? «Браунинг»? «Ястреб на стреле»? Увидите — какая прелесть здесь! Оружие подбирали по совету Никиты Борисовича. Он — великий знаток.

«Какие у него приглашающие, воспитанные, но не пропускающие в себя глаза. Блестяще дисциплинирован».

Они направились к крыльцу веранды, отсвечивающей стеклами меж облетевших деревьев. Аллея желтела до самого озера толстым покровом, ступени крыльца, засыпанные красной кленовью, похоже было, не подметались намеренно.

— Все есть? — удивился Дроздов.— Даже старый «ястреб»? Откуда он, Дмитрий Семенович?

— И «ястреб» есть, Игорь Мстиславович. Известно, что в Сибири вы были серьезным охотником и ходили «на берлог».

— Насколько я понимаю — на медведя, — сказала Валерия. — Час от часу не легче. Оказывается, вы еще — медвежатник?

— Зачислили не в тот чин. Медвежатник — это взломщик сейфов, — поправил Дроздов. — Что касается моих охотничьих походов в тайге, то они закончились после того, как я увидел плачущего лосенка.

— Плачущего лосенка? Как это может быть?

— Я убил лосиху, а когда подошел, рядом лежал лосенок. Весь в крови матери, смотрит на меня, а слезы каплями так и текут из глаз. Он плакал, как ребенок. Так что ночь потом я спал плохо.

— Невероятно! — воскликнул Веретенников, и глаза его испустили горечь сожаления. — Но ведь в тайге вы ходили на медведя, об этом известно! Вы ходили вместе с Николаем Михайловичем Тарутиным, а он — заядлый охотник. А медведь, амикан-дедушка — добыча серьезная!

— Не точная информация. Медведь — почти человек, — возразил Дроздов. — «На берлог» я не ходил потому, что не принимались мои условия.

— Какие, интересно?

— Первый, кто выстрелит в амику, заработает и мой жакан. Соглашался один Тарутин. Но его я слишком ценю. Поэтому не ходил.

— Что такое жакан? — весело рассердилась Валерия. — Я ничего не понимаю в вашем лексиконе!

— Жакан — это особая, специфическая пуля на крупного зверя, родненькая! Оплошная неосведомленность для геолога, простительная для геологини. Хоть ты и в сапогах ходила и по тайге, но не в поисках все же берлог амикана! — сказал с приятной укоризной Веретенников.— Умоляю, не обижайся. Я давно пришел к убеждению: без смелости женщины нет смелости мужчины. Так же, как и свободы, впрочем.

И он взбежал по ступеням крыльца, растворил высокую дверь на веранду, а наверху по-спортивному повернулся, приглашая за собой и жестом, и глазами.

— Добро пожаловать, Игорь Мстиславович...— И учтиво подал руку Валерии, предлагая ей позволительное ухаживанье на правах старого знакомого: — Разреши тебе помочь, роднелькая?

— Дмитрий Семенович... товарищ министр... Дима, не пыли и не навязывайся в родственники,— остановила Валерия с той ноткой в голосе, которая могла и обидеть. — Представь, я не забыла твое любимое слово, которое ты применял в обращении к слабому полу. Прошу помнить, я только вынужденный гость, сопровождающий Игоря Мстиславовича. А этого вполне достаточно, чтобы не распускать куртуазные перья перед бывшей сослуживицей. Не затрудняй себя. Тем более — мы не на равном положении.

— О, Валя, ты осталась прелестной дикой кошкой из страны амазонок!

И Веретенников, пропустив Валерию на веранду, снова с неудержимой воспитанностью приложился к ее руке, будто не в силах побороть растроганного чувства и не оказать ей внимание.

Дом тихий, чудилось, пустой, был крепок, ухожен, весь пропах смолистым духом дерева, смешанным с теплом толстых ковров и мягкой мебели. В большой столовой на первом этаже повеяло уютной горьковатостью березовых дров: здесь по-зимнему пылали крестообразно наложенные поленья в камине, величиной походившем на грот, с чугунной решеткой, с медным под ней листом, с набором всевозможных кочерег на витой подставке. Тут, в столовой, четыре девушки, должно быть, официантки, напоминающие волнистыми движениями манекенщиц, ходили вокруг длинных столов, безмолвно накрывали хрустящие скатерти. Веретенников на ходу сделал им поощряющий знак головой и, обливая гостей взором неустанной приветливости, повел их по широчайшей лестнице, по пушистой, как пена, дорожке на второй этаж.

Второй этаж раскрылся гигантским холлом, затемненным тяжелыми шторами, темно-багровым ковром на паркете, зелеными диванами у обшитых деревом стен, зелеными креслами, полукругом расставленными перед телевизором,— все было в недневном освещении, будто в далеком зареве театрального пожара, все приближало заграницу своим цветом, мягкостью, сладковатой теплотой синтетики и, мнилось, запахом пролитого на ковер одеколона или распыленного пряного дезодоранта. Оглядывая холл, Валерия озорно шепнула Дроздову:

— Роскошная жизнь. Выдержим?

Роскошен был и трехкомнатный люкс, который, наслаждаясь возможностью быть полезным, подробно показал Веретенников, — спальню, гостиную, кабинет, ванную, блещущую зеркалами, никелем, кафелем, женственной белизной раковин, пленительной чистотой полотенец, — однако люкс этот, с интересом осмотренный Валерией, вызвал у нее улыбку.

— Послушай, Дмитрий, необходима ясность: я и Игорь Мстиславович — не муж и жена. Поэтому нравственнее будет поселить меня в какую-нибудь отдельную комнату. Согласна не на роскошную.

— Виноват, прости! — спохватился Веретенников. — Н-не подумал, недотепа. Оставайтесь здесь, Игорь Мстиславович. Тебе, Валя, я покажу рядом. Люкс двухкомнатный.

— Не лучше ли наоборот, — внес поправку Дроздов. — Валерия Павловна остается здесь, а я — в соседнем. Женщине надо больше простора.

Но Валерия отвергла его поправку:

— Я не люблю излишества!

Когда Веретенников закончил показ номеров и предложил в люксе Дроздова выпить для бодрости хороший кофе, сам взявшись быстро приготовить его, с озера послышался отдаленный хлопающий звук моторов. У Веретенникова, удобно расположившегося с чашечкой кофе в кресле, начали увеличиваться и как-то нервно вслушиваться замирающие глаза. Затем он поставил чашечку на стол и тотчас изготовленно поднялся.

— Прибыли,— сказал он, спешно застегивая пуговичку на пиджаке.— Вы отдохните несколько минут. Я встречу Никиту Борисовича и приду за вами. Извините, ради всего святого.

Он попятился к двери, словно до неприличия стесняясь собственной спины, источая лицом прежнюю сердечность, но вместе с тем сквозь нее тонкой тенью проступала тревога, лоб его побелел.

— Ничего не могу понять. Приятно поражен. Не кажется ли вам, Валерия, что мы попали в страну чудес? Так можно ошалеть. Самый молодой министр — не то бисквит «счастье», не то святой,— сказал Дроздов, допивая кофе. — Наслышан о нем. Но вижу его вблизи впервые. Он всегда был таким воспитанным в шляхетском духе?

— Был мягок и вежлив всегда. Но у этого святого кибернетический характер, — ответила Валерия, глядя в окно, на озеро между алыми верхушками кленов. — Я говорю о Госплане, когда он был начальником моего отдела. Занимался теннисом и гимнастикой, успешно ухаживал за девицами и защитил докторскую. Все дела доводил до завершения пунктуально.

— Ну, его пунктуальность чувствуется по нажиму на чилимское строительство. Любопытно чрезмерно.

— Посмотрите на озеро, Игорь Мстиславович. Это интересное зрелище.

Точильный рев моторов звучал все ближе, все отчетливее. В окно видно было, как две моторные лодки, круто распуская волну длинными дугами, одна за другой выворачивались, выходили против солнца из-за островов, потом на той же несбавленной скорости выравнялись и пошли рядом к деревянному пирсу, к мокрым мосткам, вытянутым над водой. Были уже ясно различимы поднятые над водяными усами носы лодок, мешкообразные за ветровым стеклом фигуры, притиснутые друг к другу. Как только у пирса заглохли моторки и в озерной тишине закачались бортами возле свай, фигуры стали неуклюже приподыматься, едва держась на ногах, раскачивая лодки тяжестью тел и охотничьей амуниции. По мосткам бегал предупредительный Веретенников вместе с худощавым парнем в жокейской каскетке и сверху поочередно подавал старательную руку вылезавшим из моторок.

— Фантастика какая-то, — сказала Валерия сердито. — Кажется, там вместе с Татарчуком академик Козин и наш Чернышов. — Она зябко повела плечом. — Мне как-то сразу неуютно стало. На меня отрицательно действует старик Козин. Его бородка, его голос... Хочется ему грубить и показывать язык. Все технократы. Главное — Татарчук. Внешность поразительная. Похож на медведя. Даже косолапит.

— Пойдемте, — сказал Дроздов и, напоминая то приятельское, крымское, что было между ними, легонько притянул ее к себе, с соучастием заглядывая в глаза. — Вы вовлекли меня в странную жизнь. Поэтому нет резона ни грубить, ни показывать язык. Мы — гости. Поплывем по течению.

— Попробуем. До определенного пункта.

— Поглядывайте на меня влюбленно. И слушайтесь меня, — и, позволяя себе прежнюю безгрешность дружеских отношений, он поцеловал ее в лоб. — Будьте умницей.

— Постараюсь. Изо всех сил. А вы будьте осторожней. Знаете, как в Госплане называли Татарчука? Пластиковой миной или взрывным устройством.

— Пойдемте на веранду. Авось поле пока не заминировано.

А на веранде происходило нечто древнее, пещерное, огрубленно мужское, чему когда-то поклонялся в тайге Дроздов, многовековому ритуалу возвращения с охоты, — особое состояние усталости, удовлетворения, голода после наслаждения охотничьим убийством

среди вечно молодой красоты воды и неба, особо метким выстрелом, довольством собой от этого меткого выстрела, после возбуждения запахом пороха, которым пропахла вся одежда, и завистливого одобрения со стороны, после стального холодка оружия, послушного нажатию пальца на спусковой крючок, и тугой отдачи в плечо и замирания в груди при виде споткнувшейся в воздухе, комом падающей в воду добычи. Добычи только что живой, разумно летящей со свистом ветерка, с призывным кряканьем, с нацеленно вытянутой шеей и быстрым мельканием тонких крыльев...

Входящие на веранду, все в сапогах, в каскетках, в грубой охотничьей одежде лягушачьего цвета, похоже, заляпанной грязновато-зеленой ряской, все вооруженные ружьями, с ножами на поясе, обвешанные патронташами, ягдташами, заполнили террасу резкой луковой вонью пороха, мокрой тины, смешанной с диким запахом пера, дробью развороченной утиной плоти.

Их было трое, охотников, и двое сопровождающих егерей, и веранда по-солдатски внушительно загремела сапогами, громким стуком ружей. Ружья ставили в углу, а их куда-то уносили егеря, проверяя на всякий случай стволы. Туда же, в угол, бросали убитых уток в окровавленных ягдташах и без ягдташей; жирные утки шлепались тяжко, отбрасывая змейки шей с подогнутыми головками, с плоскими мраморными клювами, на которых запеклись ручейки крови (как бывает в углах рта насмерть избитого человека). Стук сапог, первобытный запах, жирные шлепки об пол, убитая дичь, добыча, возбужденные голоса — всё когда-то имевшее значение мужественного завершения объединенного удовольствия было сейчас Дроздову понятно, но чуждо, и удивительно было видеть огромную, двухметровую глыбу — выделяющегося среди всех Никиту Борисовича Татарчука в лягушачьей куртке с откинутым капюшоном, открывавшим толстую шею борца, его большое лицо, крестьянское, некрасивое и вместе чем-то притягивающее, точкообразные умные медвежьи глазки, почти женский, чувственный рот, исторгающий, однако, звуки иерихонской трубы, соответствующие его фигуре и не соответствующие его кукольному рту.

— Хрен ты моржовый, зяблик без... хвоста, — трубил Татарчук, швыряя ягдташ в угол.— Какого хрена стрелял, если не видел, в кого стрелял? Журавля ведь угробил, хрен моржовый! Отдай его егерям! Пусть хоть в этнографический музей сдадут. Где твои глаза были? На ягодицах, что ли? Эх-х, уме-лец!..

— Срам, стыд на всю Европу, — посмеивался Козин, расстегивая ремень, высвобождая из-под него трех крупных селезней, повешенных за перламутровые шеи. — Я вам подал сигнал, Георгий Евгеньевич: «не стрелять!» Но вы вскинули да шарахнули из двух стволов. Жалко журавушку, жалко горемычную! Да кто у нас, кто у нас!.. — вскричал он, увидев на веранде Дроздова и Валерию, и расставил руки, встряхивая висевшими на вытянутых шеях селезнями.— Мы вас встречаем пухом и пером! Стало быть, к счастью, к удаче! Жаль, жаль, что вас не было с нами!

Возбужденный многочасовым пребыванием на воде, крепким озерным воздухом, простором, стрельбой, удачной охотой, Козин, вероятно, доволен был собой; каскетка и охотничья куртка придавали его высокой фигуре обличье воинственное, боевое рядом с Чернышовым, растерянным, мешковатым в неловкой для него полувоенной одежде, в шароварах не по росту, заправленных в сапоги. Он вбирал голову в плечи, уставясь на большую, мертво развесившую крылья птицу, с длинным костяным клювом, тонкими желтоватыми ногами. Птицу держал за ноги пожилой егерь, хмуро глядя, как с острого кончика клюва падали на пол кровяные капли, а Чернышов бестолково оправдывался:

— Последний выстрел был, Никита Борисович... Лодка вошла в осоку, а с берега что-то сорвалось, зашумело, померещилось — гусь... Как же это случилось нехорошо, как неловко! Прости меня,

журавушка, — пробормотал слезливо Георгий Евгеньевич, взял голову птицы, вглядываясь в белые пленки меж розовых ободьев глаз, и поцеловал в перья.— За что же я тебя, красавицу? За что я тебя?..

— Прекрати лазаря петь, гусь лапчатый, — проворчал Татарчук и, вмиг обворожительно расплываясь своим обширным лицом, приветственно потряс, покрутил в воздухе маленькими для своей массивной фигуры кистями, объясняя гостям с обаятельным простодушием: — Рукопожатие отменяется по причине грязных лап! Поклон и любовь вам в наших пенатах. Здоровкаться и пить на брудершафт потом будемо. Гайда всем мыть руки и спустимся перед сауной и обедом пропустить по рюмочке за здоровье уважаемых гостей. Почекайте... Мы зараз.

— Мы пока сходим к озеру, — сказал Дроздов.

Они спустились к воде, солнечной, но уже со студеным переливом у берегов, прозрачной перед холодами до донных камней, где скользили блики преломленного света. Они постояли на мостках, над шлепающими у свай моторными лодками; белел на скамьях, дрожал под ветерком прилипший в кровавых пятнах пух.

Здесь, обдуваемые простором озера, теплом разыгравшегося сентябрьского дня, они молча слушали далекое кряканье уток в осоке островов; то и дело с рассекающим свистом прилетали к островам новые стаи, почти касаясь воды, без плеска садились в камышах, темнели, сквозили там подвижными силуэтами. И Дроздов, с еще окончательно неостывшей страстью охотника наблюдая утиное ныряние меж камышей, в раздумье сказал:

— Никак не предполагал здесь встретить Козина и Чернышова.

— Да, — ответила Валерия, вглядываясь в небо над озером. — Какая синь, какая там радость для птиц! — вздохнула она. — Дайте сигарету, свои я забыла в плаще.

— Не дам я вам сигарету. И сам не буду. Здесь грешно. Давайте просто подышим.

— Давайте подышим.

Дроздов оперся на перила, следя за колебанием светлых теней на дне, сказал:

— Мне действительно показалось, у Татарчука глазки не то медвежьи, не то кабаньи, умные, многоопытные, но манеры простого хохлацкого дяди из гущи. Любопытно. Вы ведь наверняка что-то о нем подробнее знаете по работе в Госплане?

— Чуть-чуть. Знаю, что этот крестьянский на вид дядя выписывает два американских технических журнала и для отдохновения читает детективы на английском языке. Честолюбие бонапартовское. Действительный член Академии наук. В Госплане его боялись, как... как древние греки боялись грома небесного. Если можно так сравнить. Но бывает душкой, когда начнет обвораживать. Веретенников, как будто его отражение, только в осколке зеркала изящной обработки. Я думаю: почему они все-таки выбрали вас, Игорь Мстиславович?

— Куда, Валерия?

— Они все связаны.

Татарчук, глыбой возвышаясь за столом, поражая своей физической внушительностью — мощными плечами и шеей, медвежьей неуклюжестью, ласково ободряющим лицом и маленькими, вспыхивающими простонародной хитростью глазами, производил впечатление человека общительного, отзывчивого, живого нрава, что никак не соответствовало до этого сложившемуся представлению Дроздова о нем, — в его манере говорить, в его переходах от русского произношения к особенностям южной певучести, к некоему словесному лукавству не чувствовалось ни жесткости, ни честолюбия бонапартовского.

— В вашем нституте дуже много плотиноненавистников! Це так,

Игорь Мстиславович? — похохатывая, Татарчук нарочно произнес вместо институт «нститут» и опрокинул в изящный свой рот рюмку водки, стал закусывать ветчиной, обильно намазанной хреном. — А щоб тоби шлепнуло! Дуже продирает! — звучно хохотнул он, вытирая салфеткой слезы на веках. — Мой дид говорил следующее. То, що водка дорогая — це так. То, що вона горькая — це так. Но то, що вона вредна — це брехня. Ну, ще лупанем по стакашку ради настроения перед сауной. Тост такой будет. Слухайте. Мой дид из кубанских казаков род вел, шаровары носил пошире бульдозера. Так я, малесенький, его за шаровары дергал и спрашивал: дид, а дид, а що такэ казак? А он вот як говорит: казак чисто выбрит, глазом сокол и слегка во хмелю, а главное — що? Главное — должен проявлять большую любовь к родине, значит — к отчизне, и уважать свою жену. О! — Татарчук значительно поднял палец. — Вот що такое патриатизм! Десять заповедей — детские цацки. Христианские максимы — щенки. Дид бывало первачка хватит, в огород выйдет и на всю станицу орет: «Хде моя сабля и хде мой конь, други мои сердешные? Я без сабли — кобель дохлый. А без коня — прыщ на овце! Саблю мне!» А бабка, которую он очень уважал, с кочергой на него, как ангел с карающим мечом: «Ах, плюгавец! Я тоби покажу саблю, дикар облезлый». И дид молодым козлом сигал через плетень, только бегством и спасался. Так вот, пригубим чарку за то, щоб от оппонентов бегством не спасаться. Нехай не будет кочерег между наукой и технократами несчастными. Ваше здоровье и наше здоровье!

— Чувствуете, какой душка, — шепнула Валерия. — Это он вас пытается обаять.

— Так що? За спилку интеллектуалов? Га? — Татарчук обежал мудрыми глазками всех за столом, крякнул, потянулся чокнуться сначала с Дроздовым и улыбнувшейся Валерией, затем с академиком Козиным и Чернышовым, и не рюмкой, а беглым взглядом не обошел и Веретенникова, воспитанно сидевшего в несколько скромном отдалении (через стул от Чернышова), подчеркивая этим почтительное уважение к гостям.

— За спилку? То есть за союз? — сказал Дроздов, взглядывая на Козина.

— Отнюдь, — проговорил Козин. — Отнюдь, отнюдь.

Неприятно было то, что Дроздов чувствовал какое-то холодное напряжение, исходящее от Козина, хотя академик ничем не проявлял своей холодности, словно не помнил раздорной встречи возле лифта в вестибюле ЦК. Наоборот, Козин, перед тем как сели за стол, первый протянул ему руку со словами: «рад во всех смыслах», — но за этим рукопожатием, за взглядом его немигающих глаз скрывалось что-то непрощенное, заостренно выпытывающее, чего вовсе не было в уютно полненьком Чернышове, оказывающем всем своим добролюбивым видом внимание новым гостям.

— И все будет прекрасно, замечательно, — подхватил Чернышов, раскрасневшийся после первой рюмки. — Если между нами будет мир и согласие, то мы непобедимы, Никита Борисович! Как вы поэтично сказали — спилка! Какой изумительный, звучный украинский язык! Это родной язык вашей матери и вашего отца!

Татарчук, по-видимому, не расслышал восторженное восклицание Чернышова и, не взглянув на него даже мельком, собрав веки в узенькие щелочки, заговорил с ласковой певучестью:

— Так вот дид мой, кубанский казак, швыдко спасался от рогача и швыдко бежал аж до базару. А тут хохот — все в курсе, отчего дид драпал. А дид тогда шаровары поддергивал, грудь колесом, подбородок к небу и петухом меж рядов: «Да що вы «га» да «га»? Який рогач! Дурни! Жинка меня с одной буквы понимает. А вы гагачете!» С одной буквы! — подчеркнуто повторил Татарчук и снова поднял палец. — Сократ! Платон! Сенека! Все вместе. Хитрец и вояка. Так вот.

У нас есть талантливые люди и неплохая организация дела. Но у нас есть и очень неплохая дезорганизация. Тут все гарно, все на высоте. Весь алфавит в тумане. Некоторые ученые мужи даже термин сами себе присобачили — плотиноненавистники! Ось как! Ха-ха! Недоразумение. Практики чистосердечно хотят все делать для того, чтоб прочно и несокрушимо стоял советский дом, — заговорил Татарчук без малейшего акцента. — Теоретики пытаются встать в контрпозицию. Всё грехи у нас шукают, бисовы дети! — вновь перешел на певучий украинский говор Татарчук. — Живем, як разведенные... Так чи не так, Игорь Мстиславович?

— Это не совсем так, — с умеренной твердостью, насколько позволяло обезоруживающее добродушие Татарчука, возразил Дроздов. — Подавляющее большинство ученых работают на практиков. Лишь единицы в контрпозиции. Да и не в контрпозиции — это слишком громко, а просто остаются со своим мнением. Наверно, таким образом и те и другие ищут по крайней мере если не истину, то здравый смысл...

— Истина? Вы произнесли слово «истина», Игорь Мстиславович? — академик Козин, в важном молчании разделывавший на тарелке кусочек рыбы, отложил вилку и нож, затем сухими пальцами сделал летающий жест над тарелкой, говоря ядовито: — Но позвольте спросить вас откровенно и честно, коллега, кому нужна в двадцатом веке бескрылая истина, ежели она не облегчает жизнь? Ежели не карьерным болтунам, то кому она помогает? — Он показал подобием улыбки крупные прокуренные зубы. — Может быть, не она, матушка, нужна людям? Истина — в хлебах! В хлебах! — Он постучал костлявым пальцем по краю хлебницы. — Сколько угодно судите меня за практицизм, а истина в хлебах, а не в камнях. Накормить человечество и надеть на тело одежды — вот она, великая истина! И не надобно вспоминать банальную, набившую оскомину формулу: не хлебом единым... Не красота и не красотишка спасет мир, а хлеб! Хлеб! Христа распяли в первом веке. В двадцатом и двадцать первом, надо полагать, второго пришествия не будет. Ежели явится мессия, его распнут снова. Только по-современному! Изощренно! Не накормит человечество — распнут!

— Как вы страшно говорите, Филимон Ильич, — заметил Чернышов. — Не звери же люди...

— Истина всегда страшна, где дело идет о животе! И никакие тут... не хлебом единым!.. Проблема хлебов одна — быть или не быть, жизнь или смерть! Все другое — никчемная болтовня! Защита природных красот — это сотрясение воздуха либеральной интеллигенцией и дилетантов от журналистики! Какая красота нужна нищему и голодному? Что для него насущнее — хлеб или нравственность? Нет хлеба — правит аморализм!

Козин убрал свою неудобную улыбку, худощавое лицо напряглось выражением одержимой страстности, непреклонной веры, и Дроздов подумал, что многовлиятельного советчика ведомств Филимона Ильича с его практичностью и напором давящей воли недооценивает Тарутин, что библейский пример камней и хлебов имеет околдовывающую силу.

— Стоит ли подменять цели? — сказал Дроздов. — Пока еще наши плотины никого досыта не накормили. Где эти хлебы? Наоборот — наши водохранилища затопили и подтопили четырнадцать миллионов гектаров ценнейших земель, где не только хлеба выращивали. И это известно вам, Филимон Ильич.

— Че-пу-ха! — вскричал Козин, задирая колючую бородку. — Кто вам дал эти данные? Затоплено лишь два с половиной миллиона га! У вас глубоко лживые данные! Кто-то вводит ваш институт в заблуждение! Вы все время сомневаетесь! А сомневаясь, не сделаешь ничего! Эт-то самоочевидно! Так-с!

— А кому выгодна ложь, Филимон Ильич?

— Врагам гидростроительства! А значит — врагам нашей экономики? Откуда-то возникла боязнь водохранилищ! Чушь! Любое водохранилище можно приравнять к природному, к естественному объекту, к озеру, например! Единственный недостаток — сбросы, превращающие водохранилища в мертвые зоны. В то же время заиление может происходить и в обыкновенных озерах! Лес рубят — щепки летят, Игорь Мстиславович! В белых перчатках ездили только на балы!

— Всё! Всё! Всё! Ша! Дуэлей не будет! Не трэба! — И Татарчук с непререкаемым миролюбием замахал перекрещенными руками, останавливая обоих. — Несмотря на значительное улучшение, наступило некоторое ухудшение. Это цитата из докладной одного моего инженера. Вот орел! Вселенский грамотей! Щоб не было улучшения-ухудшения, приглашаю всех в сауну. Дмитрий Семенович, все готово? Приглаша-ай гостей дорогих,— договорил Татарчук тоном нетерпеливого поторапливания.— Распорядитель сегодня ты, так что и сауна под твою ответственность. Ты сегодня служка, Дмитрий Семенович.

Веретенников без улыбки взметнулся у стола, исполненный любезного достоинства, нацеленный к действию, отчеканил вибрирующим голосом:

— Час назад сауна готова, Никита Борисович. Жду только команду.

— Сенк ю, вери мач. Приглаша-ай, министр, — повторил с ленивой лаской и обещанием удовольствия Татарчук и первый поднялся из-за стола с тяжеловесным поклоном в сторону Валерии. — Вы у нас одна женщина, поэтому вам покажут малесенькую женскую сауну.

— Спасибо, Никита Борисович, но я не любительница саун,— сказала Валерия. — Я найду себе занятие.

— Совершаете ошибку, — сокрушенно пожалел Татарчук. — Многое теряете. Но... в доме есть и хороший бассейн.

— С хвоей, Валерия Павловна, — подтвердил Веретенников и, приближаясь быстрыми шагами, почтительно отодвинул стул, освобождая Валерии выход из-за стола.

— Бассейн — это лучше, — сказала Валерия и, уже выходя из-за стола, шепнула заговорщицки Дроздову: — Вот так. Вы в сауну, а я в бассейн. Держитесь и не скучайте.

— Буду.

— Скучать?

— Держаться и не скучать.

— Лучше уж держитесь. О, черт возьми! — Ее глаза заискрились смехом. — Опять начался словесный флирт, как в Крыму. Я говорю серьезно. — Она взяла его за рукав, серые глаза ее потемнели, стали пристально строгими. — Держитесь. По-моему, начинается главное. Кубанский казак — первоклассный охотник.

Сухой жар исходил от прогретых догоряча полок, проникал сквозь мохнатое полотенце, и Дроздов чувствовал, как вместе с щекочущим тело пóтом уходила тяжесть собственной плоти и незнакомое блаженство безмятежного освобождения понемногу охватывало его. Он закрыл глаза, думая, что, по-видимому, в этом состоянии телесного благолепия пребывали и Татарчук, и Козин, и Чернышов, лежавшие на знойных полках поодаль друг от друга. Все молчали, слушая короткое шипение мгновенно испарявшейся в раскаленных тенах воды, время от времени выплескиваемой на жаркие камни Веретенниковым. Одновременно с паром от камней подымался запах распаренного эвкалипта, заполняя сауну, проходил ветерком, облегчая дыхание терпкой свежестью, и ощущение благости переносило Дроздова в августовский Крым, на полуденный, залитый солнцем пляж, к тому праздному лежанию на песке в обществе Тарутина, Валерии и Гогоберидзе, когда ни о чем серьезном речь не вязалась, а мысли были незатейливые, прозрачные, подобные скоротечным сиреневым утрам на берегу:

«Почему мне на память стал приходить Крым?»

И Дроздов, весь в поту, открыл глаза, глядя на жемчужный свет вправленных в деревянный потолок плафонов, и тотчас повернулся на бок, услышав кряхтение, посапывание, вздохи на соседней полке, где расположился Татарчук.

Никита Борисович, осыпанный капельками пота, уже не лежал, а сидел на полке, спустив огромные ноги, массажировал обеими руками широкую, жиреющую, странно безволосую грудь, большой, но крепкий, как у борца, живот, туго обтянутый плавками, его размякшее, влажное лицо выражало счастье.

— Ах, хорошо! Ах, не грешно! Ах, божественно, чудесно-то как! — повторял он с придыханием. — Жизнь-то дана нам единственная, а, Игорь Мстиславович? Второй в резерве нет. И не будет во веки веков. Так неужто плоть нельзя парком побаловать? Можно. И это-то благословение всевышнее!.. Иначе — конец. А живем-то мы как? В суете. В заботах. В грызне. В тотальной порче нервов. В стрессах. О чем всей душой сожалею, понимаете ли, так это о том, что монастырских гостиниц нет. А было их в России около полутора тысяч. — Он полотенцем промокнул лицо, шею, плечи, бросил полотенце на колени, в сладостном изнеможении продолжал: — Уехать бы так на недельку в какой-нибудь провинциальный монастырек, в тишину, в душевное смирение, в голоса молитв, пропариться бы в монашеской баньке — и наступило бы очищение духа. От всей скверны мирской. Нет веры — и нет согласия между людьми. Восточная мудрость гласит: не говори в толпе о Боге. А как бы хотелось общего понимания! Вам в душу этакое настроение не приходило, Игорь Мстиславович?

— Изумительный вы романтик, Никита Борисович, — послышался разжиженный голос Чернышова с нижней полки, и его плоские ступни зашевелились, подтверждая состояние душевного умиления.

Дмитрий Семенович Веретенников, белотелый, безукоризненно стройный, обмотанный вокруг бедер полотенцем, отмеченный кокетливой сиреневой шапочкой на глянцевитых волосах, подобно восточному жрецу, священнодействовал возле тенов, ублаготворяя гостей, настаивал эвкалиптовые листья в эмалированном тазу и эмалированной кружкой плескал настоянным кипятком на камни, снизу распространяя по амфитеатру сауны благовонный пар.

— Романтик? М-м! Хорошо, что не дурак,— снисходительно покряхтел Татарчук, вытирая полотенцем грудь, по которой, застревая в жировых складках, текли струйки пота. — В этом смысле я тебе, Георгий Евгеньевич, могу совет дать. Если в себе дурачка почувствовал, сделай стены своего кабинета зеркальными, чтоб сам себе виден был.

— Зеркала — как вы остроумно, Никита Борисович! — воскликнул Чернышов, и плоские ступни его задвигались быстрее, в восторге затанцевали на полке. — Разумеется, зеркала, зеркала, замечательно!

— Да оставьте бытовые всхлипы хоть когда потеете, Георгий Евгеньевич! — подал трескучий голос Козин, вытянувшись длинным костлявым телом на своей полке. — Не льстите хоть в сауне! Неприлично в конце концов!

— При общей вере и согласии светлое общество вполне можно построить. Страну обогатить. Людей досыта накормить бы. Обуть, одеть. Горы свернуть, — продолжал Татарчук, жмурясь от удовольствия и обращаясь к Дроздову. — Иногда ума не приложу — в чем истинный конфликт? В чем недоразумение? Или мудрецы нашли эффективную замену ГЭС? Нет и пока не предвидится. Атомные станции? Сумасшедшие затраты. Тепловые? Загрязнение окружающей среды. Я не ругаю зложелателей, шут с ними. Но тут и скептику ясно, что будущее Сибири и всей страны без гидроэнергетики — сирота, нищета голая. Темное царство. Каменный век. В шкурах ходить будем.

Ягодицами сверкать в пещерах. Современная экономика невозможна без мощных электрических систем. Аксиома это, азбучная истина, общее место. А здесь — камень преткновения. Узел несогласия. Вы меня не порицайте, Игорь Мстиславович, но маломощного умишка моего не хватает иногда, чтобы разобраться: в чем у некоторых ученых появилось с нами несогласие? Водохранилища? Затапливание земель? Изменение окружающей среды? Но ГЭС — самое экологически чистое сооружение. Где же альтернатива? Где обоснованный и разработанный разумный вариант? Разумный... Глобальный вопрос, Игорь Мстиславович! Это, понимаете ли, как жизнь. Жизнь — одна, и вариантов ее нет и за горизонтом не предвидится. Ох, как эвкалиптом-то пахнет! Какой дух! Прав ли не прав я? Где она, альтернатива? Громите. Опровергайте. Я готов и уму поучиться. Век живи, век учись... О, как все поры дышать-то начинают, вроде второй раз рождаешься... Ублажает, ублажает нас министр-то в своей сауне! Вот что наши чиновничьи стрессы снимает — пóтом изойти, токсины выгнать...

Татарчук горой загромождал полку, ласкающими кругами растирая грудь и живот, с придыханием покряхтывая, изнеможенно постанывая, между этими звуками произносил слова без нажима, точно бы не требуя ответа, и от его лица, от его большого пышущего тела исходило какое-то всепоглощающее банное наслаждение, которое он заслужил и хочет принять сполна. Очевидно было, что благословенный жар, сосновый запах насквозь прогретых досок, это безобидное пристрастие умиротворенно расслабляло его, и Дроздова почему-то занимала мысль, что неоднозначный во многих смыслах Татарчук, по-видимому, любит и умеет жить со вкусом и вовсе неотвергаемыми удобствами, которые приносят отдохновение душе и телу.

— Я вас слушаю, Никита Борисович, — сказал Дроздов, не торопясь с ответом, замечая, что Козин на соседней полке не пропускает ни одной фразы Татарчука, лежа со сцепленными на ребристой груди руками; сухое, желтое тело его казалось не подверженным стоградусной температуре сауны.

— Так ведь нет альтернативы, Игорь Мстиславович, — дружелюбно гудел Татарчук, и умные глазки его вожделенно поблескивали между век. — Откуда ж альтернатива, если для ГЭС нужен гигантский склад энергии, то есть водохранилища, а значит, необходимо затапливать земли. Ваш сотрудник Тарутин предлагает даже прекратить все строительства равнинных ГЭС и взорвать, демонтировать существующие плотины. Это и мерзавцу Гитлеру не удалось — взорвать плотины Москва — Волга, спустить водохранилища и затопить столицу. Через край он прыткий, Тарутин ваш. Озорник он и экстремист, право слово... Нет?

— На прыткого озорника он не похож, — сказал Дроздов. — Он достаточно серьезен для этого.

— Да? Положим, положим... Вам виднее. Не настаиваю. Я к слову. Вы говорите, что в стране затопили и подтопили четырнадцать миллионов га пахотной земли. Не точно. Но не тут пес зарыт. Опять коснусь аксиомы. За что прошу не порицать. По энергетическим ресурсам, вы это похлестче меня знаете, мы занимаем второе место в мире. Второе местечко. А используем десять процентов технического гидропотенциала. Да, и это вы подетальнее меня знаете. Отстали, безобразно отстали от Италии, Японии, Франции. Они, горемычные, усвоили девяносто процентов гидропотенциала. М-да. Несмотря на высочайшую стоимость затопляемых земель. Охо-хо, они никак уж не глупее нас. Не в индюках ходят. И число ГЭС и, значит, водохранилищ на земле растет, Игорь Мстиславович. Что это — технократическое своеволие и глупость? Упаси и сохрани! Самая выгодная, дешевая энергия. Поилицы и кормилицы реки наши — спасители экономики. В них судьба страны. Они, они спасители...

— А если они не спасут?

— Быть не может. Я практик и опыт малесенький имею. Для меня цифирь — истина. И задача-то ясна: догнать США по производству электроэнергии на душу населения. Есть хорошо разработанная энергетическая программа до двухтысячного года. Она вам известна. Я повторяюсь, Игорь Мстиславович, мне как-то иногда не по душе и страшноватенько: почему некоторые ученые стоят в оппозиции к нам, энергетикам? Иногда шевелится в головке черненькая мысль: нет ли злого умысла против экономики? Хай тебе грец! Не пора ли нам, Игорь Мстиславович, к пониманию, к согласию прийти, как говорится, не военным, а мирным способом, щоб у нас у всех чубы не тряслись, щоб институты и всякие комиссии дручки в колеса не тыкали. Ни для кого не секрет, что наши ГЭС на Ангаре, Енисее, на Волге, наконец, остаются самыми эффективными. Во всем мире, щоб нам лихо не было! Ах, боже ж мой!.. А ваш институт опять отливает кулю против Чилимского проекта. Ах, боже ж мой, зачем? Зачем нам сражаться?..

Татарчук, истекая пóтом в целебной сахаре этой комфортабельной сауны, вдыхая эвкалиптовые волны, плывущие в горячем воздухе стараниями неустанного Веретенникова, казалось, утопал в телесном благополучии, глазки уже нежно светились щелочками на свекольном лице, голос звучал доверительно-сипловато, переходя на певучую интонацию, а фразы текли раздумчиво, бесхитростно, как если бы он душу настежь раскрывал, желая мира и согласия.

«Он знает о последних заключениях по Чилиму. Ясно, что ему показывали ту папку с материалами, которая лежала у Григорьева, а потом была у Чернышова. Несомненно знает это и Козин. Им впервые оказали сопротивление... могуществу монополии. И они встревожены...»

Дроздов, медля с ответом, посмотрел на Козина. Тот с аскетической гримасой мученика вбирал и выпускал воздух сквозь оскаленные зубы, и непонятно, почему пахнуло знобким холодком от его костлявого, жесткого тела, от его воинственно-остро задранной бородки. Дроздова не однажды поражало природное соответствие его не располагающей к себе желчной внешности и его непримиримого неистовства против оппонентов-коллег, «не имеющих твердой точки зрения на истины азбучные». Нет, у известного академика не было ни третьего, ни четвертого измерения, не было скепсиса и запасных выходов, ибо он принимал положительные решения или отрицал что-либо без малейших сомнений. С некоторых пор Дроздову прояснилось, что высшие инстанции, утверждающие проекты, не очень охотно расположены к подробному техническому обоснованию, к возможной вариантности, так как внушительность действия, выгоду и результат обещает только практическое дело, лишенное идеально парящих в небесах альтернатив. И здесь всесильная монополия министерств и Академия наук в лице Козина многие годы прочно объединялись.

«Но какую роль играет здесь Чернышов? Он приглашен сюда в первый раз?»

Дроздов с притворно благостным видом обтерся полотенцем и перевел взгляд на Чернышова. Георгий Евгеньевич распростерся на нижней полке, круглым животиком вверх, в черных плавках, украшенных серебряным якорьком на кармашке. Он поочередно двигал плоскими ступнями, будто нажимал на педаль пианино, тихонько мычал какой-то неразборчивый мотивчик, своим любвеобильным взором приглашая всех и никого в отдельности ни о чем сейчас не заботиться, а только отдаваться кайфу.

«Он похож на кроткого ребенка. Но — знаю ли я его?»

— Вы сказали, что наш институт отливает кулю против Чилимского проекта? — спросил Дроздов и нарочито уточнил: — Куля, значит — пуля, насколько я понимаю.

— Отлично чуете смысл, — закивал Татарчук, поглаживая гигант-

ские колени. — И не простую кулю, а разрывную. Кузница у вас там готовит, чтобы насмерть убить. Что же мы... воевать будем? Из-за недоразумения. Не придем к согласию и пойдем на смертный бой? Упаси нас от беды, от лиха. Что вы, что вы! Я за мирное взаимопонимание. Ох, многое от вас будет зависеть, Игорь Мстиславович, оч-чень многое... Все будет зависеть. Академик Григорьев, царство ему небесное,— конечно, авторитет, но стар был, сдавать стал в последнее время, склонялся то вправо, то влево, непростительно медленно вопросы решал, стоял на зыбкой позиции относительно Чилима. И думается мне, Игорь Мстиславович, что вы на месте академика Григорьева... глубже смотрели бы на проблему. Тем более что не за горами и выборы в Академию... Не в звании, как говорится, прок, а в голове.

Он умолк, все потирая раздвинутые колени тяжеловеса, договорил с добродушной вкрадчивостью:

— Я думаю, что вы... способны смотреть на вещи реальнее.

— При одном условии, вне сомнения! — жестяным голосом произнес академик Козин, садясь на полке, и жилистая шея его надменно вытянулась. — Если почтенный Институт экологических проблем не разложат экстремисты и институт не рухнет в уже завонявшую пропасть нигилизма и организованного бунта! У вас есть Тарутин, Игорь Мстиславович!..

— Не даете договорить мысль, — досадливо погасил вспышку академика Татарчук. — Ох, Филимон Ильич, вашими страстями турбины двигать, неистовый и оптимальный вы человек!

— Вы подозреваете Тарутина в подготовке какого-то ужасающего бунта? — спросил не без иронии Дроздов, вместе с тем понимая, что Татарчуку и Козину известно о его встрече с Битвиным и о разговоре между ними.— Я не вижу в Тарутине злоумышленника,— добавил он.

— Как это ни странно, вы находитесь под его влиянием,— несколько охлаждая себя, заявил Козин. — Вы, уважаемый в институте человек, а порой, к моему огорчению, пляшете под дудочку бессовестного лжеученого, пьяницы, дебошира! Признаться, я удручен всем тем, что произошло на этих днях. Я решительно не понимаю, почему вы так склонны защищать... как бы это мягче выразиться... даже не глупейшую абракадабру, а ненаучную... подрывную деятельность этой бездарности Тарутина! Раньше этого за вами не замечалось!..

Дроздов помолчал, чувствуя, что сейчас благоразумнее всего ироничная сдержанность.

— Тарутин талантлив, — сказал он как-то бесчувственно. — Что касается меня, то, право, через каждые семь лет клетки человеческого организма обновляются. Вот и я обновился биологически, Филимон Ильич. Сам себя не узнаю.

— Нужна ли ирония, нужны ли шутки? — с видом подавляемой изжоги заговорил Козин. — Нет у меня настроения впадать в легкий тон. Меня до крайности беспокоит угрожающая косность Тарутиных всех родов и мастей, которые в последнее время готовы взорвать науку! Тарутин, ваш Тарутин!..

— Что Тарутин?

— Противопоставлять один тип электростанций другим может только полный профан, безумец, безграмотный идиот, извините уж покорно! Тарутин предлагает заменить гидроэлектростанции солнечной, ветровой, гидравлической и биологической энергетикой. Он, как полоумный, повсюду болтает о ветряных и водных двигателях, о малых ГЭС, о строительстве на морских побережьях приливных гидроэлектростанций. И еще у него, видите ли, мечта: производство биогаза из отходов животноводства. И называет он все это очень красиво, просто сказочно — экологическая энергетика! Без водохранилищ. Без плотин на реках. Но этот сумасшедший не учитывает одно: все эти прелести можно использовать только там, где это технически целесообразно. Це-ле-сообразно! За три тысячи лет до нашей эры стали создавать водохранилища. В Римской империи, Месопотамии, Китае, Японии! А в Чехословакии и Индии и сейчас эксплуатируются водохранилища, построенные в средние века. Ваш Гарутин как будто оглупел и не ведает, что иссякает нефть, газ, уголь, и только благодаря гидроэлектростанциям мы не сожгли все леса. Вот вам и экология, извините уж, Игорь Мстиславович, покорнейше!

— Покорнейше не могу, — сказал Дроздов. — Вы представили Тарутина не тем, кем он есть. Поэтому я не берусь с вами спорить. Не разубежу.

А Татарчук, слушавший Козина, возвел к потолку младенчески крошечные сейчас то ли злые, то ли веселые глазки, отдуваясь, заговорил полуукоризненно:

— Резковато вы, Филимон Ильич, высоко взяли. Смысла нет. Я не хотел бы... тут обсуждать теории Тарутина. Каждому овощу свое время. Тем более — кандидатура Тарутина на должность директора института не котируется. И в академики его тоже не предполагается баллотировать.

— В наше время все возможно! — с прежней гримасой изжоги заявил Козин. — Благодушию я давно уже не доверяю. Альтернативы погубят нас. Действие — единственное решение, а не скопище сомнений.

Татарчук смежил веки, скрывая то ли злость, то ли хищное веселье своих глазок, по всей видимости, неудовлетворенный поворотом в разговоре, и затряс тяжелой ногой, положив маленькую руку на колено.

— Всё или почти всё, — молвил он, туманно соглашаясь. — Вы, как обычно, резки, Филимон Ильич. Альтернативы...— В замедленности его голоса чувствовалось, что он перебарывает раздражение против бесцеремонности Козина. — Скопища альтернатив в данном случае нет. Тарутин на месте директора пока еще не смотрится. Мне хотелось бы видеть на этом месте... — И в его приоткрывшихся глазках змейкой проблеснула хитренькая настороженность. — Беспристрастного и серьезного ученого... М-да!

— Ого! — произнес Козин.— Много хотите!

— Хочу, да много, — согласился Татарчук. — Есть такое. Наши мнения кое в чем, я знаю, не совпадают. Не чувствую в этом трагедии.

— Я глубочайшим образом уважаю вас и ваше мнение, Никита Борисович. Но пока я вижу одного,— выговорил Козин желчно.— И по этой кандидатуре я хотел бы задать вопрос Игорю Мстиславовичу: как он к ней относится, так сказать?

Чернышов, в полном покое омываясь жарой на нижней полке, беспрестанно шевеля своими плоскими ступнями, перестал мычать незатейливый мотивчик и вопрошающе повернул голову к Козину, округливая полнокровные щеки улыбкой, которая извинительно обозначала и то, что он случайно услышал последнюю фразу, и то, что никоим образом вмешиваться в авторитетный обмен мнениями он себе не позволит, и эта улыбка задержалась на его щеках приятственной печатью.

Дроздов спросил:

— К кому вы хотите узнать мое отношение, Филимон Ильич?

— К Георгию Евгеньевичу Чернышову. — Он выкинул палец в его сторону. — Как вы лично относитесь к его кандидатуре?

Здесь Татарчук шумно закряхтел и жестом неудовольствия смахнул пот с висков, причем даже что-то враждебное отметилось в его жесте и кряхтенье, точно уважительное несогласие и напор Козина причинили ему боль, вынуждая его, однако, к терпению.

«Козин позволяет себе личное мнение, — подумал Дроздов. — Чем объяснить эту игру между ними? Или, быть может, вице-президент, хоть и рискованно, высказывает желание Академии?»

— От моей характеристики что-либо зависит? — поинтересовался Дроздов, увидев вмиг застывшее лицо Чернышова.

Козин попал в луч укоризненно недоумевающего взгляда Татарчука и пожевал колючим ртом с упрямством стоика, несущего разоблачительный свет справедливости.

— Мне известно, Никита Борисович, что уважаемый Игорь Мстиславович, будучи в большом доме, нелестно отзывался о Георгии Евгеньевиче, что нарушает всякую этику, принятую в науке, — сказал он резко.

— Нет, нет, я не верю, что Игорь Мстиславович способен на нехорошее! — запротестовал Чернышов и сел на полке, удрученно моргая, отчего капельки пота падали с его коротких светлых ресниц на круглый животик. — Я ничего не сделал плохого... Нет, нет, мы никогда плохого друг другу ничего не сделали! Я не могу поверить!..

— Не помолчите ли вы, канонический святой! — внезапно обрезал Козин брезгливо. — Вам надобно построить церковь, добрейший, и ежедневно молиться за здравие своих врагов. Осуществите мечту непротивленцев. А пока помолчите. Особенно когда речь идет о вас.

— Я молчу, молчу, молчу! Я ни слова, ни слова! — заглушенно выкрикнул Чернышов, и глаза его в белых ободках ресниц испуганно выкатились.— Я ни слова...

Дроздов сухо сказал:

— Никаких нелестных заявлений в адрес Георгия Евгеньевича в большом доме я не делал. Не имею привычки делать доносы в высших инстанциях.

— Я знал, знал! Вы честнейший человек, Игорь Мстиславович! У вас есть понимание товарищества! — воскликнул Чернышов, в порыве растроганного чувства простирая к Дроздову руку. — Спасибо вам, добрый коллега! Вы не способны на неэтичный поступок!

— Заткнитесь вы, наконец, со своими соплями, иначе мы зарыдаем от чувств! — загремел Козин со злостью, напрягая жилу на жесткой шее. — Что вы слюной истекаете по всякому поводу? Зажмите рот! И не вмешивайтесь в мой разговор с Игорем Мстиславовичем!

— Я... я молчу... Да, да, мне надо молчать...

И Чернышов прибито съежился, с покорной поспешностью зажимая ладонью рот в каком-то показном страхе послушания.

«Здесь неисправимо. Он будет верой и правдой служить Козину. Тут ему надежнее...»

— Чернышов дурачок, Филимон Ильич, — послышался поющий голос Татарчука, и Козин настороженно вздернул голову, приготавливаясь слушать. — Директор из него как из дерьма куля, — тряся ногой, продолжал он с той же ласковой интонацией, похоже, не собираясь никого обижать, но Дроздову очевидно было, что между Татарчуком и Козиным не во всем складывалось единогласие. — Георгий Евгеньевич терпим на вторых, на третьих ролях... А на первую роль поумней надо бы, поавторитетней. Поэтому... не знаю, как Филимон Ильич, а мне с вами хотелось бы иметь дело. С вами, Игорь Мстиславович. — И, не взглянув на Чернышова, он договорил: — Вот туточки я готов помочь вам...

— В чем помочь, Никита Борисович? — спросил Дроздов, хотя понимал, какую помощь способен был оказать Татарчук.

— А что нам в прятки играть? Скажем, занять пост директора Института экологических проблем, — безжалостно и прямо ответил Татарчук.— Кому, как не вам. М-м? Георгий Евгеньевич сам должен понимать свое место. На безрыбье и рак рыба. А если рыбка есть, зачем рак? А? Только для пивка. Пльзенского. И пивко хорошо только в свое время. О це так! И Филимон Ильич, думаю, возражать не будет. Це тоже аксиома.

Татарчук уже говорил это несчастным голосом, выражая так неоспоримую правду простых обстоятельств, но от его спокойной, грубоватой логики, в которой не было ни заминки, ни секунды колебаний, дохнуло жестокостью приговора, отчего Дроздову стало не по себе. «Татарчук и Козин могут играючи быть до какой-то ступени не согласны, но они дополняют друг друга», — сделал вывод Дроздов и, глянув на Чернышова, всегда сверх нужды бодрого, постоянно умильно приветливого Георгия Евгеньевича, почти не узнал его. Откинув голову, он как в сердечном приступе разевал рот, румянец слинял с круглощекого лица, и почудилось Дроздову, что он в полуобморочном состоянии глотает воздух, давится, хочет сказать что-то, но тяжкое удушье перехватывало ему грудь, и он только слабо постанывал, умоляя влажными глазами и Татарчука, и Козина о снисхождении, о милосердии.

— Это что-с такое? Вам плохо? — насупил морщины на лбу Козин и обратился к Веретенникову, занятому возле тенов распариванием эвкалиптовых листьев: — Дмитрий Семенович, надо вызвать прислугу! И сопроводить Георгия Евгеньевича в предбанник. Или в медпункт. Драма, понимаете ли...

— Не-ет, не-ет, — пискнул Георгий Евгеньевич, выставляя вперед ладони судорожной защитой, и выдавил из горла пресекающийся шепот: — Я с вами... я с вами...

Дмитрий Семенович Веретенников в своей женственной шапочке, женственно окутанный по узким бедрам полотенцем, уже не гостеприимный хозяин и министр, а великолепно вышколенный мастер и маг, прислуживающий в священных термах патрициев, артистично разбрызгивал по сауне веничком настоянное на эвкалиптовом листе освежающее благоухание. Заслышав голос Козина, он, не пропустивший ни слова из разговора, моментально раскупорил на тумбочке бутылку боржома, лежавшую в судке, наполненном тающим льдом, и с изысканным, почти неуловимым пренебрежением в голосе сказал Чернышову:

— Георгий Евгеньевич, сделайте глоток, и все пройдет. Или хотите выйти в предбанник?

— Ос-ставьте меня, — прошептал Чернышов, мученически отклоняясь, а умирающие глаза его скашивались на Козина и Татарчука, умоляли их обоих, искали поправку ошибки, сочувствующее изменение на их лицах, но брезгливый взгляд Козина был устремлен на плафоны сауны, а Татарчук благодушно крякал, сопел, отдувался, обмахивал полотенцем грудь, однако его реденькие, казалось, выщипанные брови собирались углом, обозначая некоторое неудовлетворение поворотом в разговоре.

Постанывая от сердцебиения, бледный до неузнаваемости, Чернышов мелко задышал подрагивающим животиком и заплакал.

— За что? За что вы меня так обидели? Я с вами... — выдохнул он, смаргивая слезы, покатившиеся по его щекам вместе с каплями пота.— Я ничего плохого не сделал, Никита Борисович... Я не принес никому вреда. Я верил вам... Вы обещали мне, Филимон Ильич, внимательно отнестись. Я десять лет работал рядом с академиком Григорьевым. А вы меня называете дурачком. Почему? Это несправедливо, обидно! Разве я заслужил, Никита Борисович? Я доктор наук, а вы меня так унижаете. Нет, нет, я не обижаюсь на вас, но разве я заслужил? Я ничего не имею против Игоря Мстиславовича, но я не хуже других, не хуже... Разве я хуже?.. За что же вы меня?..

Он говорил как в беспамятстве отчаяния, его обморочно-бескровное лицо, его наполненные слезами глаза, преданные, ищущие соучастия и жалости, страдали и одновременно в каком-то страхе просили у всех прощения за это свое неприкрытое безволие и слабость.

«В конце концов для чего я здесь?» — подумал Дроздов, досадуя на себя, и тут же Козин, содрогаясь от презрительного гнева, вскричал лающим голосом:

— Да что вы за чувствительная инфузория! Позорище, а не мужчина во цвете лет! Как вы можете так распускаться? Пос-стыдно! За-

хлебнетесь в слюнях! Да замолчите вы, доктор наук! Стыд! Ничтожество!

Как в ослеплении ужасом, зажимая рот обеими ладонями, Чернышов повалился на бок, круглый, толстенький, его жирное бедро в черных плавках вздымалось на полке неуклюжим бугром. Он плача елозил ногами и головой, в самозабвенном упоении покорности выталкивая сквозь ладони глухой вой:

— Пусть я ничтожество... Вы вольны думать... Пусть я бездарен... Но почему обманывать меня? Я преклоняюсь... Я всех вас люблю... И вы, Игорь Мстиславович... Вы тоже приехали, чтобы поиздеваться надо мной? — Он отнял руки ото рта, размазывая слезы по щекам.— Тогда возьмите ножи, режьте меня, колите, выкалывайте глаза, отрубайте пальцы и... смейтесь... Садисты!.. Я ведь ничтожество... Со мной можно... Я ничтожество!..

— Что за дьявольщина! Психоз? Истерика? Что с ним, дьявол бы его побрал! — закричал Козин, вскакивая, неприятно открывая в крике свои крупные зубы.— Дмитрий Семенович, немедленно позовите медсестру, и пусть валерьянки ему дадут, укол сделают, давление смерят!

Веретенников в знак полного понимания качнул своим нарядным головным украшением, невесомо, как молодой леопард, вышел из сауны, и сейчас же появилась в дверях юная красавица в снежной шапочке и снежном халате; она с потупленными глазами проследовала к Чернышову, и тот, отпрянув от нее, забулькал истерическим смехом:

— Милочка, я ничтожество... я иду с вами, дайте мне валерьянки, но не делайте мне укол! — И бережно взятый под локти медсестрой, неожиданнс встрепенулся, вырываясь, вскрикивая захлестнутым ужасом голосом: — Простите меня, Филимон Ильич, я с ума сошел!.. Я виноват, я допустил бестактность! Я умоляю вас простить меня!.. Я измотался, не выдержали нервы, я издергался, я нездоров, не презирайте меня!..

— О, как это противно, — процедил небрежительно Козин. — Я ошибся в вас, Георгий Евгеньевич. Тошнит.

— Простите меня, миленький! Я никто, а вы — великий ученый! Я люблю вас, Никита Борисович!.. Я виноват, я глупец, я ничтожество! Что я наделал? Что со мной будет?.. — повторял, раскаянно плача, всхлипывая носом, Чернышов, аккуратно выводимый из сауны безмолвной красавицей медсестрой.

Георгий Евгеньевич тупо переставлял кривоватые, поросшие волосом короткие ноги, расслабленно неся круглое, упитанное тело, и белая, подобная подушке, спина его маслилась пóтом.

Глава семнадцатая

То, что произошло сейчас между Татарчуком, Козиным и Чернышовым, разом сместившее и перевернувшее в хаотическое направление деловой ход вещей, сначала представилось Дроздову лукавой и грязной инсценировкой, куда с загадочной целью был втянут и он. Но никакой явной игры не было — ни в этом жалком бессилии Георгия Евгеньевича, ни в его истерике, которые трудно соединялись с его зрелым возрастом, званием и положением, ни в жестокой раздраженности Козина. Здесь фальшиво церемонились с ним, Дроздовым, пока еще никому, даже в малой степени не обязанным, и Дроздова покоробило: циничная неопрятность унизительной сцены чем-то унижала и его. После неловкого молчания он сказал, с ироническим разочарованием обращаясь к Козину и Татарчуку:

— Не знал, что у вас такая любвеобильная искренность.

И увидел непобедимую жизнерадостность Татарчука, вылепленную маленьким ртом и певучим голосом его:

— Пьян, як сорок тысяч братьев.

— Чернышов пьет очень умеренно, насколько я знаю.

Татарчук увесисто пошлепал себя по жирной просторной груди и отозвался добролюбиво:

— Пьян, як муха. Чтоб вы знали и не сомневались, Игорь Мстиславович. Надрался втихую. Предполагаю: мы перед сауной по две рюмочки, а он — рванул и с рельсов сошел. — Он вздохнул и продолжал всепрощающе и мирно: — Ну что за ребята хлюпкие пошли! Выпил поллитру — осмотрись! Грешат ваши ученые втихую, — сказал он Козину, нервно барабанящему пальцами по краю полки. — Но это дело чиха не стоит. Мелочь.

— Несомненно, бессовестно пьян, — выговорил Козин. — Отвратительно. Терпеть не могу людей, теряющих над собой волю. Свинство! Мерзость!

Татарчук длинно посмотрел на него, в щелках глаз отталкивающе загорелся, промелькнул и погас злобный холодок, и он опять зашлепал себя по груди, по массивному животу, словно молодечески озорничая от переизбытка сил.

— Ах, гарна птица колбаса, гарна овощь — сауна! Вот думаю, Игорь Мстиславович, — заговорил он с видом грустного счастья. — Мало, мало радостей на земле у нас. Все живем в давайческом настроении. «Давай, давай!» А я часто думаю знаете о чем, Игорь Мстиславович? Об одном неапольском монастыре. В нем через каждые пятнадцать минут монах стучит в двери келий и провозглашает: «Внемлите, братья, еще прошло четверть часа вашей жизни!» Да-а, мементо мори.

Козин перестал барабанить костлявыми пальцами по краю полки и как бы в рассеянности недопонимания нацелил бородку в Татарчука.

— О чем вы, мудрейший Никита Борисович? Вас кинуло в мировую скорбь? Жить в ожидании конца — значит не жить. Блажь поэтов времен романтизма.

— Блажь, — кивнул Татарчук, скрывая металлический холодок под прикрытыми веками. — Истина в ваших руках. Бывает, говоришь так, что сам себя не узнаешь. Так лучше одергивать себя за полу, чем в шею толкать. А?

— Философия — болтовня бездельников, — продолжал Козин веско. — Власть технократа — это жизнь, победа над смертью и вялостью духа. Именно она вносит совершенство в мироустройство. Именно она дает все блага человечеству. Тепло, комфорт, культуру. Могла ли быть в реальности эта прекрасная сауна без деятельности технократов, которых лирики проклинают на каждом шагу?

В это время Веретенников вошел в сауну, неистощимо любезным бархатистым голосом сказал:

— Георгий Евгеньевич уложен в постель в своем номере. Вас, Филимон Ильич, ждет массаж. Если угодно — пожалуйста.

— Иду, иду, — мельком бросил Козин и встал, выпрямляя жилистое скелетообразное тело. — Всякая власть реальна, когда проявляет свою власть,— сказал он неопровержимо. — Но нас хотят утопить в альтернативах как щенят. В либерализме. В дискуссиях. В сомнениях. Разноречие хорошо в пустопорожней болтовне за бокалом томатного сока. Прогресс держится на технократической воле. Понимаю, вы со мной не согласны, Игорь Мстиславович. Но такова история цивилизации. Овеществление человеческой воли. Иначе до сих пор мы ходили бы в шкурах. И били бы друг друга по головам дубинами. Салют!

Он перекинул полотенце через морщинистую, не по-стариковски прямую шею и направился по ступеням к выходу.

— Безмерно любопытная мысль, — сказал Дроздов.

— Дмитрий Семенович, будь ласка, попроси-ка принести нам по чарке шампанского. А то академик томатным соком соблазнял, —

напевно произнес Татарчук с вожделенной хрипотцой, когда Козин вышел. — Или по-демократически — пива? — И он хитренько глянул на Дроздова. — Пльзенского, а? Холодного. Есть желание. Мысль, а?

— Пожалуй.

— Дмитрий Семенович, два бокала пльзенского,— благонравно попросил Татарчук.— Только в длинных бокалах. В богемских. Чтоб цвет был виден.

— Все понял, Никита Борисович, — отозвался Веретенников и повернул к двери, полотенце-юбочка заколыхалась над мускулистыми ногами министра. — Одну минуточку, — добавил он, уже выходя.

— Можно и две,— суховато поправил Татарчук, и простодушная мягкость его большого лица сразу подобралась, лицо сделалось серьезным, неузнаваемо твердым, а маленькие звериные ушки, почудилось Дроздову, хищно прижались, как подчас заметно было, когда он готовился хохотнуть. Но Татарчук не смеялся.

— Вот что, Игорь Мстиславович, — заговорил он деловым тоном человека, не имеющего права растрачивать время на бытовые шуточки. — Академику не восемнадцать лет, он сам себе судья. Его безапелляционность и самомнение раздражают не одного вас. Но он — авторитет. У нас и за рубежом. Так сказать, со своими принципами. С этим надобно считаться. Так вот что! Свое не полюбишь — чужое не поймешь. Я стою на позиции открытого взгляда. Понимать это надо так — быть готовым ко всему. Смотрю и пытаюсь реально анализировать главные вещи. Однако можно пристально смотреть и абсолютно ничего не увидеть. Жену или судьбу не увидеть. — В этом месте можно было бы улыбнуться, но ни голос, ни одна черточка лица Татарчука не изменились, подчиненные логической последовательности. — Но dum spiro, spero.

— Не изучал латынь, — сказал Дроздов тоже без малейшей иронии, понимая, что Татарчук безоглядно отошел сейчас от недавней простодушной игры и не расположен возвращаться к балагурству. — Что это значит, Никита Борисович?

— Это значит: пока дышу, надеюсь, — пояснил Татарчук и многоопытные медвежьи его глазки загорелись желтыми блестками, жадно вобрали в себя Дроздова, подтверждая веру в латинский девиз.— И я надеюсь и хочу, чтобы пост директора института заняли вы. Хочу верить в вашу спокойную разумность. В умеренность и разумение, как говорили древние греки.

— Умеренность и разумение?

— Совершенно точно. У вас есть свой взгляд на плотиностроение. Он не вполне соответствует моему, — продолжал размеренно Татарчук.— Но уверен — в пределах разумения можно и не становиться в контрпозицию друг к другу. Тут с академиком Козиным я совпадаю не полностью. Пока дышу, надеюсь, Игорь Мстиславович. Надеюсь, что министерство Веретенникова, каковое волей правительства ему дано вести, и головной Институт экологических проблем, коим вам дадут руководить, не будут находиться в состоянии вражды. Я знаю, что после кончины Григорьева в институте кое у кого ожесточилась неприязнь к Чилимскому проекту. Появились ярые плотиноненавистники. Очень хотел бы найти позицию мудрого компромисса.

«Одно хотел бы знать: что его озадачило, если он всесилен и вхож везде, как никто? Слушают его, а не нас...»

— Компромисс вряд ли поможет той и другой стороне, Никита Борисович, — сказал Дроздов с нежеланием облегчать этот разговор.— Все имеет и начало и предел...

— Почему? — не поверил Татарчук, и его островатые ушки вновь прижались, как у хищника, изготовленного к прыжку. — Умеренность и разумение — спасение.

— Через тридцать лет, — сказал Дроздов несдержанно. — Через тридцать лет стало ясно, что настроенные равнинные гидроэлектростанции — преступление или недомыслие. Без демагогии и вранья уже нельзя оправдать фантастические многомиллиардные затраты.

Татарчук в удивлении возвел безволосые брови, хлестко шлепнул по толстым коленям, и внезапно лицо его преобразилось, обрело незнакомое сомневающееся выражение.

— О цей скаже! Честолюбцы и герострати хотят вскочить в поезд грядущего! Удастся ли, а? Мне сдавалось, что вы не относитесь к ярым плотиноненавистникам!

— Я к ним не отношусь. Я исхожу только из разумения.

— О цей скаже-е! — повторил протяжно Татарчук и с тем же выражением вторично хлопнул себя по коленям. — По лицу оппонента можно определить ход своей судьбы! А нá что вам война, Игорь Мстиславович? Помилуйте, у противника танковые армии, армады авионов, извините за цинизм, а у вас жалкие трехлинеечки, винтовки образца девяносто первого дробь тридцатого года. Да и то — одна на двоих. К чему кровопролитие? К чему вражда? К чему жертвы? Давай, давай, давай сюда, министр, давай-ка втроем чокнемся! Есть причина и есть тост! — закричал Татарчук, махнув вошедшему в сауну Веретенникову с тремя бокалами янтарного пива на деревянном подносе. — Давай-ка, давай, Дмитрий Семенович, угощай дорогого гостя, — сказал он, не сбавляя оживления, и с оттяжкой чокнулся с ним и Веретенниковым, делая пронзительно радостными всезнающие свои глазки. — За мир, други мои, за мирное сосуществование, за то, чтобы штыки в землю, а? За компромисс, за разумение. Ваше здоровье, ваше процветание!

Он, не отрываясь, высосал пиво из бокала, раздувая ноздри, фыркнул, поставил бокал на поднос, обтер полотенцем обильно выступивший на шее пот и нежно прижмурился.

— Не надо нам конфликтовать, Игорь Мстиславович. В конце концов дело институтов и министерств общее. Наука и практика. На благо народа работаем. На благо страны. Согласны?

— Не во всем.

Лицо Татарчука стало деланно испуганным.

— Не согласны, что работаем на страну? На народ?

«Этот очень непростой человек как будто подбирает ключи ко мне, — мелькнуло у Дроздова. — Что он хочет? Открыть замок, бросить сладкое зернышко обмана и запереть накрепко?»

— К сожалению, не согласен, — сказал Дроздов, ставя недопитый бокал на поднос. — Общего блага и общего дела нет. И нет правды между нами, в которую можно поверить.

«Напрасно я так неосторожно открываюсь ему. Моя искренность похожа на глупость. Демон меня оседлал!..»

— Дмитрий Семе-оныч, мини-истр, — пропел Татарчук медовым голосом, — принесите-ка мне еще кружечку пива. А как вы, Игорь Мстиславович? Вам, я вижу, пльзенское не по душе?

— Я не любитель пива.

— Да, да, да,— Татарчук в поддельном испуге закатил глаза. — Да, да, да. У меня начинают шевелиться волосы на голове. — Он остренько поглядел в спину деликатно уходившему с подносом Веретенникову. — Да, да, опять правда и правда. Все мы пленники, никто не свободен. Козин был прав. А что такое правда? А может, немножко нужна ложь? Сказочка людям? Сон золотой? Кто ответит, Игорь Мстиславович? Мы? Они? — Он снова подкатил глаза к потолку. — Там, на Олимпе? На небесах? Или, может, правдой вы считаете начатую критику против технократов! Считаете правым делом? Справедливостью? Спасением? В самом деле нас хотят остановить?

— Вы задаете вопрос, который не надо задавать.

Татарчук опустил голову и замер так на некоторое время, соображая что-то.

— М-да! Не ожидал. Сомневался. Понятно,— заговорил он, при каждом слове кивая.— М-да. Проблема практики и теории равна, по-вашему, проблеме правды и лжи. И вы подтверждаете, что брошена перчатка? Соображаю. Но не всякую брошенную перчатку следует поднимать. Мы сделаем вид, что не видим перчатки на заплеванном полу.— Он насильственно пырхнул хохотком.— Так что ж, вполне реально: танковую армию остановит трехлинеечка. Как в июле сорок первого года. Только уж в оба смотрите!..

Татарчук с неожиданной яростью проворно повернулся глыбообразным телом к Дроздову, вонзаясь иголочками зрачков ему в глаза, с развеселой угрозой заговорил:

— Но уж только... победы под Москвой... и Сталинградом не будет, не ждите! Другие времена, другие песни... Наивные романтические чудики! В толк не возьмут: никто кресло из-под нас не вышибает. Да нет, нет, вы правы, беритесь за трехлинеечки, авось сокрушите к такой-то матери технократов и вернетесь к уютным пещерам и звериным шкурам. Без ГЭС и водохранилищ! Долой прогресс и цивилизацию! Нет, Игорь Мстиславович, я не обижаюсь на вас нисколечко, каждому свое. Воюйте. Только вы, лично вы, разочаровали меня. Я ведь думал, что вы, именно вы будете с нами. И мы найдем общий язык. Или уж компромисс на худой конец. Глубокое разочарование. Глубокое. Я расстроен. Мне как-то тяжело, откровенно говоря, больно. Я так надеялся... К чему вам война? Что она вам даст? Что даст, подумайте! Стрессы? Бессонные ночи? Инсульт? Инфаркт? Сейчас легко делаются инсульты и инфаркты. Статейка в газете, навет, ограбление квартиры — и готово! Хотите укоротить свою жизнь? Ведь вы, в сущности, еще молодой человек. Вам жить надо да пока жизни радоваться. Поверьте мне, я отношусь к вам с симпатией... Вам не выиграть войну, вам не повернуть технократию вспять. Миру дан свой срок, и его нельзя спасти, коли уж хотите всю отравленную правду. А в пору экономических провалов правительства слепнут и глохнут. И ищут панацеи. К чему же вам губить себя на беспобедной войне? Вас, плотиноненавистников, воспринимают не как спасителей, отнюдь не как мессию, а как консерваторов, варваров, даже вредителей. Христос, увы, архаичен. Поверьте, я отношусь к вам с симпатией, большей, чем можно подумать, право... Если бы вы, исходя из здравого смысла, всё разумно осознали, то ваше молчание было бы услышано с пониманием и благодарностью.

И он, источая своей речью заботу, доброжелательность, необходимую в опасно сложившихся обстоятельствах возможной роковой ошибки, с доверием умудренного опытом друга притронулся кончиками пальцев к запястью Дроздова. Татарчук, разморенный сауной, весь исходил пóтом, но его коснувшиеся кончики пальцев вдруг ощутились ожогом ледяного холода, и даже нервным ознобом стянуло у Дроздова кожу на затылке.

«Нет, он гораздо опаснее, чем кажется»,— подумал Дроздов и спросил вполголоса:

— Кем услышано?

— Что «кем», Игорь Мстиславович?

— Кем молчание будет услышано с пониманием и благодарностью? Вами? Или?..

— Я вам гарантирую: и — «или»! — всецело, как бы готовый к откровенности, Татарчук молитвенно воздел руки к потолку, показывая это невидимое «или», после чего заключил с длинным выдохом: — И разумение, а не тотальная вражда будет царствовать между нами в пределах нашего взаимного уважения. А жизнь наша, скажу вам, Игорь Мстиславович, короче воробьиного чириканья. Две жизни не жить. Мы не бессмертны. Все мы побежденные жертвы.

И он вновь прижал кончики пальцев к запястью Дроздова, подтверждая неопровержимость своих слов.

— Все так. Мы не бессмертны, — повторил Дроздов, кожей ощущая тот же ледяной озноб от физического касания Татарчука, от того, что вяжущая паутина самонадеянной силы мутно наплывала каким-то уже дурманом, запутывала, затягивала отравленными узлами многоголовой правды, и ему хотелось встряхнуться, избавиться от этого неестественного наркотического состояния.— Кстати, с нами нет Валерии Павловны,— сказал Дроздов, с трудом придавая голосу обыденное спокойствие.— Она предпочла сауне бассейн. Виноват, Никита Борисович, я тоже готов для душа и бассейна. В сауне было великолепно.

— Божественно, бесподобно, — простонал Татарчук. — Вы этого еще не прочувствовали. Поймете позже. Окунетесь в бассейне, и прошу на обед.

— Благодарю.

В предбаннике, после сухой жары, обдуло прохладным ветерком, хотя горели, потрескивали дрова в камине, и толстый ковер на полу был тепел и мягок, как июльская лужайка. Витые бра на стенах, люстры, имитирующие лосиные рога, светили над заставленным закусками и бутылками столом, вокруг которого танцующе двигалась длинноногая девица в безукоризненном фартучке, на ходу протирала бокалы. Она взглянула на Дроздова и с улыбкой непорочной монахини потупилась, при этом украдкой задела полотенцем Веретенникова по колену. Дмитрий Семенович в эту минуту ставил на поднос бокал для Татарчука и, незамедлительно озаряя Дроздова взором приятности, воскликнул не без театрального недоумения:

— Вы уже, Игорь Мстиславович? Так скороспешно? Не может быть, что вам в сауне не понравилось! Это же божественно!..

— Божественно и бесподобно, — ответил Дроздов словами Татарчука и спросил: — Как мне найти бассейн? Валерия Павловна там, вероятно?

— Одну минуточку, я вас провожу. Сегодня гостей обслуживаю я. Мы живем в век демократии. Это равенство установлено Никитой Борисовичем.

— Не надо провожать. Я найду. Так где?

— Рядом. Вот в эту дверь. И прямо по коридору. Простыню возьмите. — И пóвел носом, счастливо говоря: — Чувствуете, как пахнет? На кухне жарят уток. Бесподобно.

— И божественно, — добавил Дроздов.

С поразительной ясностью он помнил, как взял из белейшей стопки свежую простыню, накинул ее, пахнущую ветром, на горячее тело и, открыв дверь, пошел по матово освещенному коридору к бассейну — туда, куда показал Веретенников. «Что война вам даст, подумайте! Стрессы? Бессонные ночи? Инсульт? Инфаркт? Хотите сами укоротить себе жизнь?» — не выходило у него из головы, и пестро переменчивый голос Татарчука назойливо и дурманно ввинчивался в сознание. — «Что в этом? Угроза? Предупреждение? Нежелание пускать в ход все сокрушающие средства и попытка пойти на сговор?»

Уже раздумывая, говорить ли все Валерии, он шел по ковровой дорожке тихого коридора, мимо дверей с застекленными табличками — «бильярдная», «медсестра», «читальня» — и вдруг услышал откуда-то из пустоты мертвого, освещенного матовыми плафонами пространства странные звуки, похожие на стоны боли, неразборчивое захлебывающееся бормотание вперемежку с протяжными всхлипываниями. И тогда промелькнула догадка, что где-то здесь, за дверью, лежит никому сейчас не нужный Чернышов, лежит один, в пьяном беспамятстве («никогда не знал, что он втихую пьет!») — и Дроздов, неизвестно зачем убыстрив шаги, увидел дверь с табличкой «массаж», откуда доносились эти нечленораздельные звуки, постучал, нажал на ручку и,

оглушенный тут же хриплым криком: «Кто там?» — захлопнул дверь с такой поспешностью, точно хлестнули из комнаты выстрелы в упор.

Торопливо он дошел до конца коридора и лишь здесь, перед кафельно засиявшим полом бассейна, быстро оглянулся. Позади, где была массажная,— ни звука, ни движения. Безмолвие между закрытыми дверями царствовало под тусклыми плафонами. Спереди, где небесно и чисто мерцал кафель, сквозняком тянуло хвоей. Послышался гулкий плеск, и в воде появилась стянутая по-детски купальной шапочкой голова Валерии, плывущей на спине, ноги равномерным движением ножниц разрезали воду, глаза неотрывно смотрели на Дроздова, явно обрадованные его приходу.

— Привет! Слышите, на улице ветер, а я здесь одна, как в океане.

Голос ее прозвучал эхом, отдаваясь от черных стекол, за которыми в свете электричества качались ветви сосен.

— Изредка приходит какая-то смазливая девица, спрашивает, как я себя чувствую и не надо ли мне что-нибудь. Без вас, признаться, мне немножко жутковато в этой пустыне.

Она подплыла к краю бассейна, схватилась за никелированные поручни. «Вы не рады мне?» Он, ничего не отвечая, видел сверху ее мокрые улыбающиеся губы, приоткрытые дыханием, ее слипшиеся стрелками ресницы, но совсем другое, нелепое, отталкивающее, вставало перед ним с жестокой очевидностью, свидетелем которой он стал минуту назад в длинном и безлюдном коридоре. Там, в раскрытую им дверь массажной он увидел то, что по неписаным мужским законам не хотел бы видеть... Тот, кто с раскинутыми ногами лежал в полумраке на ковре у топчана, издавая стонущие горловые всхлипы, судорожно вздернулся всем худым с выступавшими ребрами телом, обратив к открытой двери мертвецки страшное белыми глазами лицо, задрожавшее острой бородкой, отстранил обеими руками нагую, с повязанными зачем-то лентой волосами женщину, что стояла на коленях меж его раздвинутых костлявых ног и водила ртом по старчески вдавленному животу, молодые груди ее отвисали полновесно... Из комнаты закричали дико: «Кто там?» — и зубы оскалились в крике, хлестнувшем испугом и угрозой. И в желтоватом свете затененной настольной лампы бесстыдно мелькнули крутые бедра женщины, повалившейся на бок. Если он не ошибся, то эта молодая женщина с повязанными лентой волосами была похожа на одну из молчаливых официанток, накрывавших стол в каминной. Впрочем, это могло показаться: в женщине было что-то общее и с молчаливой медсестрой, вошедшей в сауну к Чернышову. «Да имеет ли значение, что за женщина была в массажной!»

— Я под душ, а потом будем одеваться, — сказал безмятежным голосом Дроздов. — Кажется, душ направо? Где мы вообще раздевались?

Однако на долю секунды ему не удалось справиться с хмурым напряжением в лице, и она чутко подняла брови.

— В сауне ничего не случилось?

— Пока еще нет, — солгал он, справившись с собой. — Здесь у вас божественно и бесподобно, — механически употребил он слова Татарчука. — Вода пахнет хвоей. Как в лесном озере.

— И все-таки что-то случилось, Игорь Мстиславович? — спросила Валерия, выходя по кафельным ступеням из бассейна.— Я чувствую по вашим глазам. Говорите.

По ее плечам сбегали капли. Он заметил, как эти капли скапливались меж сдавленных купальником грудей.

— Пустяки, — сказал он.

— Серьезно, пустяки?

— Серьезно. Если не считать того, что нам надо бы уехать из этой роскошной виллы, — ответил он, стараясь не глядеть на капельки меж ее сжатых купальником грудей. — Уехать не мешало бы сейчас.

— Идемте в душ. Потом к себе в номера. Я готова уехать когда хотите.

И ничего не уточняя, она пошла впереди него по голубому кафелю, по краю бассейна, и он, нахмурившись, отвел глаза от ее плеч, от ее бедер, вспомнив то, несколько минут назад случайно увиденное в полумраке массажной, что подкатывало к горлу тошнотной брезгливостью к той пухленькой женщине со светлой повязкой на темных волосах и к вдавленному под ребрами, как у покойника, коричневому животу Козина.

«Да на кой черт они мне оба — и этот развратный старик Козин, и эта пухленькая, работающая в обслуге дома? Что мне за дело?» — думал он, надевая окутывающий теплом халат, предупредительно висевший напротив каждой кабины посреди зеркал и мохнатых полотенец. Завязывая поясок халата, он приблизил лицо к зеркалу, морщась, как от пережитого стыдливого неудобства, от злости на самого себя, — и в ту же секунду вздрогнул. В зеркале за спиной поползла, раздернулась цветная занавеска, возникло молоденькое женское лицо с подведенными синей тушью веками, отчего нечто преувеличенно порочное было в ее взгляде, который туманной волной пробежал по спине Дроздова. Он не успел сказать ни слова, а она в медлительном выжидании, показывая влажную полоску зубов, поправила волосы, невинно повязанные через белый лоб лентой, спросила с истомной беззащитностью:

— Вам ничего не надо? Вам помочь в чем-нибудь?

С быстротой застигнутого врасплох, чувствуя зябкий ветерок на щеках, он повернулся к ней, едва удерживаясь на границе вежливости:

— А чем вы можете мне помочь, прелестная незнакомка?

— Вы злитесь на беззащитную девушку?

Она вошла, мягко качнув плечами, глядя ему в грудь, и, застенчиво опустив опоясанную лентой голову перед ним в позе девической стыдливости, рывком потянула поясок на его халате, развязывая узел, стеснительно развела полы своего халата и сделала шажок к нему, слегка изгибаясь, приникая к его ногам коленями.

«Пожалуй, только дурак сомневался бы на моем месте, — проскользнуло у Дроздова, и, как будто смеясь над собой, с натянутой шутливостью изображая избалованного ловеласа, он привлек ее за узкие бедра, сказал развязно:

— В другой раз, беззащитная женщина, сейчас я неспособен.

— Со мной вы будете способны, дурачок.

— Уходите. Сейчас же!

— Уходить? Мне? Я не по вкусу вам?

— Немедленно уходите.

— Игорь Мстиславович! — послышался издали зовущий голос Валерии. — Вы готовы? Я вас жду.

Он очнулся. Дом наваждений... Нет, ее не было здесь, этой женщины, она не развязывала узелок на халате, не прижималась к нему плоским животом — колыхнулась цветная занавеска, мотнулись перетянутые лентой молодые волосы, мелькнули под мохнатым халатом сильные икры, и все исчезло. Дроздов, соображая, что же было в кабине минуту назад, и уже злясь на нелепость случившегося сейчас, потрогал распущенный поясок халата и раздраженно затянул его, услышав шаги возле кабины.

«Что за глупейшее состояние, как будто кто-то играет со мной».

— Я вас жду, — повторил голос Валерии в коридоре, а когда он вышел, она сказала с таинственным озорством: — Не кажется ли вам, что в этом доме много прислуги? Причем девочки все смазливенькие. Как мне привиделось, одна из этих цирцей интересовалась и вашей кабиной. По-моему, очень недурна. Вы целы? Вам не кажется, что мы с вами находимся в Древнем Риме? Представьте, какая-то очаровательная черноглазая красавица вошла ко мне тоже и предлагала мне классический массаж и педикюр. По-моему, что-то было похоже на искушение. Как это вам?

— Пожалуй, Рима много. Времен упадка и супов из языков фламинго, — постарался не очень ловко отшутиться Дроздов и прибавил серьезнее: — Самое разумное, если мы смоемся отсюда немедленно. И незаметно. Не знаю, как вам, я мне что-то не очень тут... Нас приручают, милая Валерия.

— Я знаю: в атаке, чтобы выжить, надо вперед. Пошли. Другого выхода нет. Вы слышите, что там за торжество?

Она взяла его под руку и, смело двигаясь, задевая его полой халата в тесноте коридора, повела под матовыми плафонами, мимо кабинок, к прямоугольнику света впереди, откуда доносились звуки пианино, и нестройно вскрикивающие голоса, хлопанье ладошей в ритм этих речитативных выкриков. «Зачем все-таки я приехал сюда и именно с Валерией? — подумал он, заранее испытывая усталость перед чужим весельем и фальшивыми разговорами, перед оплетающей логикой Татарчука и перед ожиданием первого взгляда Козина, некоторое время назад устрашающе-яростно закричавшего в кабине: «Кто там?» — но уже не владыки в гневе Козина, а смешного, распростертого на полу в бессилии вернуть превышенные удовольствия и, несмотря на громовой крик свой, ставшего униженным, немощным. «Должно быть, я могу утешиться тем, что видел его в унизительном положении. Но почему-то это не радует меня».

— Что вы нахмурились? — дошел до него голос Валерии, и она локтем дружески притиснула его локоть. — Вижу: вы совсем не рады, что я соблазнила вас поехать сюда. Почему вы поддались соблазну?

— Пожалуй, во всем виноват я... Но без вас, Валерия, я бы не поехал.

Он приостановился, неожиданным нежным нажимом потянул ее к себе, она без сопротивления быстро повернула голову, и он, намереваясь поцеловать ее в щеку, как позволял эту платоническую шалость в Крыму, вдруг случайно скользнул губами по ее не успевшим улыбнуться губам и сейчас же увидел ее удивленно расширенные глаза.

— Что-то у вас не получилось.

— Исправлюсь потом, — хмуро сказал Дроздов.

— Ка-ак? Как это потом? Кто вам разрешит исправление таких ошибок?

— Вы хотите сейчас?

— Я не хочу.

Они стояли посредине пустынного коридора в мертвенном свете плафонов, таком же неживом, как вдавленный живот и ребра Козина, а впереди в залитом электричеством проеме не прекращались выкрики соединенных голосов, визгливые звуки пианино, ритмичное похлопывание ладоней. Валерия, не убирая улыбку из глаз, смотрела на него, как бы разрешая и не разрешая исправить ошибку, и он на минуту почувствовал тоскливое отчаяние, какое бывало у него прежде в бессмысленных обстоятельствах. Действительно, для чего он здесь, в этом «охотничьем домике» со своей нерасположенностью к саунам, бассейнам, массажам, застольям в обществе малознакомых людей, упивающихся банными развлечениями и одержимо занятыми едой, питьем, служебными судьбами и вместе страстями. И для чего она здесь со своей легкой и милой ему насмешливостью, лишняя вблизи власти предержащей, этих деловых мужчин, всему обученной женской прислуги, этих сомнительных массажных комнат и кабинок?

— Нам надо уезжать, Валерия.

— И только? — спросила она.

— Что «только»?

— Вот сюда поцелуйте. И все исправите. — Она пальцем показала на уголок губ. — А я вас спасу в предбаннике.

Ей не удалось спасти Дроздова в предбаннике, заполненном возбужденным шумом, незнакомыми хорошо одетыми людьми, пьющими за столом, пышно заваленным зеленью, закусками, горками жареных уток на больших блюдах среди бутылок и графинчиков, рюмок и бокалов.

В центре стола поблескивал гладко выбритой головой небольшого роста человек с крахмально-белым волевым лицом, белизна которого особенно подчеркивалась чернотой лохматых бровей, — и Дроздов мгновенно узнал Сергея Сергеевича Битвина. Он держал рюмку и движением этой рюмки останавливал чрезмерный гул вокруг себя, чересчур громкое ликование и, тронутый, одновременно обращал за подмогой свои стальные, покоренные общим восторгом глаза на академика Козина; Филимон Ильич сидел напротив, делал вид, что занят сосредоточенным отдиранием от зажаренной утки темно-золотистой ножки, и только насупленно кивал.

— К нам приехал, к нам приехал Сергей Сергеич дорогой! — с цыганским надрывом пел, выкрикивал Веретенников и ударял по клавишам пианино так, что рукава халата взметались крыльями, при этом глянцевито причесанную голову он артистически забрасывал назад. — К нам приехал, к нам приехал!..

— А ну, все разом! Все хором! — командовал, похохатывая, Татарчук из-за стола. — Поприветствуем нашего друга! Все! Хором!..

Татарчук, весь багрово-банный, в распахнутом на гигантской груди халате, грузно приподымался к Битвину, отчего маленькие звериные ушки его прижимались, и тянулся рюмкой к рюмке Сергея Сергеевича. Справа от Татарчука, глубоко уйдя шеей в воротник халата, сутулился, словно вконец измятый, заплаканный Чернышов, дрожащей рукой он тоже подымал рюмку, бормочуще повторял: «Спасибо вам, спасибо, спасибо», — но не лез чокаться с Битвиным, соразмеряя степень неравенства. Он только заискивающе умолял искательными глазами Битвина, академика Козина, видимо, каждую минуту вспоминая свое рабское унижение в сауне, и не мог справиться с лицом. Это было выше его сил — лицо не подчинялось ему: оно подергивалось, оно лоснилось испариной отраженного ужаса. Но никто не обращал на него внимания, на это оробелое «спасибо», а губы его все продолжали бормотать никому не нужную благодарность.

«Каким же образом оказался здесь Битвин? Он приехал сюда с друзьями? Понимаю ли я что-нибудь до конца?» — болезненно прошло в сознании Дроздова, и в ту же секунду он столкнулся взглядом со взглядами Сергея Сергеевича и Козина, выразившими разные чувства: глаза Битвина, обежав с ног до головы фигуру Валерии, выразили поощрительное мужское одобрение, молниеносный взгляд Козина ненавидяще прорезал насквозь Дроздова бритвенными лезвиями, и теперь ясно было, что Филимон Ильич не простит ему массажную комнату никогда.

— А знаете, Филимон Ильич, бассейн здесь прекрасен, вы были правы, — внезапно для себя выговорил Дроздов, и непредвиденная фраза была фальшивой, явно подсознательной, но он сказал ее, точно ничего не произошло и ничего неприятного не должно было произойти

между ними в естественной обстановке отдыха. — Да, вы правы: чудесный бассейн, Филимон Ильич.

— Я не говорил ничего подобного, — просипел горловым шепотом Козин и, как окурок, брезгливо ткнул необъеденную утиную ножку в блюдо. Его опущенные щитки желтых век вздрогнули, но не открылись, лицо сузилось, стало вместе с бородкой остроугольным, и Дроздов вновь подумал: «Тут, кажется, мои отношения прояснены исчерпывающе».

— К нам приехал, к нам приехал Сергей Сергеич дорогой!..— по-цыгански упоенно выкрикивал Веретенников и перекатывал лакированные глаза.

— Весьма рад вас видеть здесь, Игорь Мстиславович, — свежим голосом сказал Битвин, энергично подходя с рюмкой к Дроздову и кавалерски склоняя бритую голову перед Валерией. — И вас, очаровательная...

— Меня зовут Валерия Павловна, — подсказала Валерия непринужденно и одарила Битвина светской улыбкой.

— И вас, очаровательная Валерия Павловна, — галантно повторил Битвин, скользя по фигуре Валерии цепким взглядом, и Дроздову показалось, что Сергей Сергеевич либо неумело играет кавалера, либо не вполне трезв.— Надеюсь, вы не плохо чувствуете себя, Игорь Мстиславович, в этом богоданном раю... вместе с Валерией Павловной?..— обратился он не без обычной живости к Дроздову, но в живости этой и в «богоданном раю» был заметный пережим нетрезвого человека, которому необходимо быть трезвым. — Что такое? Что такое? — игриво продолжал Битвин, поворачиваясь к сидящим за столом.— Я стою с рюмкой... а Игорь Мстиславович и Валерия Павловна... Мы должны все сию минуту исправить ошибку!.. Немедленно, будьте добры, наполните рюмки и бокалы!

Вокруг послышались веселые крики: «Рюмки! Девочки, дайте чистые рюмки и бокалы!» — и накатывающейся волной возникло суетливое движение, смешались голоса, смех, умиленные восклицания Чернышова, оглушительно заиграл туш Веретенников, засновали передники официанток, рядами засверкали рюмки и бокалы на подносе. И подле Валерии, лаская хмельной хитрецой всезнающих глаз, возвысилась медведеподобная глыба Татарчука, самолично раскупорившего шампанское; кто-то из новых гостей наготове держал бутылку коньяка, поспешно наполнялись через край бокалы и рюмки на покачнувшемся подносе, который с испуганным смешком еле удержала девица в наколке; Веретенников отчаяннее заиграл туш, отчего бравурно зазвенело в ушах; Битвин, жестом приглашая выпить, поднял рюмку, глядя со значительной серьезностью на ноги Валерии, взявшей бокал шампанского, сказал:

— Я понимаю отлично... Тарутина, который хотел рюмку заменить вашей туфелькой. Где была ваша золотая туфелька, покажите нам.

— Золотых туфелек нет. Имеем спортивные шлепанцы, — засмеялась Валерия и выставила правую ногу в шлепанце — Сказка про Золушку кончилась.

— Жаль, что мы не во всем находим взаимопонимание, глубокоуважаемые коллеги, — проговорил Битвин несоответственно тому, что говорил секунду назад, резко опрокинул рюмку в рот и с молодеческим даже размахом бросил ее, брызнувшую осколками, в пылающий камин.— Рюмки бьют об пол за удачу,— сказал он непогрешимо.— Но сказка кончилась и все вы без туфелек.

Он склонил покрытую испариной голову перед Валерией, нетвердо сделал поворот на каблуках и пошел к столу, где двое из прибывших с ним гостей уважительно подхватили его и псадили на центральное место рядом с молчаливым Козиным. Сейчас же две юные официантки нежными феями появились справа и слева позади него и насупленного Козина, с женственной плавностью наполняя им рюмки. И тут Татарчук, пышущий сквозь мохнатый халат влажным жаром разогретого тела, поддерживая под локти Валерию и Дроздова, повел их к столу, убеждая:

— Сидайте, любезные гости, ще погутарим чуток и дичь попробуем.

— Расслабьтесь, — покровительственно посоветовал Битвин через стол. — Поговорим завтра.

«О чем мы поговорим завтра? И когда он приехал сюда?»

А шум за столом нарастал, становился хаотичнее, горячее, бессмысленнее, все громче гудели голоса, все чаще хлопали пробки шампанского, открываемого кавалергардским мастерством Веретенникова (бутылка юлой раскручивалась на полу, дном ударялась об пол и пробка выстреливала в потолок), все явственнее звучал, рассыпался колокольцами смех девиц в наколках, а их настойчиво и щедро угощали шампанским на разных концах стола, уже разрушенного, залитого, неопрятного,— и в какую-то минуту Дроздов увидел, что Битвина нет за столом, что в самом воздухе что-то изменилось, затуманилось, повернулось, стало дробиться меж бутылок, разрушенных закусок, осовелых лиц, сигаретного дыма, снятых пиджаков, спущенных галстуков, среди разговоров и хохота, между почтительно замерщим в ловящем внимании Чернышовым и сурово-высокомерным Козиным, среди воркующего тенора Веретенникова и раздраженного голоса Татарчука, внушительным стуком пальца по краю стола доказывающего кому-то из приехавших с Битвиным гостей:

— Щука отливает икру в середине апреля! Знать надо! Налим мечет икру в январе. В протоке — там течение, холодная вода — ловля ночью. Он подо льдом нерестится. Знать надо, если уж вы рыбарь галилейский!

— Да я приехал к вам не как на рыбалку, а как в свою душу пришел. Я вместе с Сергеем Сергеевичем...

— Где он? — с неудовольствием спросил Татарчук. — Он мне нужен.

— В массажной, наверно, Никита Борисович. Разрешите позвать?

— Позвать, позвать!

— Мы сейчас уйдем по-английски, — шепнула Валерия. — Сначала я, потом вы. Тихонько и незаметно. По-моему, уже достаточно...

— Умница вы.

Когда через полчаса они спустились с вещами на притемненный первый этаж, Дроздов услышал из-за двери в столовую железно бухающие звуки рока, мужские голоса, женские вскрики и смех и, не одолев любопытства, осторожно приоткрыл дверь. В зале были погашены люстры, горели лишь несколько бра, накрытые прозрачной зеленой материей, и будто в зеленовато-мутной воде двигались, прыгали босиком по ковру в сумасшедшем ритме белеющие фигуры, как ожившие статуи в лунном парке; проступали на диванах полунагие тела, и кто-то огромный в распахнутом халате, с бутылкой шампанского в руке, обезумело вскрикивая: «Раз живем, раз живем!» — глыбой пошатывался посреди танцующих, пытаясь выделывать слоновьими ногами затейливые кренделя.

Битвина здесь не было.

Глава восемнадцатая

Он лежал на краю огромной воронки, ослепляемый раскаленными трассами очередей, пронизающими ночь вместе с окриками немцев. Немцы в рост шли по полю, поочередно проверяя изуродованные бомбежкой позиции орудий, короткими очередями добивая раненых в ровиках. Сначала между очередями доносились стоны, потом стихли, и его дро-

жью била мысль о последних предсмертных секундах, о том, что он остался один в безвыходном положении, что сейчас над ним вырастет фигура в ненавистной каске, роковая настигнет, как удар, команда: «Хенде хох!» — и его поднимут и беспощадно пристрелят на краю воронки, куда он переполз от разбитого орудия.

«Не хочу умирать, только жить... Спаси и пронеси,— начал повторять он про себя то ли слышанную им когда-то в детстве, то ли пришедшую неизвестно откуда молитву, но при опаляющем свете ракеты над головой раздался задохнувшийся крик, топот сапог,. он увидел огромную фигуру, бегущую спереди к воронке, и тогда он, тоже дико крича от разрывающего горло защитного безумия, выпустил длинную очередь в эту глухо екнувшую на бегу фигуру. Немец упал на колени, захрипел, сделал всем телом судорожное движение к нему и, темной грудой увлекая его за собой, обдавая смрадным запахом пота, скатился в воронку. И многотонная обвальная тишина упала с неба, придавила их обоих. И, выдираясь из тяжкой толщи духоты, он услышал мычащий стон, затем воронку окатил огонь ракеты и перед самым лицом всплыло синее, без кровинки, лицо раненого, его жадно хватающий воздух рот, замызганный артиллерийский погон. Блеснула медаль на разорванной пулями гимнастерке, сплошь черной на груди, — и, еще не веря, он узнал того, в кого выпустил очередь. Это был старший сержант Колосков, командир орудия, стоявшего слева. «Ты?.. Меня?..» — с кровавой пеной выхрипнул Колосков и лежа на спине заворочал предсмертно стеклянными глазами, его большие губы, все лицо перекошенное кричало о чем-то, просило сделать что-то, чего не мог сделать сам.

И в ужасе хватая руками его грудь, залитую вязким и теплым, обдающим тошнотно-железистым запахом, он слипающимися пальцами попытался и не находил силы достать индивидуальный пакет или нажать на спусковой крючок автомата, чтобы кончить мучения Колоскова. «Я убил его...» — молотом ударяла в висках, жаркая пелена застилала глаза, и он уже плохо различал фосфорическое сверканье трасс над воронкой, а со стороны немцев приближались голоса, все громче, все оглушительнее, рядом зашелестела трава над головой и разом голоса смолкли... Чьи-то глаза, готовые к жестокости, нацеленно смотрели на него сверху.

И он с тем же криком отчаяния рванулся к автомату, но слипшиеся в крови пальцы обессилели, не смогли поднять оружие, нащупать спусковой крючок, да и диска с патронами не было. Он выронил автомат, впиваясь ногтями в землю, выкарабкался из воронки, сумасшедшими скачками бросился в противоположную сторону — и со всего размаха грудью напоролся на огненную пулеметную очередь.

«Смерть! Кто убил меня?» — мелькнул чей-то крик в ушах в тот момент, когда навстречу копьем вылетела пулеметная очередь с бруствера окопа и в красных вспышках запрыгало искаженное ненавистью и смехом, страшное стеклянными глазами лицо Колоскова, прижатое сизой щекой к ложе. — «Как он оказался за пулеметом? Ведь он мертв. Он мстил мне?» И с меркнущим сознанием он еще корчился, силился вытащить огненное копье из груди, застрявшее в ребрах, а когда с хрустом вытащил окровавленное острие и отбросил его, сверху из темноты нависло, загораживая звезды, толстое, распаренное лицо с обворожительной улыбкой убийцы, сосискообразные пальцы протянулись к его горлу, и, истекая кровью, подброшенный какой-то чудовищной силой, он встал на колени, а лицо смело придвинулось, выжидая с враждебной самонадеянностью: «Ну, что, подыхаешь, герой? А надо бы всем вам!..» «Ах, ничтожество!» Он вскрикивал, матерился, взвизгивал даже, ударяя с наслаждением по этому большому мясистому лицу, по этим маленьким звериным ушкам, но лицо не отклонялось, не изменяло выражение, непробиваемо добродушное, только ушки порозовели, покрытые каплями, а сосискообразные пальцы тянулись, клещами охватывали его горло. И умертвляемый железными пальцами, он никак не мог высвободиться и дышал тяжко, с хрипом (а язык, толстый, неподатливый, удушливым комком выдавливал мычание), беспомощный выхватить из памяти вспыхивающие зелеными огоньками жалкие осколки мольбы: «...Предали... Я умираю...».

С отвращением к самому себе, к своей жалкой гибели, к своей беспомощности, он стал вырываться изо всей силы из удушающих клещей, выталкивая грудью неистовый крик борьбы.

И в эту секунду Дроздов очнулся, вырвался из сна, уже наяву слыша стон, животный, раздавленный...

«Это ведь кричал и стонал я... Что это было — предсмертный страх?» И еще чувствуя тиски чужих пальцев на горле, овлажненную пóтом подушку, он открыл глаза, медленно соображая, что он у себя дома, а вокруг глубокая ночь, недвижная темнота, ветер за окнами, гудит балкон и светлеют шторы от дальних уличных фонарей.

«Нелепость, невроз! Мне снятся военные сны отца, о чем он рассказывал матери. Неужели повторяются кошмары, что были после смерти Юлии? Но что-то случилось вчера... Что-то неприятное, скользкое... Когда я вернулся домой?..»

Он сел на диване — в тишине смежной комнаты звонко щелкнул выключатель, зажегся свет яркий, резкий, упавший прямоугольно в его комнату, послышался шорох одежды, шаги, он быстро посмотрел, охолонутый знобящей мыслью о галлюцинации: «Не схожу ли я с ума, ведь так входила Юлия...» И, увидев в проеме двери фигуру Валерии в халате, он с полной ясностью вспомнил, что поздно ночью приехал из-за города в Москву вместе с ней, не дожидаясь утра в «охотничьем домике». О своем отъезде они не сообщили никому, кроме сторожа, боксерского склада мужчины, выпустившего машину после обманной фразы Дроздова: «Вызывают в Москву срочно». А потом ехали до города на большой скорости, изредка обмениваясь в темноте машины беглыми взглядами, и тогда он говорил чересчур спокойно: «Никакой паники. Все великолепно». А она отвечала ему согласно: «Я не паникерша. Все чудесно». Потом, перебарывая молчание, он спрашивал со злым ободрением: «Ну, что теперь мы будем делать?» И она отвечала безразличной улыбкой: «Молча презирать. Другого не дано. Они сильнее».

В машине, слава богу, она не видела отчетливо выражения его лица, не видела, как он морщился, вспоминая о той вежливой «интеллигентской» улыбке, какая, наверное, выкраивая внимание, наползала на его лицо во время общения с Татарчуком в том длинном обволакивающем разговоре, и его все сильнее охватывала душная тоска, будто совершил постыдную ошибку.

«Что-то случилось вчера отвратительное...».

Он лежал на диване, чувствуя, что Валерия, стягивая шнурки халата (как в том немыслимом «охотничьем домике»), стоит в проеме двери, прислушивается и не входит, разбуженная, видимо, его стоном во сне. «Значит, она ночевала у меня?» Уже на окраине Москвы, когда он предложил ей не ехать через весь город на Таганку, а до утра остаться у него («просто как поздний гость у старого приятеля»), и когда она согласилась, он подумал, что после прошлого дня, вечера и ночи, после всего ошеломительного, неопрятного, увиденного ими в «охотничьем домике», она в чем-то приблизилась к нему, но теперь в этом не было той пляжной кокетливой игры, занимавшей их обоих, а было иное, имевшее вкус подслащенной горечи.

— Я знаю, вы не спите, — сказала тихо Валерия и, заслоняя свет из другой комнаты, бесшумно подошла к дивану, опахнула домашним теплом халата. — Мне показалось, вам снился страшный сон. Вы стонали...

— Сон? Что-то в этом роде,— пробормотал Дроздов.

Он лежал на спине, смотрел на нее. Она стояла над ним, касаясь коленями дивана.

— Валерия, — позвал Дроздов и, не двигаясь, вообразил солнечный жар моря и гладкий загар ее плеч, ее спины, когда она входила в воду, разгребая ногами у берега шелестящие по гальке волны в далекий крымский день.

— Валерия — это я...— Она наклонилась над ним, и, не видя ее лица, как бы ослепленный нескончаемым блеском полдневного южного моря, он зажмурился от непостижимого, казалось, насмешливого переливчатого свечения ее близких глаз.— Ну, что? — повторила она шепотом.— Я знаю, что вы хотели сказать...

— Что я хотел?

— Вы хотели сказать, что вам не по себе, чтобы я легла рядом. Правда?

— К черту «вы», «он», «она», «они»,— заговорил Дроздов с полусердитым, полувеселым отрицанием.— Нам давно бы стоило перейти на другую форму обращения. «Ты» — это не так уж плохо.

— Ты и я,— ответила она, не отклоняясь, и в темноте ее шепот опять дыханием согрел его губы.— Это звучит неплохо, но...

— К черту все эти «но»...— Он обнял ее, бережно притягивая к себе, а она, поддаваясь его рукам, опустилась у дивана на колени, придавливаясь щекой к его груди, пряча губы, а он, гладя шершавый ворс халата на ее плечах, попросил ссохшимся голосом: — Так неудобно нам обоим. Ложись со мной. И сними этот халат. Он колется как еж.

Он слышал, как зашуршал ее халат, сброшенный на пол, как мягко стукнули по полу скинутые с голых ног тапочки и долгое прохладное тело прижалось к нему сбоку, легкая, тоже прохладная рука несмело скользнула по его груди и обняла. И робкий голос («не ее голос») дрогнул возле его подбородка:

— Что касается меня — это безнадежное дело. У нас ничего не получится. Давай просто полежим. Так будет хорошо. Ты можешь просто лежать вместе со мной — и больше ничего?

— Нет, не могу.

— А в Крыму ты был сдержан, как афонский монах.

— Тогда я был глупец.

— А сейчас? Мудр или глуп?

— Немного поумнел.

Он повернулся к ней, нетерпеливо охватывая ее всю, чувствуя холодок неподатливого тонкого тела, ее груди, ее ног, нашел ее губы, в непонятном сопротивлении ускользающие, потом, задыхаясь, отворачивая голову, она выговорила срывающимся шепотом:

— Да что же это такое? Я не могу...

Он, целуя ее в висок, в шелковистую бровь, попытался снова найти ее губы, а она, будто ей было больно, тихонько отстранялась, выгибаясь, в то же время все крепче обнимая его, вдавливаясь сдвинутыми дрожащими коленями, и повторяла одним дыханием:

— Подожди же чуточку... Я не могу сейчас. Ты меня так целуешь, что мне почему-то страшно. Полежи со мной просто как друг. Или — как хорошая подруга. Может, мне уйти, так будет лучше? Мы успокоимся — и опять станет как было.

— Станет как было?

— Скажи, мы никого не предаем? Послушай, какой ветер...

Он лег на спину и с закрытыми глазами молчал, оглушенный навалом ветра, одичало захлопавшего по карнизам, засвистевшего в перилах балкона; там что-то упало, и в свисте, в гуле почудилось: понесло холодком от балконной двери.

— Ветер, ветер на всем белом свете, — проговорил он, переводя дыхание.— Когда мы ехали по шоссе, иногда было такое ощущение, что машину сносит и валит в кювет. Ты не боялась?

— Нисколько. — Она вздохнула, вжалась затылком в подушку, вытянула вдоль тела руки. — Откровенно, было не по себе в «охотничьем домике». Как будто увидела фильм об итальянской мафии. Роскошь, пышность, изобилие еды, дорогие вина... Какие-то смелые девицы. Плавала совершенно одна в бассейне, в доме ни звука, и было жутковато. А на озере ветер и деревья шумели. Потом пришел ты, как спасение. И эта оргия. Какая-то Афинская ночь... Не могу отделаться от мысли, что мы совершили ошибку. И наверно, по моей вине.

— Я хотел, чтобы мы совершили глупейшую ошибку, — сказал он и шутливо, и ласково и оперся на локоть, глядя на ее лицо, слабо освещенное отдаленным светом из другой комнаты, на ее губы, которые только что сопротивлялись и отдавались ему одновременно. Он улыбнулся и невинно потерся носом о ее висок, улавливая терпковато-хвойный запах ее волос, проговорил, в задумчивости отваливаясь к стене: — Уже второй месяц мы ведем какую-то странную не то борьбу, не то игру. Начал ее я. Но ответь мне, если можешь. Неужели, Валерия, у тебя такая неиссякаемая настороженность ко мне? Что же мне делать теперь, если я кончаю дурацкую игру с собой и с тобой. Меня просто тянет к тебе. Как мальчишку.

Она чуть-чуть свела брови, слушая его, осторожно сказала:

— Дивноперые птицы — это мысли твои. Но... пойми, я не хочу тебя обманывать. Подожди. Я привыкну. Потом. Потом я сама...

Ветер с пронзительным гулом, с дребезжанием железа на крыше, с писком в антеннах наваливался на балкон из беспредельной пучины осенней ночи, и на мгновение представилось, что комната зыбко качается в ненастном небе, взмывает и падает с высоты.

«Игра кончилась вчера... — думал он под неистовые удары и налеты ветра, вспоминая попытку того приятельски возможного поцелуя, когда по матовому коридору шли из бассейна в столовую сауны, откуда звучали пьяные голоса, гремело пианино, а она пообещала, что спасет его за послушный поцелуй в уголок рта. Но она так и не сказала позже, от чего и от кого хотела его спасти. «К нам приехал, к нам приехал Сергей Сергеич дорогой!..» Голоса, крики, бравурные аккорды, хохот — от этого спасти?» «Рюмки бьют на счастье, а у вас туфелек нет...» Да, тогда необходимо было спасение от того давящего безумством блаженства в каком-то фантастическом мире, от липкого запаха распаренных эвкалиптовых листьев, от коварного Татарчука, то и дело меняющего окраску голоса и выражение лица, отчего крошечные звериные ушки прижимались к черепу, и нужно было спасение от того страшного крика Козина («Кто там?»), вскочившего на ковре как коричневый скелет, около ног которого отшатнулась женская фигура; спасение от жалких слез по-собачьи заискивающего Чернышова, от заваленных снедью, рыбой и жареными утками столов, от хлопанья пробок шампанского, от всего неудержимого, пьяного, безобразного, хаотично раздробленного и соединенного чугунным буханьем радиолы, женским смехом, визгом в притемненной столовой, где в сигаретном дыму, в розовых полосах бра прыгали, извивались пары танцующих, на диванах белели полунагие тела, а медведеподобный Татарчук с бутылкой шампанского, обнимая двух девиц в наколках, топтался на ковре, грузно вскидывал ногами, сипло выкрикивая «Раз живем! Раз живем!»

Валерия не видела этого позднего разгула в столовой сауны, когда из номеров спустились на первый этаж, по-ночному пустой, с погашенным везде электричеством. Она первая поспешила к выходу, услышав музыку, голоса из-за стеклянной розовеющей светом двери, боясь, по-видимому, что их увидят, задержат. Но, уже выехав на шоссе, он понял по ее взгляду, что она вполне догадывалась, что за общения у него были в сауне, зачем их обоих пригласили сюда, к всесильному и хлебосольному Татарчуку, перед которым при его связях, в сущности, не было никаких препятствий, кроме маломощного Института экологических проблем, этой соломинки в колесах тяжелотонно грохочущего поезда. Но почему приехал туда Битвин? В чем была цель его приезда? Он ни слова не сказал по делу. Его учтивость по отношению к Валерии, его панибратская доброжелательность, недолгое присутствие за столом и его избыточная возбужденность — что это? Что создавало у него нервозное оживление? Не похож был он, вовсе не похож на того внимательного к радостям и слабостям людским Битвина на вечере у Чернышова и на того «прогрессивного», энергичного заговорщика в своем кабинете на Старой площади.

По дороге в Москву машину качало на шоссе, бешеные напоры ветра ощущались через руль, дуло в невидимые щели свистящими струйками холода, печка не работала. Валерия куталась в воротник плаща, поеживала плечами. У самой Москвы, попросив у него сигарету, она сказала строго, отворачиваясь к окну: «Они сильнее». Он не ответил. «В этом была ее тревога? Предупреждение? Что она подумала, когда сказала эту фразу? Она ведь не была в сауне, не слышала ни Татарчука, ни Козина. О чем она сейчас думает, мучая и меня, и себя?»

От свирепого порыва ветра зазвенели стекла балконной двери, и Валерия зябко втянула воздух сквозь зубы, как если бы сквозняки задели холодком ее лицо, сказала вздрагивающим голосом:

— Тебе не дует от балкона? По-моему, ветер качает дом. Как и наш «жигуленок» на шоссе.

— Бог с ним, с ветром.

— Мне холодно,— прошептала она.— Меня начинает трясти. Наверно, я заболеваю.

Она лежала рядом с ним, не касаясь его, но он вдруг почувствовал ее дрожь, передававшуюся ему как болезненный озноб, и непонятной жалобой дошел до него ее голос, кого-то просящий о защите, в которой она никогда не нуждалась:

— Хотелось бы мне отречься... Но скажи — как?

— От чего, моя милая Валерия? — сказал он, сжатый грустной нежностью к ней.— И надо ли отрекаться?

— Пока мы любим, высшей справедливости в мире нет, — ответила она, стуча зубами и смеясь, защищая этим смехом то, что хрупко надломилось, ослабло в ней.— Никакой справедливости... и никакого смысла... Я лежу с тобой, дрожу, как кошка, и боюсь...

— Чего ты боишься?

— Помолчи. Закрой глаза. И подчиняйся мне. Иначе я превращусь в серо-буро-малиновую кошку и убегу дрожать в соседнюю комнату.

— Я подчиняюсь...

— И молчи, молчи.

Она приподнялась, легонько легла ему на грудь, и ее губы потерлись о его губы, сначала осторожно, скользящим, каким-то растерянным детским прикосновением, и словно осенний ветерок исходил от ее стучащих зубов; потом губы ее обрели жизнь, потеплели, начали вжиматься сильнее, нетерпеливее, и, потрясенный ее неумелыми поцелуями, он услышал робкий стон: «теперь ты поцелуй меня»,— и, не отпус-

кая ее ставший упругим и жадным рот, обнял за спину, но она высвободилась, упала навзничь, попросила задохнувшимся шепотом:

— Обними меня сильнее... Я хочу, чтобы теперь ты обнял меня.

— Милая моя Валерия. Но что же мне делать с твоими ногами, если ты их сдвигаешь?

— Я сделаю, как ты хочешь...

Ветер проносился над крышей, разрывался о телевизионные антенны, визжа тоненькими струнами, завиваясь в небе воющими спиралями, глухо и обвально бил порожними бочками в стены, в стекла балкона, сотрясая спящий многоэтажный московский дом, а они лежали на боку, обнявшись в изнеможении, касаясь носами друг друга, неудовлетворенные, полностью не узнавшие той близости, которую в долгом борении хотели он и она, о которой, быть может, думали там, в Крыму, в безмятежную пору лета...

Он почувствовал, что она неумела, неопытна, скованна, не похожа на совсем другую Валерию, не умевшую быть растерянной, независимую на людях, вызывающе современную, со своей безбурной улыбкой всезнающей эмансипированной женщины, со своей милой насмешливостью. А она была робка, стеснительна, она опять прятала губы, прижимаясь к его шее то одной щекой, то другой, мягкие волосы ее мотались по его лицу, обдавая сладковатой терпкостью, она дрожала всем телом, выгибалась, будто хотела вырваться из его объятий, а когда все кончилось и она затихла, слабо вздрагивая, казалось, во сне, он долго лежал молча, всматриваясь в ее лицо, белеющее в темноте, новое, непонятно почему страдальческое.

Он повернул ее к себе, кончиком носа приник к ее носу. Она по-прежнему не открывала глаз, только брови ее чуточку сходились морщинкой на переносице.

— Прости, мне показалось...— сказал он с виной и невольным раскаянием,— у тебя что это — первый раз?

Она шевельнула губами:

— Почему «прости»?

— Мне показалось.

— Я научусь,— прошептала она.

— Я не понимаю.— Он ласково потерся носом о кончик ее холодного носа.— Прости, ради бога, но ведь ты была замужем?

Она ответила с закрытыми глазами:

— Три часа. Тысячелетие назад.

— Я понимаю. Ты шутишь?

— Нет. Мы пробыли с ним три часа, потом я сказала, чтобы он уходил. Навсегда.

— Почему?

— Все, что он делал, было очень грубым. Мне было стыдно. Я не хочу об этом помнить,— сказала она, и он почувствовал в ее ровной интонации отвращение.— Чтобы все было ясно, могу исповедаться, хочешь?

— Я не могу требовать исповеди. Зачем?

Она продолжала шептать ему в губы:

— Нет, все-таки ты хочешь знать, был ли кто-нибудь со мной еще? Никого. Кроме подруг, которые безгрешно оставались иногда у меня ночевать. Но это женские сантименты, милый Игорь. Это совсем другое... Какой ветер, какой ветер!..— сказала она, припадая лбом к его подбородку.— Да, да, как в революцию. Ветер, ветер на всем белом свете. Может, мы переживаем в душе тихую революцию? Ты знаешь, я часто думаю вот о чем. Кто предал себя, того самого предадут. Это законы жизни...

— Не понял. Объясни.

Она, не отвечая, откинулась затылком на подушку. Он подождал немного, спросил шутливо:

— Кого ты имела в виду в составе этой серьезной формулы?

— Себя и тебя... Ты никого не предаешь? — услышал он ее измененный молчанием голос. — С точки зрения женщин ты образец положительного мужчины. — И между гулкими обвалами ветра, когтями зацарапавшими по стенам дома, она грустно сказала в темноту: — Нет, ты не предаешь. В этой любви ты любишь Юлию, а не меня. Мне даже послышалось, что ты произнес ее имя, когда обнимал. Может, мне показалось. Но я покорюсь, покорюсь. В этой, прости, любовной истории с тобой я не нашла места для себя. Но у меня уже нет тщеславия...

Он, встревоженный ее ревнивым чутьем и ее готовностью к покорности несмотря ни на что, не разубеждал ее в том, в чем не было сил разубеждать без грубой лжи, — и он сказал с той прямотой, в которую она должна была поверить:

— Я не хочу, чтобы ты ревновала меня к Юлии. Мы не имеем права об этом...

— Я тоже не хочу... Я не бессмертная среди смертных, я знаю, что твоя любовь к жене не беспамятна, а говорю тебе ужасные вещи! — сказала она, и в ее голосе задрожали злые слезы. — Ты меня не слушай и не говори ни слова! Все это муки злой и ревнивой дурёхи! Я знаю, что страдания учат человека любви. Научи меня, я не умею...

— Этому учит...— попробовал он снова пошутить и, не давая Валерии досказать, привлек ее к себе,— изгнание из рая...

— Пусть так, пусть!.. — Она мягко отвела его руки, подняла голову и прислушалась. — Откуда такой ветер? Действительно, из ада или из рая? Даже жутко как-то...

И в эту минуту глубокой осенней ночи, бушующей в беспробудной Москве, сотрясающей деревья бульваров, уже дочерна ограбленных северным ветром, с визгом и скрежетом, мотающим в провалах улиц редкие фонари, в эту минуту, когда под верховыми ударами черные стекла металлически гудели, стонали, сопротивляясь напору из последней силы, Дроздов вспомнил мучивший его под завывание непогоды кошмарный сон, увидел темную штору, покачивающуюся на сквозняках над дверью балкона (покачивались только ее железоокруглые складки), отчего Валерии, должно быть, стало как-то жутко, и неожиданно пришла поразившая его мысль: за этими, похоже, железными складками все кончалось и все начиналось, но начиналось то, что потягивающим ознобом боли посасывало в душе.

— Под Красноярском осенью, — зачем-то сказал он, — бывали такие дикие ветры, что стряхивало белок с елей, а сорванные птичьи гнезда, как шапки, лежали под деревьями. Я был тогда молодым инженеришкой, ходил по берегу Енисея и в непонятном восторге орал во все горло: «Ветер, ветер, ты могуч!..» Был, конечно, отчаянным балбесом и примерным оптимистом. А почему ты подумала о тихой революции? Ветер — искушение революции и мы? Мне ясно одно, что тихие и громкие революции в душе не кончаются раем. Я не хочу в рай, Валери. Я хочу, чтобы ты просто лежала со мной и я видел тебя...

— А если действительно это ветер из ада? — повторила она тихонько. — Как дьявольское наказание нас обоих... Но знаешь — я теперь не боюсь. — Она смешливо наморщила переносицу. — Пусть греху учит дьявол. Скажи, кто ты — дьявол или ангел?

— Разве это имеет значение, — сказал он, обнимая ее. — Никакого.

— Все, все имеет значение. Даже то, как ты обнимаешь меня. Нет высшей справедливости в мире, когда любят. Я это знаю. Но у тебя ко мне другое...

— Милая ты моя Валери. Разве мы знаем, что это, «другое»? И что — «не другое»!

— Я хочу твоей защиты. И справедливости. Хотя это невозможно. Все, чему меня учили в любви,— ложь и мерзость!

Уснули они только под утро, но сон его был непрочен, и сквозь тонкую дрему он чувствовал покорное тепло прижавшегося к нему женского тела и даже в забытьи пробовал логически объяснить себе, почему все случилось именно этой ночью, почему она сказала, что сегодня между ними произошло необычное, несправедливое, дьявольское наказание их обоих, хотя в сущности произошло то, что должно было произойти рано или поздно. «Все, чему меня учили в любви, — ложь и мерзость!» — всплывало и повторялось во сне ее признание и, разом прорывая пленку забытья, стараясь не разбудить ее, он с туманной тревогой приподнялся на локте, долго глядел на ее лицо, затушеванное полутьмой, ставшее от этого юным, беззащитным, доверчивым. «Кто ее учил лжи? Муж, с которым она пробыла три часа? Лжи и мерзости в любви? Видимо, ее кратковременный муж принял ее живой нрав за нечто другое».

Она раскрыла глаза, точно не спала ни минуты, и уголки ее губ изогнулись в мягкой улыбке.

— Почему ты так внимательно смотришь на меня? — спросила она совсем не сонным голосом. — И лицо у тебя стра-анное...

— Разве ты не спала? Или я разбудил тебя?

— Телефон, — сказала она, озорно взлохмачивая волосы на его затылке. — Кто-то из твоих знакомых страдает бессонницей и звонит тебе ночью, а ты лежишь с женщиной... которую... как можно назвать? Лю-бов-ница. — Она тихо засмеялась.

Телефон трещал в другой комнате, на его письменном столе, где всю ночь светила включенная настольная лампа; и хлопанье ветра, и этот посторонний, назойливый звук, вонзавшийся в тишину квартиры, и первая мысль о Мите, о его болезни (что никогда не забывалось) — все соединилось шершавым беспокойством в его сознании. Но в то же время, когда по косой полосе света он шел в другую комнату, а потом под лимонным кругом настольной лампы увидел телефонный аппарат, исторгающий длинными очередями раздражающий треск, мысль мелькнула о тех ночных звонках, впервые в жизни так прямо и обнаженно напомнивших ему, что не весь мир желает ему здоровья и добра.

Он снял трубку, сказал, понизив голос:

— Да.

— Игорь Мстиславович, — пропела танцующим тенором трубка через ползучие шумы и бульканье далекой связи. — Завтра утречком вам вручат телеграмму.

— Какую телеграмму? — выдохнул он хрипло, уже нисколько не сомневаясь, что этот танцующий то ли женский, то ли мужской, то ли бесполый голос — продолжение тех угрожающих анонимных звонков.— Откуда телеграмма? — повторил он.— Ну? Говорите!

— С вашим дружком случилось несчастье.

— С кем? С кем?

Он стоял, ждал, сжимая трубку, откуда раздавались частые гудки.

Глава девятнадцатая

Телеграмма пришла в институт на его имя. Ее поверх бумаг положила на стол обморочно бледная секретарша Любочка, взглянула на Дроздова перепуганными глазами и заспешила, застучала каблучками из кабинета, наклоняя лицо.

Он дважды прочитал телеграмму и вдруг, потеряв власть над

собой, изо всей силы ударил кулаком по столу, так что подлетели бумаги, выговорил со злостью:

— Быть не может! Ошибка! — Он рванулся рукой к телефону, но мгновенно передумал и крикнул в сторону двери: — Любовь Петровна, зайдите ко мне!

И вновь перечитал текст телеграммы:

«Тарутин трагически ушел из жизни. Не знаю, что делать. Не могу связаться телефоном. Улыбышев».

Любочка, по слухам, тайно влюбленная в Тарутина, вошла, пошатываясь на спичечных ногах, словно подламывающихся на каблучках сапожек, некрасивая своей худобой, плоской грудью, окончательно сглаженной мальчишеским свитером. Она всхлипнула, растянула большой рот.

— Игорь Мстиславович, вы помните что Николай Михайлович говорил в последнее время? Я помню: «через десять лет конец жизни на Земле. И всем нам». Он предчувствовал свою смерть, предугадывал...

— Дорогая Любочка, — прервал Дроздов, чтобы не давать волю чужим и своим чувствам. — Чаще он говорил другое: «Хочется дать кому-то по морде, но не знаю точно кому». Это получше. Так вот что, Любочка дорогая. Вытрите слезки, садитесь за телефон и соединяйтесь с Чилимом, чего бы вам это ни стоило! Георгий Евгеньевич у себя?

— Георгий Евгеньевич уже знает. Он потрясен. Горе, какое горе!.. Он предугадывал, предчувствовал свою смерть!..

Дроздов взял телеграмму со стола, вышел следом за Любочкой в приемную, безлюдную по-раннему, всю озаренную октябрьским солнцем сквозь нагой бульвар за окном, толкнул обитую пористой синтетической кожей дверь в кабинет Чернышова.

Георгий Евгеньевич, как всегда, в темном костюме, в свежей сорочке с бабочкой на шее, сидел за столом своего маленького, устеленного мохнатым ковром кабинета и пил боржом длинными глотками; одутловатые щеки, аккуратно выбритые после вчерашней беспутной ночи, мелово белели пятнами пудры, его непроспанные, с краснотой глаза обволакивали Дроздова вопросительно-плачущим выражением. Он не допил боржом, поставил стакан на папку, завязанную золотыми тесемочками, выскочил из-за стола и, приземистый, тряся головой в бесслезных рыданиях, обнял Дроздова с порывом соучастия, сунулся влажным ртом к его щеке.

— Кто мог подумать, кто мог предположить! Кто послал на нас это несчастье, Игорь Мстиславович! На нас обрушилась беда! Несчастье!.. — выговорил он, кривя лицо, и Дроздову почувствовался сладковатый запах спрея изо рта, смешанного с коньячным перегаром.

— Вы читали телеграмму? — сухо спросил Дроздов не в состоянии забыть вчерашнее прибитое лицо Чернышова, его унизительную истерику в сауне. — И никаких сведений у вас больше нет?

— Я люблю вас, Игорь Мстиславович, вы талантливый, вы надежда наша,— заспешил Чернышов и, охватив Дроздова за талию, потянул его к креслу. — Я знаю, знаю, что у вас с Николаем Михайловичем были старые дружеские отношения, так поймите, в этом горе я вместе с вами. У меня даже сердце прихватило, когда эту телеграмму показали... Любочка пробовала вызвать Чилим. Безрезультатно... Несчастье, беда! Давайте сядем, подумаем, что нам делать, как нам быть сейчас!..

— Что делать сейчас — мне ясно, — сказал Дроздов, не садясь в кресло, пододвинутое Чернышовым, и заговорил с видом нескрываемой досады: — Что можно придумать тут, сидя вдвоем? Мы не знаем, что случилось в Чилиме. Нам фактически ничего неизвестно. Абсолютно. Как, где он погиб? Что произошло?..

Чернышов, завернув полу пиджака, прикладывал пухлую руку к облегающей круглое брюшко жилетке, там, где должно быть сердце, и, моргая воспаленными веками, повторял:

— Роковой, коварный Чилим... Болит, ноет сердце. Не могу представить, что Николая Михайловича нет в живых. Умница, философ, талант с поразительными странностями, как у всех талантливых людей. Какого светлого, какого прогрессивного человека мы потеряли!.. Не все безобидно выходило у него. А он боролся с темными сторонами в нашей науке...

—Светлого, темного — что за слова?.. Для чего эти вздохи, Георгий Евгеньевич? — сказал недоброжелательно Дроздов, не забывая омерзительное безволие Чернышова в сауне и в то же время проклиная себя за возмездную злость к его слабости. — К чему тут всякие дурацкие вздохи и стенания! — продолжал он, не справляясь с раздражением.— Надо сию минуту связаться с Чилимом и принимать решение. Наверно, надо лететь в Чилим. И немедленно.

— Кому лететь? Мне? — оробело спросил Чернышов.

— Не вам, ясно,— успокоил раздраженно Дроздов.— У Тарутина — никого из родных. Ни отца, ни матери, ни жены.

— И что же? Как?

— Полечу я.

Держась за сердце, Чернышов присел на подлокотник кресла, припухлые веки его продолжали моргать, как в ожидании подступающего страдания, и он неожиданно спросил убитым голосом:

— Вы меня презираете, Игорь Мстиславович?

— А зачем вам это знать? У нас служебные отношения — и того достаточно.

Глаза Чернышова заплакали без слез, а полнощекое лицо силилось выразить невыносимую муку.

— Не надо меня презирать, вы не правы, я хочу всем добра. Я никому ничего плохого не сделал. Я могу поклясться памятью матери! За всю жизнь ни одному коллеге, ни одному я не причинил зла. Я преданно служил академику Григорьеву...

— Это не так! Лжете! Просто нечестно! — отрезал взбешенно Дроздов. — Преданно вы стали служить другому академику... А, к черту! («Стоп, стоп! Кажется, я как с цепи сорвался! Нервы здесь ничем не помогут!») О чем, собственно, вы начали разговор? Я не намерен его вести сейчас.

— Игорь Мстиславович! — вскричал, страдая маслено-влажными глазами Чернышов, обеими руками схватив Дроздова за руку и вроде бы порываясь поцеловать ее. — Не убивайте у меня последнюю надежду! Вы талантливы, вы еще будете академиком, а я... бездарен, да, бездарен по сравнению с вами. Я крошечный, а вы большой... Это мой последний шанс, единственный!.. Откажитесь, миленький, откажитесь, ради человеческого милосердия!.. А я буду слушаться ваших советов... Я буду вам служить верой и правдой! Вам служить!..

Дроздов вырвал руку из тесных объятий чернышовских ладоней, выговорил:

— Ну что вы порете? Я не отбираю у вас кресло.

— Другие хотят, мне известно... Вы же слышали вчера... Меня унижают на каждом шагу. Меня втаптывают в грязь. Меня некому защитить. Только один Федор Алексеевич мог, только он...

— Подите вы молотить свою чепуху... куда подальше! О чем бормочете? — выругался Дроздов, со всей ясной и непоправимой реальностью возвращаясь к телеграмме Улыбышева, к тому, что случилось в Чилиме с Тарутиным. — Прошения не прошу. Потом как-нибудь. Если призовет господь бог. А в Чилим полечу я.

Он пошел к двери по ворсистой дорожке, называемой в институте «чернышовской тропой», пошел в полной тишине, не слыша свои

шаги, но около самой двери что-то остановило его анойким толчком подсознания.

Он обернулся, как на окрик, однако ни звука не было за спиной. Чернышов стоял сбоку кресла, скрестив на груди руки, низкорослый, толстый в плечах, и смотрел на него холодными жесткими глазами, в которых меж опухлых век проблескивала ненависть. В ту же секунду взгляд его сник, переменился, принял сладкую обволакивающую сердечность, бесхарактерную женскую податливость, и он сказал горестно:

— Неужели в Чилиме случилось то, чем в последнее время, к несчастью, был болен Тарутин. Навязчивая идея. Бедный, он в «дипломате» носил веревку.

— А человек вы страшненький, — вдруг проговорил Дроздов с вновь вспыхнувшим бешенством. — Жалкий, но страшненький.

— Ах, зачем, зачем опять вы меня обижаете? За какие грехи? Что я наделал? — вскричал плачущим голосом Чернышов. — За что вы со мной так жестокосердны?

Дроздов вышел.

Только через час связались с Чилимом (где-то там в таежных дебрях был непорядок с телефонными линиями), не без тяжких усилий нашли при помощи работников почты Улыбышева, оказавшегося почему-то в поселковой милиции. Но эта великим упорством добытая связь, прошиваемая треском электрических разрядов, звоном, завыванием, непрерывным нарастающим дребезжанием, не дала возможности выяснить ничего толком, лишь усложнила то, что надо было узнать. Слабый голос Улыбышева появлялся и пропадал из шумящего звуками небытия и глухо рыдал, выкашливая и сминая неразборчивые фразы, из которых мутно угадывались отдельные слова: «двое стреляли... костер... выясняет милиция... предварительное следствие... что делать...» Он не слышал вопросы Дроздова, и тогда Дроздов стал кричать ему, чтобы оставался на месте, никуда не двигался, что первым самолетом он вылетает из Москвы в Иркутск, а оттуда доберется до Чилима местным рейсом. Достиг ли его крик до слуха Улыбышева, уяснить было невозможно, потому что несовершенная эта линия в тайге настолько заполнилась бесовскими взвизгами, хлопками, бульканьем немыслимых, неземных шумов, что Дроздов бросил трубку, весь взмокший после несуразного до дикости разговора. Этот рыдающий лепет Улыбышева ничего подробно не прояснил и ничего детально не опроверг (в сознании Дроздова до связи с Чилимом еще не пропадала надежда на то, что телеграмма ошибочна), но несомненно было другое — лететь надо было немедленно.

«Валерия узнает об этом сейчас... — соображал он. — Через полчаса в институте все будет известно. Может, взять Валерию с собой? Николай был и ее другом. Где мы будем его хоронить? Там? В Москве? Это должны решить мы. Его друзья. Если нас можно назвать его друзьями».

— Игорь Мстиславович...

Он потер кулаками виски.

В дверь кабинета заглянуло испуганное, белое, как голубиное яйцо, личико Любочки.

— Игорь Мстиславович... Вы кончили?

— Связи фактически не было.

— Еще раз попробовать? Еще...

— Это бессмысленно. Вот что, Люба, позвоните в Аэрофлот и узнайте, какие есть сегодня рейсы на Иркутск. Мне нужно два билета.

— Два?

«В самом деле, — подумал он с насмешкой над собой. — Почему два? Согласия ее не было».

Глава двадцатая

Пять с половиной тысяч километров (через Омск) летели до Иркутска около семи часов, затем на переполненном местном «Иле» (с тремя посадками) миновали полуторатысячное пространство над тайгой, затем в Тангузе пересели на двенадцатиместный «АНТ-2», имеющий в народе название «керосинка», и два часа неумолчного тарахтенья мотора, качки и ныряния в воздушных ямах закончились наконец приземлением посреди травянистого поля на окраине Чилима.

Когда добрались до гостиницы в поселке, что походила на длинный двухэтажный барак, с пожелтелым треснутым зеркалом в вестибюле, с неизвестным чахлым растением, произрастающим из деревянной бочки сбоку зеркала, когда поднялись на второй этаж в забронированный не для них, а для приезжего строительного начальства номер «люкс», обставленный громоздким шкафом, диваном, двумя железными кроватями, столом с графином и двумя гранеными стаканами, в голове еще не утихал сатанинский грохот и треск моторов.

Это все-таки была достаточно сносная обстановка на твердом месте после нескончаемых часов пребывания между небом и землей в полудремоте, близкой к забытью, после боли в ушах при изменении высоты, безмерной усталости от неудобного сидения в креслах, пересадок, выгрузок, ожиданий и погрузок на местных аэродромах — оба они, разбитые, измотанные физически, как только вошли в номер, сразу же, бросив у двери рюкзаки, скинув куртки, повалились поверх тонких солдатских одеял на железные кровати, и Валерия, расстегивая молнию свитера, сказала шепотом: «Как на земле хорошо». И он ответил ей тоже шепотом: «Нам надо отлежаться хоть час».

...А был солнечный день, просторный, осенний, под ними текла, поворачивалась червонным золотом и стояла на месте без начала и края лесная пустынность, изредка внизу перемещались внутри тайги, сверкали зеркалами плоскости озер, возникали из багряно-золотой беспредельности серебристые извивы рек, тянулись, уходили куда-то в солнечный туман, на север, в широких коридорах таежных вырубок. В последние годы он много раз летал над Сибирью, и особенно зимой, видел это колдовское единообразие тайги с черными, более и более увеличенными ранами, разъятыми в белом теле гигантскими безднами вырубок, всегда обостряющими неведомую ему раньше боль: что ж, через десять-пятнадцать лет тайгу превратят в мусор. На этот раз он обращал внимание на неподвижно текучий, местами нежно пламенеющий пожар лиственниц, охваченных прощальным теплом осеннего дня, — и настойчиво появлялась невеселая мысль, что в краткосрочной жизни человеческой опасно быть самонадеянным, так как все скоротечное, уже обреченное, но еще оставшееся на земле, вряд ли повезет видеть бесконечно. «Что же управляет нами? — думал он под пульсирующий рев моторов. — Разум или воля? Чему подчинялся Тарутин? Неисповедимой воле? Воле через разум? Совести? Правде? Но правда, сегодня непоколебимая, завтра теряет свои опоры и балансирует на краю лжи. Или — выходит гулять на панель. Остается главным совесть и стыд — как самоуважение. Нет, в Тарутине был и бог, и черт!..»

Валерия дремала на откинутой спинке кресла, положив руку ему на рукав, и в этом было ее молчаливое и чуткое соучастие. Он был благодарен ее пониманию бессмыслицы словесной скорби, чувствительно-трагических воспоминаний сейчас о Тарутине, которые унизили бы его, Николая, теперь не живущего на этой неудобной для него земле.

После пересадки в «АНТ-2», закладывающий тракторным тарахтеньем уши, заполненный до отказа местными пассажирами, Валерия уже не дремала, бегло смотрела то на карту, разложенную на коле-

нях, то в иллюминатор, сверяя что-то, очеркивая карандашом. Дроздов не спрашивал ее, что отмечала и сверяла она, а она мимолетно задерживала на его лице взгляд неулыбающихся глаз, и они говорили ему серьезно: со мной в порядке, я с тобой, а то, что я делаю,— это ты знаешь. Раз он взглянул на карту, на обеденную карандашом топографскую зелень тайги, понял, что она отмечала зону будущего затопления, предполагаемого водохранилища, которое поглотит миллионы кубометров этого блещущего под солнцем осеннего золота, и представил, и увидел внизу не тайгу, а водяную пропасть, мутно-бездонную, мертвую.

И, быть может, поэтому в память врезались почти все местные пассажиры, летящие в Чилим на этой ненадежной «керосинке». Старая эвенка, надвинув снизу платок под самые глаза, зажмуренные в страхе, держалась маленькой заскорузлой рукой за плечо мужа, тоже пожилого эвенка, совершенно невозмутимого, и, уткнувшись щекой в руку, делала вид, что спит, однако, обеспокоенная частым нырянием самолета, разжимала веки, нервно зевала, показывая стальные зубы. Муж ее сидел выпрямленно, лицо, изрезанное морщинами, было строго, выражая достоинство человека, уверенного в себе до смертного конца. «Вот и опять я встретил этот милый народ: эвенки,— косвенно прошло в голове Дроздова.— Постоянно поражала их сдержанность и беспредельная честность. Знают ли они, что угрожает их тайге? Пять лет назад и меня это мало тревожило...»

Двое молодых рабочих в поношенных телогрейках, везшие бочку с капустой, распространяющую ядовито-кислый запах, крепко спали, насунув замасленные кепки на лбы. Отодвигаясь от бочки, придерживая полы кожаного пальто, девушка в красных сапожках, надо полагать, чилимская модница, не без волнения поглядывала сквозь противосолнечные очки на кабину пилотов, одинаково молодых, светлоголовых, как родные братья.

— В Воздвиженке перекура делать не будем. Пассажиров никого! Перекур в Чилиме! — крикнул один из белокурых летчиков девушке в сапожках, и самолет, не снижаясь, круто упал на крыло, отчего разом проснулись рабочие, схватились за поползшую бочку, прошел виражом над озерами, над тайгой, где глубоко внизу, на поляне виднелась единственная избушка и не было вокруг ни живой души. Сделав круг, «антон» выровнялся и повернул мимо солнца, на север, к Чилиму.

Все было знакомо, все было российское, некомфортабельное, сибирское, и все это недавно в который раз видел Николай...

Когда через полчаса в распадке рдеющих лесов блеснула оловянным светом водная плоскость и самолет опять резко лег на крыло, так что показалось — все повисли в воздухе над тайгой, над раздробленными зеркалами воды, над темными крышами далеких домиков, Валерия сжала запястье Дроздова, указывая странно смеющимися глазами в бездну, прошептала: «А что, сразу бы — и конец, и мы равны с Николаем...» Он ответил ей взглядом: «Я чувствую, ты устала, но надо еще потерпеть».

Ни Улыбышев, и никто из работников аэродромчика их не встречал. Первозданная тишина, ничем неизмеримая, райским покоем окунула, вобрала их в себя, укутала беззвучием, когда они сошли в повядшую осеннюю траву, где их качнуло на твердой земле после многочасового полета.

До гостиницы добрались на попутном грузовике, пойманном на околице Чилима, старого поселка, почерневшего от времени, как кора древнего дуба.

Стук в дверь разбудил их обоих.

Дроздов очнулся, усталый сон еще не рассеялся, и он не мог

сразу сообразить, где это стучат. Но червонные лиственницы за окнами, диван, стол с графином, нелепый шкаф с зеркалом, отражающим стену, оклеенную рыжими обоями, главное же — Валерия в свитере, в теплых носках, спешащая к двери, в которую кто-то несмело стучал, вернули его в действительность. Он вскочил с постели и, опережая Валерию («подожди секунду»), открыл запертую на защелку дверь.

— Кто там? Входите.

В дверях стоял Улыбышев.

Уже в московском аэропорту перед вылетом Дроздов старался представить, как произойдет первая встреча с Улыбышевым, как он, умный мальчик, объяснит все, что произошло с Тарутиным, и каким образом, при каких обстоятельствах ушел Николай из жизни.

— Входи, Яша. Мы не давали телеграммы.

Улыбышев вошел, не подымая глаз, тупо глядя в пол, осунувшийся до костлявой худобы, был он неузнаваем в своей нейлоновой куртке, грязной, исколотой будто колючками, порванной на локтях. Со спекшимися губами, с угольной щетинкой клочками выросшей на щеках, не так давно нежных, персиковых, теперь впалых, тощих, он производил впечатление полоумного бродяги, сумасшедшего одиночки-геолога, месяцами шатавшегося в тайге и без удачи, ни с чем выгнанного к людям голодом.

— Ты здоров ли, Яша? — обеспокоенно спросил Дроздов, пропуская Улыбышева в комнату, и, не услышав в ответ ни слова, закрыл за ним дверь на защелку.— Так никто нам не помешает,— добавил он и показал на стул.— Садись. Мы в первую очередь хотели увидеть тебя.

Не снимая каскетку, Улыбышев сел на стул, сгорбленно облокотился на сдвинутые колени, уронил лицо в ладони и завыл, хлюпая носом, по-собачьи взвизгивая, обильные слезы просачивались меж растопыренных немытых пальцев, стекали по его ребячески тонким запястьям. И, сотрясаясь, икая, он выдавил из себя какие-то смятые, спутанные, обрывистые слова, и, еле разобрав их страшный смысл, Дроздов быстро присел перед ним на корточки, отвел руки от его мокрого лица, спросил озлобленно даже:

— Что-что? Повтори! Что ты сказал?..

Валерия, нахмуренная, налила в стакан воды и подала Улыбышеву, говоря утешительно:

— Выпейте, пожалуйста, Яшенька...

Зубы Улыбышева застучали о стекло, его ослепленное слезами, неопрятно заросшее лицо было изуродовано судорогой рыдания, он отхлебнул глоток, закашлялся и, расплескивая из стакана воду, выкрикнул перехваченным горлом:

— Его... убили!..

— Перестань. Прекрати плач,— жестко проговорил Дроздов, вдруг чувствуя охватывающий холод не подчиненной сознанию отрешенности, какую в последние годы не испытывал ни разу.— Слушай меня внимательно и отвечай на вопросы. Откуда тебе известно, что Тарутина убили? Доказательства?

— Его убили... убили,— повторял взвизгивающим голосом Улыбышев, утирая влажный подбородок.— Я видел этих двух людей... Они в поселке...

— Ты можешь наконец прекратить вой и отвечать по-мужски? — перебил Дроздов безжалостно.— Можешь наконец отвечать на мои вопросы?

— Успокойся, Яшенька,— сказала Валерия и своим платком вытерла лоб, подглазья Улыбышева, вложила платок ему в руку.— Возьми, пожалуйста. И вытирай слезы, если не можешь сдержаться...

— Да, да, платок пахнет духами,— безумно забормотал Улыбы-

шев с дикарской улыбкой.— Спасибо вам, Валерия Павловна. Я просто не могу, у меня нет сил.

И его пестрые мечущиеся глаза натолкнулись на взгляд Дроздова и не выдержали, снова заволоклись слезами.

— Простите меня, Игорь Мстиславович, я, наверно, болен, у меня голова очень болит, все запуталось.

— Ты сказал, что Тарутина убили,— продолжал Дроздов.— И ты видел в поселке двух людей... убийц Тарутина. Так я понял?

— Двое парней...

— Когда все случилось?

— Четыре дня,— забормотал Улыбышев, трудно дыша.— Нет, три дня назад... Нет, четыре, я помню, четыре...

— Где тело Тарутина?

— В морге. Здесь больница сельская, и там морг. Они ждут, что я похороню его или увезу в Москву. А я не могу...

— Что ж, пошли в морг,— сказал решительно Дроздов, срывая куртку с вешалки возле двери.— По дороге расскажешь, что ты знаешь об этих двух парнях...

И Улыбышев вскричал отчаянным воплем:

— Не надо смотреть, не надо, Игорь Мстиславович! Вы его не узнаете! Это не он!.. Страшно, страшно! Как уголь с костями! Жаканом убили и бросили в костер. Я вытащил. Жаканом его...

— А ну-ка, Яша, возьми себя в руки и расскажи нам все. Все по порядку. Все, что тебе известно.

— Страшно, страшно, не могу...— всхлипнул Улыбышев.— Когда я начинаю вспоминать, у меня все в голове мутится и... тошнит...

— Рассказывай. Все, что знаешь.

Дроздов подхватил стул, поставил его напротив стула Улыбышева с твердым решением не предпринимать ничего до тех пор, пока не узнает все, что было здесь связано с Тарутиным и что видел и знал Улыбышев, произнесший эту окатывающую железистым запахом смерти фразу: «жаканом убили и бросили в костер».

Нет, тот ночной разговор с Тарутиным и его смех, когда зашла речь о легендарной веревке в «дипломате», вызывающей злоречие институтских коллег, вследствие чего распространялись наветные толки о его мистическом стремлении к концу через самоубийство, о скандальной и неизбывной «оригинальности»,— тот разговор подтвердил предположение Дроздова о вызывающем дурачестве Николая, слишком уверенного в своей независимости, не считающегося ни с какими оговорами, слухами и сплетнями. Нет, ни о каком самоубийстве подозрения быть не могло, ни о какой магии веревки в «дипломате» не должно быть и тени мысли. И вот он сидит перед Дроздовым, Яша Улыбышев, младший научный сотрудник, страстный спорщик и оппонент Тарутина, горячо привязанный к нему, и это он, именно он, только что произнес знобящую душную фразу: «жаканом убили и бросили в костер. Я вытащил...»

— Где твои очки, Яша? — проговорил Дроздов, неожиданно замечая какой-то недостаток на лице Улыбышева, чужом, точно подмененном безумием оцепенения.

— В тайге... я потерял...— Улыбышев прикусил запекшиеся губы, недвижно глядя близорукими, залитыми влагой глазами в одну точку на полу, потом жалостно, как обиженная девочка, попросил: — Спирту бы мне вы дали... Тошнит меня, в горле давит.— Он поперхнулся, уродливо напрягаясь всем телом.— Ой, не вырвало бы меня...

— Бедный Яшенька.

Валерия достала из рюкзака походную фляжку, отвинтила крышечку, плеснула в нее немного водки. Он выпил ее, давясь, подышал обожженным ртом, повторяя испуганно:

— Не вырвало, не вырвало бы меня... Я сейчас, Игорь Мстиславович, я сейчас все вспомню... Я только посижу немного...

— Вспомни, Яша,— сказал Дроздов.— Я тебя не тороплю. Посиди и вспомни. Сними куртку. Жарко, наверно, тебе.

— Н-нет. Х-холодно...

— Ну, хоть каскетку сними.

— Не хочу. Х-холодно,— дрожа выговорил Улыбышев, и застенчивая улыбка скомкала его потрескавшийся рот.— Я вспомнил, вспомнил... («Как неестественно он улыбается. И зачем?») Рано утром Николай Михайлович разбудил меня... сказал, что надо взять ружья, пойдем к Веремской заимке,— заговорил Улыбышев и охватил грязными пальцами горло.— К Веремской заимке... Николай Михайлович сказал, что пройдем по начатой трассе, посмотрим, что делается, и дойдем до рабочего поселка... Ведь проект не утвержден, а они уже рабочий поселок строят, дорогу туда тянут. Пошли мы, смотрим — четыре бульдозера на трассе работают, а бензопилами пихты валят... Мы идем, а нам кричат: «На глухарька пошли?» Николай Михайлович был мрачный в тот день. Помню, он ответил: «На вас, дураков-умников, пришли посмотреть». Помню, как он посмотрел на них и даже засмеялся странно... Да не могу я все вспоминать, в голове у меня все мутится, Игорь Мстиславович! — слабенько и просяще проскулил Улыбышев и замолчал, оцепенело уставясь в одну точку под ноги себе.

— Как Тарутин погиб? Вы видели это? — спросил Дроздов.— Как все случилось?

— Его убили,— плаксиво выдохнул Улыбышев.— Он не погиб. Его жаканом...

— Я спрашиваю: как это произошло?

Улыбышев молчал, лицо покрылось серой бледностью, клочковатая щетинка зачернела на щеках.

— У костра. Мы в тайге заночевали,— заговорил он наконец с дрожью в голосе.— В стороне от трассы. Когда возвращались. Мы уже спать укладывались. А Николай Михайлович мне сказал, чтобы я сухостойную лесину к костру притащил, в огонь подбросить, когда прогорит. Я отошел метров на сто и тут слышу голоса. Вижу: двое с ружьями подошли к костру, и я запомнил, как один спросил: «Это ты, что ль, Тарутин, из Москвы причапал?» А что ответил Николай Михайлович, я не расслышал. Только увидел: Николай Михайлович вдруг ударил одного, а тот опрокинулся на спину и закричал: «Жаканом его, бей жаканом! Этот самый и есть!» Николай Михайлович рванулся к второму, ударил, тот тоже упал. И вижу: быстро, как собака, второй отполз в кусты и оттуда выстрелил. Николай Михайлович упал на колени, схватился за грудь, а он еще раз выстрелил. Я видел, как Николай Михайлович на бок повалился. А после они подошли и его в костер бросили... И слышу, они говорят: «А второй где? Искать и кончать надо». А я лег, замер в кустах... «Кончать...» Это я слышал...

Улыбышев умолк, растирая горло, издавая тугие глотательные звуки, потом договорил:

— А когда я запах жареного мяса почувствовал, чуть с ума не сошел. Я себе руку до крови искусал. Он в костре горел. Это было чудовищно... Они меня не нашли... Они убили бы меня. Провидение сохранило... Чудо, чудо меня спасло...

— Ясно,— отрывисто сказал Дроздов, против воли испытывая какое-то неодолимое чувство неприязни к этому до тонкости не современному, впечатлительному мальчику, чуть не сошедшему с ума от запаха горелого мяса, от жареной плоти своего учителя и оставшемуся в живых благодаря чуду и провидению.— Скажи, Яша, а где было твое ружье? — спросил Дроздов.— Ружье осталось у костра?

Улыбышев, зажмурясь, из стороны в сторону покачал головой.

— Ружье было со мной. Николай Михайлович меня давно научил...

— Чему научил?

— Он всегда говорил: когда ночью в тайге даже до ветру идешь, оружие из рук не выпускай. А я отошел на сто... метров... На сто пятьдесят...

— Значит, Яша, ты видел, как они его убивали?

— Да.

— А что было потом?

— Они искали меня... Они прошли рядом с кустами, ругались, один все говорил: «где другой, кончать надо!».

— Вы их хорошо видели? Вы их лица запомнили?

— Когда сучья затрещали около меня, я увидел, как они на меня идут, и двумя руками рот зажал, чтоб не закашляться: уже страшный шел от костра запах...

—Они ушли, и вы вытащили тело Тарутина из костра?

— Не-ет. Они вернулись к костру. Я слышал, как один закашлял и сказал: «Ух, и воняет, давай ломанем под шашлычок, а то дышать нечем». Они выпили две бутылки водки. Бутылки бросили в огонь. Одну я вытащил. Она не расплавилась, раскололась... Когда утром из поселка я привел милицию, капитан все допрашивал меня, пил ли Тарутин и не было ли между нами ссоры.

Улыбышев говорил связно, разумно, произносил слова неопровержимо отчетливо, как бы по логическому порядку бесспорной правды, и было похоже, что его отпустил припадок отчаяния, бившего его судорожными рыданиями, непрекращающейся дрожью. Но в глазах Улыбышева оставалось мученическое подергиванье, убегающее выражение затравленности, и Дроздов, подавленный его рассказом, не ждавший услышать эти подробности смерти Тарутина, не в силах был отделаться от неприязненной жалости к Улыбышеву, к его беспомощности. Этому, вероятно, надо было найти оправдание. Но наперекор мешало нечто важное, что так откровенно сейчас открылось в Улыбышеве, по всем обстоятельствам заслуживающем прощения за ту проклятую ночь.

— Я понял, Яшенька, — сказал Дроздов и поднялся со стула, в молчании прошелся по номеру, постоял у окна, за которым была на земле и в небе чужая осень и по-чужому пылали огнем лиственницы, затем взял со стола фляжку с водкой, спросил Улыбышева: — Еще?

— Н-нет, — помотал головой Улыбышев. — Я опьянеть боюсь. Я ведь не пью.

— Боишься опьянеть, — повторил Дроздов и бросил фляжку на стол.— Это похвально, конечно. Но лучше бы ты, Яшенька, боялся другого, — заговорил он, едва умеряя гадливое чувство к Улыбышеву, боясь взорваться бесполезным гневом к этому мальчику, в страданиях предавшему своего кумира. — Вы не боялись, что вас замучит потом совесть? — переходя на «вы», выговорил Дроздов со стиснутыми зубами. — Вы сказали, что бандит выстрелил два раза, и первый раз ранил Тарутина. Что ж вы с ружьем лежали, черт подери, в кустах и не стреляли в убийц, когда еще можно было спасти Тарутина? Почему, наконец, вы не стреляли в этих сволочей, когда они проходили мимо вас? Вы же их прекрасно видели, а они вас нет! Почему вы не стреляли в убийц? О чем вы думали? О спасении собственной драгоценной жизни? О том, что в вас могут стрелять? Конечно, ваша жизнь по ценности будущего гения несравнима с ничтожной жизнью Тарутина! Так? Черт бы вас взял! Вы не только трусливый мальчик, но вы еще и...

Дроздов оборвал себя, удерживаясь от крайней резкости, видя, как обезобразилось страхом лицо Улыбышева, как выкатились его исплаканные глаза.

— Игорь Мстиславович! — взвизгнул Улыбышев. — Я не мог... что я мог сделать! Ружье было заряжено дробью! Они бы убили меня! У них — жаканы, у меня — дробь... Они бы меня...

— В таких случаях стреляют и дробью, — сказал Дроздов непреклонно.— Напрасно Тарутин взял вас. Я тоже в вас ошибся. Можете идти, Яша. Мне многое ясно. Через десять минут мы спустимся вниз. Покажете нам, где больница.

Улыбышев, не двигаясь, ссутуливая плечи, выговорил упавшим голосом вконец сломленного человека:

— Вы хотели, чтобы и меня убили? — И тут он пружинисто вскочил, делая злые глаза, заговорил обреченно, беспорядочно, сбивчиво, как обвиняемый, у которого расстроен рассудок: — Я не виноват. Их было двое. У них два ружья, они застрелили бы меня. Я не трус, нет! У них ружья были заряжены жаканами. Я милицию привел из Чилима. Почему вы меня так презираете, Игорь Мстиславович? Я любил Тарутина! И вы, вы, Валерия Павловна? Вы тоже на меня так смотрите, как будто я виноват. Что я мог? Скажите! У меня ружье было дробью заряжено, поверьте. Они убили бы меня! Вы меня ненавидите! За что, Игорь Мстиславович, Валерия Павловна?.. За что? Что я мог? Меня бы убили!..

И он поперхнулся, охватил темными от грязи пальцами горло.

— Какой вы, оказывается, маленький, Яшенька, — сказала Валерия и не без горькой участи погладила его по сгорбленному плечу. — Сейчас не надо никаких оправданий.

— Они бы убили меня, — забормотал Улыбышев. — У меня дробь... А у них ружья жаканами были заряжены. Смертельными жаканами!..

— Вы уже сказали об этом.

Глава двадцать первая

Корявый старик, небритый, пропахший чем-то сернистым, в кожаном фартуке поверх ватника, в зимней шапке, покачиваясь, провел их в дальний угол низкого подвала, освещенного двумя голыми, убого свисающими с мокрого потолка лампочками, и здесь, в углу, сдернул с трупа пропитанную грязными пятнами серую тряпку, скрипучим баском сказал:

— Этого небось ищете?

То, что увидели они на деревянном топчане, не было Тарутиным. Это было что-то изуродованное, лишенное лица, черное, плоское, с запахом горелого, с закопченными костями ребер, что нельзя было опознать, поверить, сравнить с тем живым Тарутиным, с его патрицианской челкой, не закрывающей высокий лоб, дерзким блеском светлых глаз, сильным телом спортсмена. Нет, на топчане лежало то, что никогда не могло быть живой плотью, дыханием, движением, звуком голоса, умом, волей, не могло быть потому, что слишком безобразное, обугленное, нечеловеческое было открыто им на топчане сторожем морга, что по неписаным законам добра не должно быть никому из близких показано ради спасения памяти.

— Невозможно смотреть. Это не он. Это какое-то надругательство над смертью, — сказала Валерия и, клоня голову, быстро пошла к выходу мимо топчанов вдоль стены, где прикрытые нечистыми тряпками бугорками выделялись еще два тела, а возле каждого топчана сложены на полу вещи умерших — детские тапочки, поношенные, со стоптанными каблуками женские сапоги на молнии, темные кучки одежды.

— Когда хоронить будете? Ежели в Москву покойника повезете, гроб из металла заказать надо. А то наскрозь протухнет землячок ваш... — сурово предупредил сторож и, шевеля бровями, достал из смятой пачки сигарету. — От него и посейчас горелый дух идет.

Сладковатый прилипающий к дыханию запах разложения и этот холодный запах горелого человеческого мяса чувствовал как подступающую тошноту и Дроздов. И в эту минуту подумалось ему, что смерть может обезобразить все, в своем мстительном облике уродства отнимая у рода человеческого и хрупкую, и живую красоту, и сообразность единственного земного существования — главное и ценное, что враждебно ей, смерти, без пощады, по выбору жестокой несправедливости уничтожающей особо сильных, пренебрегающих осторожным благоразумием, кто был самой жизнью коварно обманут невозможностью ухода с земли. Может быть, поэтому Тарутин погиб так неожиданно и страшно. Кто убил его? Что это были за люди? Наверное, в крайнюю минуту он предполагал, что дело кончится стычкой и миром, как иногда бывало в тайге из-за бутылки водки при случайных встречах у ночных костров. Они взяли два вещмешка и ружье Тарутина. Но почему они бросили тело убитого в костер? Замести следы? Это не похоже на ограбление.

— Что ж, пошли, — сказал Дроздов и у выхода из морга сунул двадцатку в негнущуюся от мозолей руку старика, лениво спрятавшего купюры в фартук, спросил: — Вы сможете заказать гроб и сделать все, как надо? Я еще зайду к вам. И расплачусь.

Старик, даже в малой степени не размягченный деньгами, выплюнул докуренную до сизых губ сигарету, проговорил низким басом свирепо:

— Документ о смерти. Чтоб был. А то у нас...

— Что? Что у вас? — несмело вмешался Улыбышев.

— Всякое бывает. Чтоб все законно.

Следователь Максим Петрович Чепцов был молод, опрятно выбрит, в меру надушен, щеголевато затянут в новый китель, упруго обозначающий длинную талию при его довольно внушительном росте, и двигался он балетной походкой; очень белые, один к одному, зубы были чистоплотно приятны.

— ...До окончания следствия я не имею права, к сожалению, сообщать вам что-либо конкретное. Но рад встретиться с земляками, прибывшими из моего родного города, поэтому готов отойти от профессиональных правил... Если это убийство, как показывает товарищ Улыбышев, будучи, по его словам, свидетелем преступления, то уверяю вас, все будет самым тщательным образом расследовано и преступление раскрыто, ибо все бывшие уголовные элементы, работающие в данное время в Чилиме, нам известны и предварительное следствие начато, — говорил он доверительным баритонистым голосом, поправляя стекло аккуратно прибранного стола, где не было ни одной папки, белела только стопка бумаг перед сувенирным стаканчиком с отточенными цветными карандашами. — Хочу, однако, сказать, уважаемые московские товарищи, что дело, связанное с трагической гибелью научного работника Тарутина, не относится к простым как день божий, прошу извинить за народное сравнение, — продолжал Чепцов, обегая жизнерадостным взглядом зарешеченное окно, деревянный пол своего кабинета, смугло окрашенный предзакатным солнцем, висевшим над горной грядой за поселком. — Давайте порассуждаем вместе, товарищи ученые. Едва ли это убийство с целью ограбления. Обычная двухствольная «тулка», два вещмешка, в них не было даже водки или спирта, — не велик куш, не велики трофеи. Хотя случалось: давали повод к преступлению и заграничные джинсы на жертве...

— Простите, — робко подал ныряющий от волнения тенорок Улыбышев и заерзал на краешке казенного дивана, нервно зажимая каскетку коленями. — Вы сказали — не с целью ограбления. Но из номера в гостинице у Николая Михайловича украли все бумаги. Я утром после убийства зашел в его номер, бумаг на столе не было. А он делал записи каждый день.

Гибкими руками музыканта Чепцов провел по стеклу, спросил:

— Какие это были бумаги, вам известно? Имеющие, так сказать, государственную ценность? Личное завещание? Возможно, роман о жизни таежников? Нынче все пишут. — Он, надо полагать, с любовью к юмору посмеялся с закрытым ртом и заговорил бодро и рассудительно: — Ваше заявление, Яков... Яков Анатольевич, несколько романтично. Кому из грабителей нужны бумаги, если они не деньги? Грабителю нужны только те бумаги, которые можно продать. Или — которые могут быть причиной для шантажирования и вымогательства. Но это из области итальянской мафии. У нас в Сибири, к счастью, её нет. И нет агентов ЦРУ, интересующихся секретными бумагами. Надеюсь, что нет. — И снова Чепцов посмеялся с закрытым ртом. — Яков Анатольевич, вы самолично видели и читали бумаги? Извините, вам ничто не привиделось в вашем, так сказать, потрясенном состоянии?

— Я написал вам подробно, — пролепетал Улыбышев. — Я видел... Тарутин советовался со мной и вел каждый вечер записи о начатом строительстве — о трассе, о технике, которая здесь появилась... О почве в створе...

— Минуточку.

С женственной изящностью Чепцов сделал движение к стене позади стола, где серел на массивной тумбочке увесистый сейф, ловко открыл его ключиком, с неменьшей ловкостью выложил папку на стол, играючи раскрыл ее, нашел в бумаге нужное место, пальцем подпер свежевыбритую щеку.

— Так вот действительно вы пишете, что бумаг в номере не оказалось, — сказал Чепцов, в задумчивости постукивая пальцем по щеке. — Но, право, налицо, как говорится, побочная ситуация — исчезли бумаги, записи в номере гостиницы. Не небрежность ли это уборщицы — безответственно смахнула со стола в корзину, прибирая номер покойника? Уборщица между тем показала нашему работнику, что не помнит, были ли на столе бумаги... Вот еще вы пишете, Яков Анатольевич, что якобы видели на улице Чилима двух граждан с ружьями, похожих на убийц. Но заявляете также, что их лиц в момент убийства вы не запомнили, а хорошо помните, что у обоих были ружья. Тем не менее с ружьями в тайгу половина поселка ходит. Охотник тут каждый второй. В данном случае любое ружье — не вещественное доказательство. Вот пока что у нас есть...

Говоря это, он пасьянсом принялся точно и быстро раскладывать на столе фотографии, где было заснято, по всей видимости, место убийства, и рассуждал в то же время:

— В мировой криминалистике известно не меньше двухсот пятидесяти факторов, необходимых для совершения преступления. Сюда, без сомнения, входят нападение с целью грабежа и удовлетворение садистских наклонностей. В данном случае если грабеж был, то по ходу дела. Садизм же — налицо: лишенный жизни был брошен убийцами в костер... Взгляните на фотографии, сделанные на месте...

«Как он много, гладко и легко говорит, этот молодой человек, — слушая четкий голос Чепцова, подумал Дроздов, несколько озадаченный при виде его длинной красивой талии, городской холености матового лица, подточенных бледных ногтей, гибких белых рук — нечто балетное и утонченное, и внушающее в его облике вызывало любопытство и одновременно настораживало Дроздова. В сибирских поселках он не встречал до сих пор столь изысканных следователей, столь молодых, красноречивых, уверенных жрецов юстиции, способных так туманно, но убежденно объяснить все, что поддается объяснению, и, вероятно, либерально считающих истинными доказательствами

лишь показания, данные во время суда. — Скорее всего, он из обессеченной семьи, окончил московское юридическое заведение. Но как он попал сюда, на край света, этот красавец с таким великолепным голосом, с такими аристократическими руками? И почему мне кажется, что он живет мечтой по московской чистоте, по кафельному раю ванной, по горячей воде, по приятельским вечерам, по картам, и, пожалуй, у него нет серьезного желания возиться здесь, в таежной грязи, в крови, всецело и серьезно заниматься расследованием зверского убийства? Я не знаю его, и, быть может, я через край придирчив к нему?..

Дроздов вопросительно посмотрел на Валерию. Она ответила строго-неопределенным взглядом, и этот взгляд, и слабый кивок ее сказали ему, что здесь, у Чепцова, вряд ли сейчас они узнают подробности гибели Тарутина и хоть косвенно прояснят главное. И Дроздов сказал:

— Не думаю, чтобы ограбление по ходу дела или садизм были целью убийства.

— Посмотрите фотографии.

С разных сторон был снят погасший костер, обугленные лесины мрачно высовывались из пепелища корявыми остриями, и черный бугорок с торчащими закопченными ребрами лежал сбоку костра — это было то, что оставалось от Тарутина, скорченное, страшное, безликое. Валерия отвернулась, сказала негромко:

— Все-таки невозможно представить. Николай должен остаться в памяти, каким был всегда.

— О том, что увидела, не жалей, — сказал немилосердно Дроздов.

Она промолчала, в изломе ее бровей была мука.

— Обратите внимание. На всех снимках хорошо видны две бутылки. Одна, расколотая, в костре. Другая возле трупа, — пояснил Чепцов, рисуя в воздухе кружки кончиком остро заточенного карандаша. — В своих письменных показаниях, Яков Анатольевич, вы утверждаете, что Тарутин не пил в тот вечер. Но порожние бутылки свидетельствуют о другом. Мы навели сведения по нужным каналам, связались с Иркутском, с Братском, где он работал, где его знали. Нам сообщили, что он был пристрастен к алкоголю, то есть — пил. И не единожды заявлял вслух, что жизнь ценит не дороже ломаного гроша, а самоубийство — благо. Подобные данные пришли и из Москвы. Не исключено, что в состоянии белой горячки и невменяемости он мог упасть в костер, потерять сознание...

Чепцов, как маленькую пику, бросил карандаш в стаканчик, с необыкновенной меткостью попал в него и заключил бесстрастно и непорочно:

— Вот вам еще альтернатива. Еще вариант. Или вариация варианта. Повторяю: это лишь элементы предварительного следствия...

— Мерзость какая-то, — выговорил Дроздов, все больше сомневаясь в вариантах и вариациях Чепцова, умеющего так точно попадать карандашами в стаканчик. — Белая горячка, падение в костер... О чем вы говорите? Неужели он не мог выбрать другой способ? Вы нам преподносите фантастику какую-то. Скажите, вы начали серьезное следствие или...

— Вы переступаете дозволенное, Игорь... Игорь Мстиславович! — предупредил Чепцов, и его живое открытое лицо мгновенно приняло официальную неуязвимость. — В этом не бывает никаких «или». — И он ладонью поставил преграду на стекле письменного стола. — Идет предварительное следствие. Допрошены бывшие уголовные элементы, после отбытия срока заключения живущие в Чилиме. — Он отсек движением ладони и эти фразы. — Осмотрено принадлежащее им оружие. Ибо, повторяю, здесь все поголовно охотники. Выяснено, кто из них был на охоте либо просто в тайге в тот день. Несмотря на столь изуродованную огнем плоть трупа, произве-

дено вскрытие. Но пули не были найдены ни в останках черепа, ни в теле. Деталь еще такова: пока мы еще не нашли ни одного человека, кто бы зафиксировал вниманием вечерние выстрелы в районе трассы, где произошло несчастье. Вы сказали «или», Игорь Мстиславович, — повторил он, нажимая на «или» и вновь перестроил лицо — из подозрительного и неприступного оно стало самоуверенным. — В нашем деле нет «или-или». Есть «да», «нет», «теза», «антитеза», интуиция и «унексплод».

— Не ясно, — возразил Дроздов. — Кажется, в ход пошел английский язык. Что значит «унексплод»? Переведите на родную словесность.

— Это значит — «неисследованное», — перевела Валерия, недоверчиво хмуря брови. — Только ударение, кажется, не на первом, а на последнем слоге.

— В данном случае ударение меня не интересует, — учтиво заметил Чепцов, взглядывая на Валерию непроницаемым взором человека, присягнувшего правде. — Меня интересует раскрытие белых пятен. И безошибочное. Чтобы на месте белых пятен не возникали черные. Пока у нас нет ни одного серьезного аргумента.

— Как же нет? — вскрикнул растерянно Улыбышев. — А я? А мои письменные показания? Я — свидетель! Я видел...

Музыкальными пальцами Чепцов соединил в стопку веером разложенные на столе фотографии, убрал этот страшный пасьянс в папку, сложил бумаги, завязал тесемки — и, показывая свой хороший рост, длинную талию, запер ключиком «дело Тарутина» в сейф, после чего во всем великолепии выбритости, нерушимости косого пробора — ровная ниточка в тщательно причесанных волосах («похож на Веретенникова», — мелькнуло у Дроздова) — он упруго повернулся от сейфа и опроверг Улыбышева чистозвучным голосом неопровержимой убежденности:

— Ваши показания, товарищ Улыбышев, мягко говоря, субъективны. Вы пишете, что видели, как произошло убийство, вы отмечаете многие существенные детали этого преступления — двое убийц, два выстрела одного из них, две бутылки алкоголя, труп, брошенный в костер, затем вынутый вами из огня. У вас повсюду — цифра два. Даже у Пифагора, извините дважды, в мистике цифр единица — разум. Двойки нет.

Он на миг засмеялся с закрытым ртом, — и тут обросшее лицо Улыбышева вытянулось страхом, узкие виски стали влажными.

— Вы считаете меня... считаете за сумасшедшего? У меня нет разума? Вы мне не верите?

Чепцов глянул на него прозрачно-пустым, ничего не отражающим взглядом.

— Врач, осмотревший вас в то утро, когда вы пришли в милицию, нашел вас невменяемым. Врачебное заключение несколько ставит под сомнение точность вашего свидетельства. Например. Первое. Как вас не могли обнаружить, если вы заявляете, что отошли от костра на сто — сто пятьдесят метров? Второе. Существенно и правдоподобно, что преступление совершено именно в тот момент, когда вас не было возле костра и Тарутин остался один перед убийцами. Но если преступники, по вашему утверждению, долго искали вас после убийства Тарутина, то вне сомнения они знали, что вас было двое. Знали, что остается свидетель, который мог все видеть. Они бы не ушли, пока не отыскали вас. Это элементарно. Третье. Вы в показаниях сперва утверждаете, что не запомнили их лиц. Однако запомнили средний рост, телогрейки, сапоги, ушанки. У нас же почти все ходят осенью в подобной экипировке. Затем вы утверждаете, что якобы видели преступников на улице Чилима. Через фразу пишете, что вам это показалось.

Собственно, чему верить? Что приближается хотя бы к правдоподобию или, уж извините, к правде?

И Чепцов, мертвея глазами, уже весь безупречно подчиненный служебному долгу, договорил раздельно и четко:

— Как ни прискорбно. Вам. Не следует. Выезжать из Чилима. До конца предварительного следствия. Бумагу о невыезде вам подписывать не надо. Я вам поверю.

— О невыезде? Бумагу? Я — арестован? — запинаясь, выговорил Улыбышев.

— Зачем же? — и Чепцов приостановил свою речь, чтобы посмеяться знакомым беззвучным смехом, но не посмеялся, только просиял сахарной белизной зубов. — Я превосходно понимаю, что презумпция невиновности святой постулат, — заговорил он с уверением и неподкупной правотой. — Но бесспорно и то, что вы были в тайге вдвоем. И только вы один, только вы можете рассказать правду — о личных взаимоотношениях с Тарутиным... И о том, как произошла трагедия. Без убийц и без выстрелов из ружей. Вся правда в ваших руках. — И он повторил дважды: — Вся, вся правда. Только следует вспомнить все. Все до деталей.

— Вы мне не верите? — вскричал Улыбышев тонким голосом. — Я все вам написал! Я видел! Это правда! Вы меня подозреваете? Намекаете на что-то!.. Мы были друзья! Я ему поклонялся! Вы не имеете права! Это — чудовищно! Как вы можете? Вы... уходите от правды! Почему вы все это говорите?..

Улыбышев давился, то вскрикивая, то выговаривая слова скачущим шепотом, лицо разом одрябло, обвисло, щеки и глаза ввалились, горели в ямах глазниц нездоровым огнем, потом голос его горячечно заторопился, взвиваясь до пронзительности:

— Вы очерняете меня, оговариваете! Какая «вся правда»? Какое вы имеете право? Я видел, а вы не верите!.. Вы недостойный, скверный!.. Вы просто нечестный, неприличный человек!..

И притискивая каскетку ко лбу, Улыбышев затрясся, горбясь на деревянном диване худой спиной, отчего шевелились косички волос на засаленном воротнике его куртки.

— Что-о та-акое? — взревел Чепцов, весь некрасиво заостряясь. — Вы наносите мне, представителю органов правопорядка, личные оскорбления! Я вас привлеку к ответственности за хулиганское поведение! — И он хищной поступью выскользнул из-за стола и грозно навис покрасневшим лицом над щупленьким Улыбышевым, выговаривая: — Я веду это дело об убийстве и доведу его до конца. Уверен, вы придете в себя, гражданин Улыбышев, и перепишете свои показания, вспомнив все как было, без мифических парней с ружьями. И эту правду должны узнать ваши коллеги.

— К-ка-акую правду? — заикаясь, выкрикнул сквозь слезы Улыбышев. — Я все написал!

Но Чепцов продолжал неукоснительно:

— То, что не написали вы, написал в своем заключении патологоанатом. При вскрытии пули не найдены. У патологоанатома есть подозрение: смерть наступила вследствие отравления каким-то быстродействующим ядом после принятия алкоголя. Что касается абстрактных соображений, то порой палач и жертва связаны одной веревочкой.

— А-а-а! — истошно завыл Улыбышев и будто в припадке заелозил затылком по спинке казенного дивана. — Я отравил, я палач, я преступник!.. Я подлил яда, я убийца!.. Вы хотите сделать из меня сумасшедшего! Вы несчастный, бессовестный!..

— Молчите! — коротким выдохом приказал Чепцов. — Или же вы понесете наказание за оскорбление должностного лица.

— Подите подальше со своим «молчите» и «наказанием», — выговорил вдруг Дроздов на том пределе спокойствия, которое уже не поддавалось разуму.

«Да, спокойно, только не взорваться, я чувствую, что постепенно теряю волю, прохожу через что-то неестественное, дьявольское, насилующее душу, чего не было даже в дни болезни и смерти Юлии, — прошло тенью в голове Дроздова. — Почему в последние месяцы какое-то наваждение начало заставлять меня делать то, что не в моей воле? А это и есть правда. Записка Григорьева, Чернышов, Козин, загадочный Битвин, «охотничий домик», благоухающая эвкалиптом сауна, бесподобный в изощренном хитроумии Татарчук, ночные звонки, непонятная гибель Тарутина на глазах этого малодушного Улыбышева, этот театральный красавец, то ли балерун, то ли работник юстиции, расследующий убийство без каких-либо улик. Для чего он высказывает перед нами умопомрачающие, совершенно невероятные подозрения, о которых следователю не позволено и даже опасно сообщать без точных доказательств?»

И Дроздов через силу сказал, придав голосу нарочитую безоблачность вежливости:

— Как я понял, товарищ Чепцов, вы почувствовали бесхарактерность свидетеля Улыбышева. Его душевное состояние. И за неимением улик готовы бросить камень в него.

— Прошу вас конкретнее.

— При чем тут отравление? Чепуха! На кой вам это нужно? Честь мундира?..

— Как вы смеете? — проговорил Чепцов, и глаза его помертвели, стали сквозными. — Что вы этим хотите заявить?

— Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием, — и Дроздов, превозмогая себя, постарался смиренно встретить ожигающий взгляд Чепцова. — Хотел бы свою жизнь последних лет отдать познанию мудрости, безумию и глупости... плюс... плюс подлости... Простите за грубое слово.

— Что сей сон значит?

— Томление духа. Екклизиаст. Великий проповедник. Даже для всех следователей и юристов. «Глупый сидит сложа руки и съедает плоть свою». Да что за черт! — не сдержался Дроздов. — Что вы нас за нос водите? Убит наш товарищ, ученый, в тайге, где вы, так сказать, господствуете, где ваша власть! Так что же вы затуманиваете суть дела и все хотите свести на дешевый детектив, где, конечно, злодейское отравление. Это что — пункт обвинения? Кто отравитель? Сальери? Улыбышев? Он так далек от классического завистника, как вы, товарищ Чепцов, от Иисуса Христа или даже от Понтия Пилата!

— Как вы смеете? Я вас могу сейчас...

— Что «сейчас»? Ваше «сейчас» меня и интересует. Ответьте, как и почему погиб наш товарищ? Почему вы пренебрегаете материалами до следствия? У вас есть свидетельство Улыбышева. Что вы можете сейчас нам сказать?

— Пока еще ничего. Я высказал предположения. Ибо следствие не закончено. И я рассуждал вместе с вами, исходя из уважения к вам и даже нарушая законы юстиции. Вам этого недостаточно?

— Да, глупый сидит сложа руки и съедает плоть свою. И это тоже великое искусство. Это добавление следует сделать к Екклизиасту.

— Что вы болтаете? Кто съедает плоть?

— То, что глупый сидит сложа руки и съедает плоть не только свою, но и чужую. Это я хотел добавить.

Молодое лицо Чепцова приняло пепельный оттенок, и он выговорил, отсекая слова:

— Если вы будете продолжать оскорблять меня, я наложу на вас соответствующие санкции!

Дроздов хотел ответить: «В ваш адрес, товарищ Чепцов, не было

произнесено ни одного неприличного или случайного слова»,— но в эту минуту Валерия неподобающе беззаботно вмешалась в разговор, сказала:

— В этой комнате мы ничего не выясним. Будем искать в других областях. Мы должны раскланяться, Игорь Мстиславович. И поблагодарить товарища следователя за то, что он нашел время принять нас.

Дроздов, еще не воспринимая ее неуместного желания мироносицы, взглянул на Чепцова, тот светски приподнялся над столом, свесил голову в поклоне, выражая снисходительное неудовольствие. Валерия оглядела его бегло-невнимательно; у нее было безучастное лицо, защищенное небрежной улыбкой знающей себе цену женщины, и Дроздов сказал холодно:

— Благодарим вас, товарищ Чепцов. Мы вторично хотели бы перед отъездом зайти к вам, если разрешите.

— Буду рад,— ответил Чепцов с фальшивой радушностью.— Позвольте вопрос. Родственников у убитого нет? Вы — его друзья. Поэтому вправе захоронить его здесь. Это, надо полагать, удобнее, чем в Москве.

— Мы сами решим сегодня, — сказал Дроздов. — Без чужих советов.

Глава двадцать вторая

Солнце клонилось к закату, качалось за вершинами шумящих на ветру лиственниц. К Чилиму шли в молчании по прогнившим насквозь настилам широкой, чернеющей старыми, еще крепкими домами улицы, до месива размытой дождями, разъезженной бульдозерами, из конца в конец изуродованной тракторными гусеницами; с пасмурным отсветом неба в наполненных водой колеях, с химической вонью навоза, сваленного около крылец, с дымящими кое-где на задах баньками.

За поселком мощно работали бульдозеры, то сбавляя треск двигателей, то густо соединяя его в сплошной накаленный рев. После разговора с Чепцовым Дроздову не стало легче. Ему было душно и на свежем воздухе среди этой размолотой грязи, нелюдимо-мрачных домов, при виде замученного, собранного в кулачок личика Улыбышева, растерянно глядевшего за околицу, откуда доносился рев бульдозеров.

— Я прошу вас посмотреть, что они там делают, — бормотал он, близоруко моргая.— Работы идут, давно начаты, хотя ТЭО никто не утверждал. Никто.

— Давайте сначала посмотрим на Чилим, — сказала Валерия задумчиво. — Пойдемте на берег.

Солнце садилось по ту сторону Чилима, темно-тяжелого, студеного под осенним небом; свинцовый диск погружался, втягивался в рыхлую, вытянутую над тайгой, разваленную тучу, и предзакатный у того горного берега свет металлической полосой далеко лежал на воде так неприютно, немо, так чуждо, как будто неведомая злая земля начиналась там, связанная с этим поселком смертельным заговором. Необычно широк был Чилим и до тоски уныл и враждебен своей неоглядной водной пустынностью, чего раньше так жестоко не испытывал Дроздов ни на Енисее, ни на Оби, ни на Ангаре. С севера дуло перед вечером промозглой влагой, по берегу ходил сырой ветер, обдавал сладковато-горькой гнилью опавших листьев. И Дроздову стало холодно от близкой пустыни воды, от гнилых запахов, от гула невидимых за деревьями слева моторов бульдозеров и от сумрачного и странного ощущения, что где-то здесь, в тайге, был убит Тарутин.

— Пойдемте в тайгу, я покажу вам, где они ведут дорогу к дебаркадеру, — продолжал бормотать Улыбышев. — А слева от дороги строят рабочий поселок. Я вам все покажу. Это преступление, самовольство. Они здесь как правители. Посмотрите на баржи. По воде уже подвезят и подвозят технику.

— Что за слюнтяйская чепуха! — выругался Дроздов, мельком взглянув на неласково темнеющий простор Чилима, на старый дебаркадер, где стояли мощные железные тела землечерпалок и подъемных кранов, выгруженных, видимо, на днях, и повторил с гневом: — Ерунда! Глупистика! Чепуха!..

— Вы о чем? Не верите разве? — испуганно вскрикнул Улыбышев.

— Вы свидетель преступления, а он следователь, и он навязывает вам, чего быть не могло! Идиотизм это или умышленный уход от истины, чтобы запутать дело! Почему вы так робки перед этим Чепцовым? Вы свидетель, а не он!..

— Я боюсь его... Я не смог,— залепетал Улыбышев, спотыкаясь на корневищах. — Вы знаете, он допрашивал меня так, как будто я убил Тарутина. Как будто я отравил его водкой, а он, пьяный, в костер упал...

— Вы чересчур многого боитесь, Яша! — выговорил без жалости Дроздов. — Вы боялись, когда видели, как эти подонки убивали Тарутина, вы боитесь и следователя! Простить вам не могу то, что вы не уложили этих подонков, когда все произошло! У вас ружье в руках было?

— Да.

— И на ваших глазах убили вашего друга? Так?

— Да.

— Так почему же вы не совершили акт справедливости?

— Игорь Мстиславович! — крикнул истонченным голосом Улыбышев. — Что я должен был сделать — убить их? Но я тоже был бы убийцей...

— Тряпка вы, Яшенька! — сказал Дроздов грубо и презрительно. — Нет, в архангелы с карающим мечом вы не годитесь! Предали учителя до третьего крика петуха. И еще распускаете слюни перед следователем. У него нет улик, доказательств, кроме вашего свидетельства, но он, видите ли, раскроет преступление, обвинив вас, слюнтяя, в отравлении Тарутина. Вы думаете, это трудно ему сделать? И вот вам: ваше слюнтяйство — и две жертвы, и начнут выкручивать вам руки за вашу же трусость! Отвратительны вы мне, мальчик, противны! Работать вместе с вами в тайге я бы не мог! Запомните: сейчас прощается только добро! Настало это время. Евангельское непротивление злу покрылось архаичной пылью, милый мальчик! Вы еще не усвоили, что убийцы и балерун — не из кондитерского магазина!

— Игорь, остановись, ради бога! Ты очень резок!..

Они вошли в просеку, заполненную режущим звоном бензопил, грубым рокотом двигателей, — бульдозеры двигались и разворачивались в глубине трассы, тупо и упрямо сваливая молодые лиственницы по бокам просеки, вдоль которой трелевочные трактора тянули спиленные пихты, а справа и слева падали, ударялись о землю костры срезанных лиственниц, рассыпаясь искрами багряной хвои. Здесь, не прекращаясь, шли работы, должно быть, не первый месяц прокладывали трассу вблизи пристани к строящемуся среди тайги рабочему поселку.

«Это ничем уже не остановишь, — промелькнуло у Дроздова. — Деньги отпущены, кто-то тайно отдал приказ, и механизм заработал. Судьба этого края решена. Обещание благ, каскады ГЭС с неокупаемой энергией. Переселение деревень, в том числе и Чилима. Затопление многих сотен километров тайги, гниющие водохранилища и постепенная гибель рыбы, воды и земли. Тарутин хотел остановить разрушение на Волге. Ничего не вышло. Волга превратилась в сточную канаву. «Остановить»? «Остановись»? Валерия только что сказала «остановись, ради бога!». Почему так муторно, так тошно на душе?..»

— Остановись, ради бога, и не упрекай больше Улыбышева, — проговорила быстро Валерия. — Я тебя очень прошу. Ты ждал и хочешь от него жестокости? Это было бы еще хуже.

— Это был бы поступок.

— Неужели ты бы это сделал?

— Не задумываясь.

— И тебя посадили бы в тюрьму.

— Наверно, посадили бы, — согласился Дроздов, в эту секунду нисколько не сомневаясь, что выпустил бы в порыве справедливости возмездные заряды по тем двум убийцам Тарутина, что в бессилии не мог сделать Улыбышев.

— Не сходим ли мы с ума? Подожди, я хочу спросить тебя... — сказала Валерия, крепко взяв за рукав Дроздова. — Скажи, что мы можем сейчас сделать?

Улыбышев остановился за спиной Дроздова, тихо плача.

— Игорь Мстиславович, я клянусь...

— Вам нечем клясться.

Глава двадцать третья

Голоса гудели в спертом воздухе, табачный дым полз над столами, плыл, закручивался под потолком, обволакивая электрические лампочки, прикрытые плоскими ржавыми колпаками. Время от времени визжала пружиной, раздражающе бухала дверь, впуская и выпуская людей из переполненной чайной. Кто-то невидимый в дальнем углу пьяно пел со скучной однообразностью, тянул одну и ту же фразу: «а я люблю-у женатого-о», — и яро кричали буйными голосами хмельные парни за соседним столом; их слушала старуха, механически жевала кусочки хлеба беззубым ртом, осуждающе двигая мужскими бровями, а рядом в компании небритых мужчин, распахнувших плащи и телогрейки, возбужденно хохотала девица с бойкими глазами сороки; и вокруг проступали отдаленные чужие лица, потные, озабоченные едой, наклоненные над тарелками, над кружками пива, кислым духом которого пропахло здесь все — воздух, табачный дым, скатерти с желтыми пятнами, влажные котлеты, взятые по совету Улыбышева, сальные вилки, выскальзывающие из пальцев...

Дроздов видел и чувствовал эту тесноту чилимской чайной, запах пива, нечистой одежды, в уши толкались крики буйных парней, хаос голосов, хохоток кокетливой девицы, однотонное нытье пьяного в углу, а за всем этим шумом проходило перед ним бессмысленное, страшное, безысходное, что случилось здесь, в Чилиме, что протягивалось к Москве тоненькой паутинкой, имело какое-то зловещее отношение к нему, Дроздову, к той ночной встрече с Тарутиным, когда он сказал о необходимости заговора. Паутинка тянулась к скандальному вечеру у Чернышова, к той пропитанной эвкалиптом сауне, к Татарчуку, к негаданно приехавшему в «охотничий домик» Битвину. Дроздов пока точно не увязывал, не соединял неразрывно одно с другим, но ненависть, которая окружала независимость и прямоту Тарутина, и не случайно повторяющиеся ночные звонки, шепелявый голос, дышавший оголенной угрозой, не опровергали окрепшее в нем подозрение, что тут есть связь, затянутый в Москве узел, ощутимый как медленная удавка, как обложная охота («не для нее ли меня пригласили в «охотничий домик»?»). «Нет, смерть Григорьева, и гибель Тарутина, и ночные звонки имеют что-то общее». И, обдумывая гибель Тарутина, он с твердой очевидностью приходил к выводу, что еще на похоронах Григорьева начали движение маховики многосильного и слаженного механизма распределения власти, где применялись чиновное заискивающее лукавство, ласковые обещания, угрозы, изобильная страсть оговора, мерзкого навета, липкими мокрицами выползшие

отовсюду. И был пущен нужный кому-то слух о тяге Тарутина к самоубийству на почве алкоголизма, и, наконец, чудовищное предположение Чепцова об отравлении, и этот намек на участие в нем Улыбышева.

Невероятный намек походил на безумие, однако неопровержимо было то, что Тарутина окружало чрезмерно много скрытых и явных недоброжелателей, напитанных ядом, неумолимых во вражде, жестоких в злой радости и ревности к его никому не подчиняющейся позиции в жизни. И была зависть, превосходящая, как это часто бывает, и любовь, и ненависть. Но дело было вовсе не в зависти. Этот безвольный мальчик Улыбышев в страхе и умственном помрачении предал его у костра и мог, конечно, не раз предавать в Москве...

— С шестнадцати лет мечтаю пролетарием быть. И посейчас мечтаю. Очень, можно сказать.

«Кто это говорит? Ах, да, да. Он подсел к нашему столу, сказав нелепую фразу: «С антеллигенцией можно? А то местов нет».

И Дроздов вернулся в гул, крики, запахи и тесноту чайной, сразу же отчетливо увидел напротив себя оплывшее морщинистое лицо средних лет человека в рабочей куртке, который неумеренно посыпал края пивной кружки солью, вожделенно отхлебывал, утоляя, по-видимому, сжигающую его жажду. Он говорил между жадными глотками пива, сдвигавшими его кадык на изношенной, прорезанной складками шее:

— Пролетарием быть — это не хухры-мухры, а жизнь, мечта, можно сказать, и достижения...

— И вы можете свою мечту объяснить? Как это быть сейчас пролетарием? — поинтересовалась Валерия и взглянула на Дроздова с осторожной тревогой.

«Зачем я ее взял с собой? Вот она сидит здесь среди пьяных работяг, не стесняющихся выражений, и уже нет в ней ничего московского. Геологиня с серыми глазами. Она умеет собой владеть. Молодчина милая».

— А как космонавты. Не дошло?

— Почему космонавты?

Морщинистый отпил пива, облизнул губы.

— А вот как, ежели не дошло. Они в такое-то время наблюдают, работают, в такое-то пищу принимают, в такое-то спят. Все у них, значит, по регламенту. Все у них ясно. Все у них казенное. Потому крепкое.

— А вы жизнь космонавтов знаете? — спросила Валерия серьезно. — Вы уверены, что космонавты именно так живут?

— Знаю не знаю — важности не имеет. А так у них должно быть. Все у них как у пролетариев.

— Так, да не так! Какая-то глупость! — неожиданно взорвался Улыбышев, до этого вяло ковырявший вилкой котлету, и обросшее личико его возмущенно взметнулось над тарелкой. — Вы думать самостоятельно не хотите, вот что! Мозгами своими пошевелить! Собственным мизинцем!..

— А для чего шевелить? Пусть другие стараются. У них для этого государственные головы даден. А мизинцы у всех есть. Шевелим, когда команда есть. Не шуми, парень. Все одно пролетарием хочу. Мечта. Достижение жизни.

— Вы рабом хотите быть, роботом, — Улыбышев даже начал заикаться в негодовании. — Человеком кнопочного управления! Вот почему вы не хотите думать! Вот и здесь, на Чилиме, кедр вырубаете на сотнях тысяч гектар, тайгу в мусор превращаете. Всех зверей истребили, браконьеры! Уже простой белки и глухарей нет. А сейчас без проекта начато строительство, которое всех вас, чилимских, прогонит с этих мест, а все тут затопит водохранилище, и ваш Чилим будет

грязное, гнилое море без рыбы, никому не нужное! А электроэнергия куда, вы думаете, пойдет? Не вам, не нам, а в Европу!..

«Да искренен ли Улыбышев? Растерян и разъярен. После унижения у Чепцова? Занятно...»

Морщинистый сузил запухшие глаза, потягивая пиво, затем поставил кружку на стол, с видимым удовольствием шумно выпустил ноздрями воздух.

— Все одно пролетарием я хочу. Так хорошо будет. Все казенное. Не твоя забота. Живи тихо, спокойно, хлеб жуй. А водохранилище — что ж? Море! Катера, теплоходы пойдут. На яхтах, газеты пишут, мы кататься будем. Зону отдыха в тайге откроем. На пляжах загорать, пивко попивать около водицы. Товары из центра завозить начнут, начальство обещает. А то жратвы нет, порток нет, как в берлоге амикан лапу сссем... — И вдруг, встряхивая лихо локтями, морщинистый закричал разудалым голосом: — Что есть человеческая жизня — труд или отдых? Отдых. А зачем жить-то? Вкалывать? Мукота-а!

«Правда всегда кажется консервативной, скучной, — подумал Дроздов, бесполезно сожалея о распространенности современной болезни, известной не только в Москве. — А ложь всегда льстива, всегда умна и прогрессивна. Она прельстительная красавица. Она околдовывает... Она больше похожа на правду, чем сама правда...»

Что ж, Тарутин не был наделен терпеливой покорностью, какой обладало великое множество его коллег. Он поехал сюда, загодя готовый пройти и изучить Чилим до конца в своей убежденности, и лишь теперь, после его гибели. Дроздов особенно чувствовал состояние Николая в том ночном споре в его квартире, когда он сказал о единственном выходе — о необходимости заговора против преступной силы монополий, уничтожающих землю, воду и саму жизнь. И почему-то стояла перед глазами кричащая, хохочущая толпа, воспламеняемая академиком Козиным на вечере у Чернышова, где в последний раз Николай отдавал «старые долги» коллегам, и почему-то вспоминался незнакомо веселый взгляд Николая во время последнего разговора на бульваре перед отъездом в Чилим, когда он совершил непростительную ошибку, взяв с собой в командировку этого ненадежного Улыбышева.

— Вы москвичи, что ль? Из столицы прибыли? Уезжайте отседова, пока целы! — послышался из сгущенного говора чайной жиденький голос морщинистого, и Дроздов увидел водянистый взгляд исподлобья. — Это не ваш ли алкаш в костре сгорел навроде шашлыка? Дал стружку москвич! Ловка-ач!..

— Пойдемте скорее отсюда! Я сейчас расплачусь, — раздался вскрик Улыбышева, и он с мучительной горячностью принялся рыться в карманах, доставая деньги, мятые трешки. — Этой клевете... этой гадости нет предела! Я не могу слушать! Я не хочу... Кто-то специально пустил слух, а люди верят, как дураки! Вы глупость говорите! — взвизгнул Улыбышев. — Откуда вы знаете? Что вы врете? Вы сами... вы алкаш, как видно!

— Это я-то вру? И это я алкаш? Я дурак? Ах, сволочь московская!..

Морщинистый жадно высосал остаток пива, кадык задвигался челноком посреди морщин на его горле, напоминавшем растрескавшуюся землю, а по усохшему бескровному лицу прошла судорога злобы.

— Ты что это лаешься, антеллигент собачий? — Он стукнул пустой кружкой о стол и, не выпуская кружку из жилистой руки, встал с яростной обрадованностью. — Ах ты блямба! Думаешь, ежели ты москвич дерьмовый, так у тебя право есть орать на рабочего человека? — угрожающе возвысил он голос и оглянулся в призывном бешенстве на ближние столики, за которыми шумели посетители чайной. — Гляди, ребята! — крикнул он. — Столичные к нам приехали и права качают, дураками, алкашами нас обзывают, вроде как тот, который спьяну в костер полез! Инспекция, видать! Инспектировать нас будут. От суки! Дармоеды! Оскорбляют рабочий народ! Издеваются!

За ближними столиками разом примолкли, старуха перестала жевать беззубым ртом, парни в телогрейках, похожие короткой стрижкой на недавних уголовников, прекратили буйный спор, глянули вопрошающе, один из них, круглоголовый, спросил с издевкой:

— Чего голосишь, сиротка, будто задницу бульдозером переехало? Кто тебя забидел? Гостей, гад, не уважаешь? Не видишь, рыло: среди гостей — классная женщина? — И круглоголовый, подчеркивая напускную вежливость, поблестел в сторону Валерии передним стальным зубом, после чего равнодушно посоветовал: — Извинись за грубость, бульдозер, перед женщиной и гостями, покажи, что не с медведями целуешься!

— Перед кем это извиняться! — закричал морщинистый, озлобленно стуча кружкой по столу. — Приехали из Москвы, а мы на задние лапки, что ли? Перед бабой извиняться? Это по какой причине? Королева, что ль? Или из артистов? Ха-ха, скаж-жи! Я на таких с прибором кладу! И фамилию не спрашиваю! Ишь, антеллигенты культурные, кровушку нашу сосете! Ха-а...

Он прервал задушенный смешок, продолжая громко постукивать пустой кружкой по столу, а плечи его конвульсивно ломало, корежило, как в припадочном танце.

«Больной он или играет припадочного?»

— И что дальше? — сказал Дроздов с веселостью в голосе, в то же время чувствуя душную волну в груди, горячую и неблагоразумно опасную, что бывало иногда с ним в минуты неосознанные. И он, не вставая, правой рукой охватил пляшущего плечами человека за жилистую руку, стискивающую кружку, с резкой силой дернул ее книзу, рывком усадил на стул, проговорил, отчетливо расставляя слова:

— Придется извиниться, молодой человек!

И, сдавливая ему кисть, отчего морщинистый ахнул, пустая кружка выскользнула из его пальцев, покатилась по столу, договорил ледяными губами:

— Иначе, уважаемый, я могу вывихнуть вам руку нечаянно...

«Кто я? И для чего это со мной? Умопомрачение!.. Доктор наук, прочитавший гору книг, и опохмеляющийся какой-то человек, неизвестный мне. Непростительно и смешно! — зазвенело проволочкой в его сознании. — А почему, собственно? И кто и во имя чего определил эти границы вежливого непротивления? Нет, просто погиб Тарутин, и я потерял равновесие. Я перестал владеть собой еще в кабинете Чепцова...»

— А-а, блямба московская! — рыдающе крикнул морщинистый, и в момент, когда, извиваясь, искорежив лицо, стал вырывать руку, силясь подняться, Дроздов толкнул его от стола, морщинистый не удержался на ногах, заваливаясь назад, упал спиной на ближний стол, где сидели буйные стриженые парни.

— А-а, мля!.. Убью-у курву! — захрипел припадочно морщинистый. — Размож-жу, в гроб!..

И цепко схватив на краю стола бутылку с минеральной водой, держа ее перед грудью, как гранату, двинулся вдоль стены на Дроздова, который в эту секунду как бы увидел все со стороны: зашумевших и стихших за столом парней, настороженно огромные глаза Валерии, омертвелое лицо Улыбышева, его разинутый для крика рот — и знакомое, жарко испытанное им в молодости чувство, узнанное когда-то в электричке при столкновении с унижением и оголенной силой, разрушительно и необратимо распрямилось в нем.

«Как сто лет назад... Как вместе с Юлией...».

— Мне еще не хватало подраться с фальшивым пролетарием, —

еле внятно сказал Дроздов, призывая на помощь иронию, но мгновенно встал и вышел в проход меж стеной и столом. — Поставьте бутылку и уходите к чертовой матери! — прибавил он охлаждающе. — Так будет разумнее и лучше!

— Га-ад! Я тебе глаза... глаза вырежу! Изуродую, гад!.. — задохнулся воплем морщинистый и ударил бутылкой об стену, обрызгивая ее водой и осколками, шагнул в проходе к Дроздову, устрашающе выставив перед собой ножеобразные бутылочные острия. — Слепым я тебя сделаю, гад, мать твою в гроб!.. — выкрикивал морщинистый, приближаясь мелкими шагами.

«Значит, в родную Сибирь дошли способы и этой драки, — с горько-насмешливым пониманием мельком отпечаталось в сознании у Дроздова, и какая-то подсознательная, не подчиненная ему сила упредительно толкнула его навстречу этому нацеленному зазубренному орудию («да откуда у незнакомого человека ко мне такая злоба!») — и почти с непроизвольной решительностью он успел сверху вниз рубануть ребром ладони по запястью морщинистого, выбивая бутылку, и сейчас же не ударил («пьян, он пьян!»), а лишь толкнул его в грудь, не рассчитав, однако, толчка, отчего морщинистый, запрокидываясь назад, опять повалился спиной на край стола, где пила водку компания стриженых парней. На столе попадали бутылки, и парни, вздымаясь, закричали дикими голосами: «Куда, алкаш, куда? Что творишь, харя?» — и все выскочили в проход, зло подымая с пола морщинистого, а тот, окровавленными пальцами хватая воздух, выборматывал комки жалких звуков:

— Избил... избил, курва... Не за что избил... Что ж вы меня, ребята, не оборонили, а? Значит, вы меня московскому продали, а?.. Милиция, участковый тут... позовите, ребята, участкового!..

— На чей хрен тебе участковый? — выругался круглоголовый парень. — Сам пер, как трактор. Ну, и малость схлопотал, алкаш! А московский-то первый не лез. — И парень ободряюще и нагло подмигнул Дроздову. — Так что — квиты.

— Участкового!.. Избили меня... Московские избили!.. — голосил морщинистый, поднося к лицу измазанные кровью ладони. — Тут он, тут он... в чайной дежурит! В кровь меня, в кровь!.. Участкового сюда, ребята!

— А пошел ты, знаешь куда? — проговорил круглоголовый парень и увесисто хлопнул его по заду. — Иди, ищи, если ножки есть, пивная задница! А ну линяй отсюда!

Морщинистый, озверело оглядываясь, натыкаясь на столы, рванулся куда-то в недра чайной, по-прежнему разноголосо галдевшей в запахах еды, в табачном дыму; никто не проявил особого интереса к тому, что произошло у крайнего стола, только некоторые посмотрели отчужденно на окровавленное лицо морщинистого, потом искоса на Дроздова и снова наклонились к тарелкам.

«Пожалуй, как в Сицилии... В тайге появилось что-то новое. Но почему лицо и руки у него в крови? — с недоверием дрогнуло в груди Дроздова, и, еще не остывший после омерзительного столкновения, он сел за свой столик, почему-то без раскаяния сознавая, что иначе быть не могло: просто благоразумие изменило ему. Все было, конечно, рискованно в его положении. Но то, что окружало его в последнее время, лестное, соблазнительное, обволакивающее, где играло приторное и расчетливое желание постепенно приблизить, обманно поманить во всесильный стан, было теперь противоестественно, непереносимо отвратительно до тошноты. Он достал носовой платок и вытер пот со лба.

Кто-то кричал в середине столов надорванным басом:

— Всем желаю!

— Чего «желаю»? Извиняюсь...

— Кто чего хочет, того и желаю! Не извиняю! Слушай, что говорят старшие тебе!..

Чувствуя безмолвие за столом и в этом молчании тревожно коснувшийся его зрачков взгляд Валерии, он отпил глоток компота и сказал насильно спокойно, насколько возможно внушая ей, что ничего страшного не произошло:

— Здесь ничему не нужно удивляться. Знаешь сама. Здесь хороший тон — излишняя роскошь.

— Да, знаю. — Она положила руку на его рукав, с тихим усердием погладила. — Я с тобой, Игорь. Что бы ни было.

— Мы посидим еще немного. Так надо.

— Как живут? Темнота и дикость! Разве это люди? — заговорил Улыбышев, и его замученные отсырелые глаза отразили настигающую гибель. — Я ненавижу, презираю дикость, злобу!.. Эту ругань, мат. Эти драки! Почему столько жестокости в людях, Игорь Мстиславович? И вы... вы тоже умеете драться? Когда вы ударили его, у вас было такое лицо...

— Какое? — перебил Дроздов. — Не интеллигентное? Очень сожалею. Забыл про хороший тон, вежливую улыбку и слова «отнюдь» и «весьма».

— Я не хочу... я ненавижу человеческую злобу, — забормотал Улыбышев. — Так нельзя жить... мы все превратимся в зверей...

— Запоздалая ненависть, — недобро сказал Дроздов, отодвигая стакан с недопитым компотом, пахнущим плесенной затхлостью. — Ненависть хорошо пригодилась бы вам возле костра.

Улыбышев ослабленно поник, проговорил с робостью:

— Вы меня... простить не можете?

— Пожалуй, Яша.

Улыбышев мотнул отросшими волосами и, блуждая горящим взором безумного, заговорил горячо, покаянно, запинаясь от поспешности:

— Простите меня... Я виноват, я струсил, я достоин, достоин презрения... Я достоин...

И, сжав обеими руками горло, замычал, как под пыткой.

— Перестаньте, Яша, будьте мужчиной, — сердито сказала Валерия и, потеребив рукав Дроздова, показала бровями на столы. — Послушай, Игорь, что говорят. Мне что-то не по себе.

С недалекого стола сквозь общий шум доходил причмокивающий голос беззубой старухи:

— Умер он, милая, три месяца назад. Похоронила я его. А потом березку у окна попросила срубить. Сижу, корочку жую, плачу, одна — в окно смотрю: может, Алешенька с кладбища домой идет. Чего ж ты смеешься, девушка? С какой такой радости?

— Обхохочешься! Это мертвый-то с кладбища? В белых тапочках? Заскок у тебя, бабка, зажилась ты, сбрендила! — звонко отозвалась девица с бойкими сорочьими глазами. — Дура ты, бабка! Из ума выжила!

— Май месяц — гремучий в тайге, люди говорили — грозы идут. Не сейчас, а раньше было. Сейчас и гроз никаких. Дожж сеет, как осенью. Как теперь вот. Всю природу перелопачили.

— А я т-тебе говорю, суп хорош, когда в нем свинья искупалась! — свирепо гудел кто-то в углу чайной. — А ты мне — гундишь: жри свинину! Резиновый сапог это, а не свинина! Я лучше стакашку опрокину заместо супа! Дерьмом вас на стройке кормят, а народ молчит, как умный.

— А русский народ испокон века безмолвствует. Потому дурак лопоухий. Ездят на нем, как на осле. После войны думали: наладится. А вышло: большой гвоздь в сумку. Воевали-то воевали, а ни хрена не завоевали!

— На пятую коммунистическую стройку приехал, а что проку? Все хужей и хужей. Ни жратвы, ни тряпок.

— Ежели б в тридцать четвертом году Сталин ушел в отставку, а Брежнев в семьдесят четвертом, то мы жили б — во как!

— Цыц, пятьдесят восьмая статья по тебе плачет! Ты тут сметану не разливай! А то по ушам — и на сквородку!

— А мне один хрен, где резиновый сапог жрать!

— Подождем официантку, расплатимся и уйдем, — сказал Дроздов. — Я устал. И мне тоже не по себе.

Он ощущал ласковую тяжесть ее руки, успокоительно лежавшей на рукаве его куртки, но уже тоска наплывала на него из гущи сплетенных криков, гама, из спертого воздуха, пропахшего нечистой одеждой, и он не мог перебороть сознание обмана, коварно совершенного перед всеми этими нетрезвыми и плохо выбритыми людьми, другими людьми, трезвыми и опрятными, обитающими в уютных, оснащенных кондиционерами кабинетах больших городов, в комфортабельных домах с охраной в просторных вестибюлях, с бесшумными скоростными лифтами в зеркалах, с заграничным кафелем и душистым мылом ванных комнат, озонаторами и, разумеется, горячей водой; совершенного обмана и людьми науки, сидящими в стеклянных небоскребах многих тысяч научно-исследовательских институтов с жирной оплатой и благами мощных ведомств, торжествующих в «охотничьих домиках», саунах, бассейнах и массажных, где обслуживают в невинных передничках девицы, выученные днем и ночью исполнять разнообразные желания гостей. Не Древний ли это Рим двадцатого века среди бедности?..

«Да, ложь, роковые проекты и обман всех, кто в этой чайной и кого я встречал на стройках и кому обещали все блага земные — электричество, дома, еду, благополучие. Что же мы дали им? Нищенское существование бродяг. Я тоже участник этой лжи и заговора против народа. На моих глазах происходило разрушение основ жизни: земли, воды, богатства. Тарутин вперед меня понял и возненавидел эту смертельную науку тайного кругового всесилия над людьми. Неужто я вот здесь, в чайной, молча отверз уста для истины? — И Дроздов усмехнулся своему запоздалому неверию, которое мучило его не первый день. — Избавиться от мелко, ничтожно, подло совершенной когда-то измены для того, чтобы теперь не было легковесной надежды на спасение человечества технократами? И это моя гибель? Да, это так — кризис, крах...»

— Что за чудак этот пролетарий! Он идет сюда с милиционером, — сказала Валерия, слегка надавливая на запястье Дроздова. — Совсем уж странно. Ты видишь?

В тесном проходе между столами суматошно спешил, суетился морщинистый человек, то просовываясь вперед милиционера, то пропуская его перед собой; неумытое лицо с полосами крови передергивалось, кукожилось в заискивающих гримасах, в искательном призыве сострадания, и выпучивались и юлили блеклые глаза. Лейтенант милиции, немолодой, крепкий, как грибок, шагал начальственной поступью, багровый от раздирающей рот зевоты, но его решительные губы каменно цепенели, и, скрывая муки зевоты, он пытался выкашлянуть воздух широким носом, отчего выступали слезы на веках. Видимо, за неимением происшествий лейтенант только что дремал где-то в задних комнатах чайной.

— Вот он! — крикнул морщинистый, тыкая измазанный засохшей кровью палец в направлении Дроздова. — Избил меня в кровь! Искровянил меня, сволочь! Набросился, как зверь! У меня свидетели есть, вот ребята со стройки сидят, видели, как он...

Шурша плащом, лейтенант милиции подошел к столу, натужным кашлем подавляя зевоту, и, уже исполненный непоколебимой официальной власти, упер взгляд в переносицу Дроздова, и тот почувствовал проникающий холодок его голоса:

— Прошу предъявить документы.

— Сделайте одолжение, — сказал Дроздов. — Садитесь, лейтенант. Вам, вероятно, придется составлять протокол. Я к вашим услугам.

Лейтенант взял паспорт и выразительно пощелкал корешком по ладони.

— Не тут, гражданин, не тут. Найдем место, где оформить. — Он обернулся к ближнему столу, где сидели стриженые парни. — Попросил бы кого-нибудь из вас пройти со мной как свидетеля избиения.

Парни глянули на лейтенанта, дурашливо осклабясь.

— А жена у него была наполовину дура, наполовину умная. Один дед в снохачах ходил... — изумленно сказал скороговоркой круглоголовый парень и, развлекаясь, загоготал. — От анекдот похабный, со смеху подохнешь!

— Ты, остриженный, памороки мне не забивай. Я говорю: свидетели пускай со мной пройдут, — командным тоном оборвал лейтенант. — Вот ты видел избиение гражданина Грачева?

— Я? Эх, начальник! — круглоголовый парень полоумно завел глаза под лоб. — Косой я на два уха. Как я увижу? Анекдоты рассказывали. «Подражни, подражни, говорит, котенка». — «А он же царапается». Эх, подначка ты подначка, все четыре колеса! «Вы, говорит, откуда, из Москвы?» «Москвич», — говорит. «А жена откуда?» — «Да тоже из Чилима. Бройлерные комары у нас. Сквозь резиновые сапоги кусают». Смешно до сшибачки! Ха-ха! Хе-хе!

— Дурака играешь? — выговорил лейтенант, с угрозой напруживая шею. — Мало тебе одного срока было? Вернулся — радуйся. А со мной ты в бильярд не играй. Я тебе не шарик. По-серьезному спрашиваю: кто видел действия хулиганства, прошу пройти со мной!

— А ну ж, ребята, вы же видели, как он меня уродовал! Да что ж вы? Я ж не чужой вам! — взмолился морщинистый, подскакивая к столу парней, затем кидаясь к столу, где склонились над тарелками беззубая старуха и бойкая девица с сорочьими глазами. — А вы, бабы, тоже ведь не слепые были! Меня, меня он бил. Меня, пьяного бил, слабого бил! А ты, ты!.. — подтолкнул он в плечо девицу. — Ты что ж, столичным за мармелад продалась? Купили тебя?

— Я видела фулиганство. Я пойду, — произнесла вызывающе девица, выпрямляя пухлую грудь. — Я свидетельница...

— Так, — с мрачным удовлетворением отметил лейтенант.

— Сиди-и, безмозглая курица-а, — разозленно протянул круглоголовый парень. — Мы не видели, а она видела? Подол ты свой видела. Куриной башкой не соображаешь, что закладон москвича хотят сделать? Ты ведь, алкаш, на гостя сам первый попер, на стычку его вызывал! Не так, что ль, бульдозерная задница? Скажи честно мильтону! Гапон, мол, я!

— Тих-х-а-а! — скомандовал густым криком лейтенант, галошей выставляя вперед нижнюю челюсть. — Я не позволю нецензурных оскорблений личностей! Прошу вас следовать за мной, гражданин... гражданин Дроздов. И вас прошу, гражданка свидетельница! Пра-ашу!..

— Ишь ты! Вот так! — захихикал морщинистый и взмахнул кулаком, ставя точку. — От правды не уйдешь!

— Пра-ашу!

Лейтенант-грибок сделал выметающий жест в сторону бойкой девицы, которая мигом вскочила, оправляя свитер на пышной груди, потом сделал приглашающий знак Дроздову, и тот проговорил не без иронии:

— Как случилось, что вы узнали мою фамилию, не заглянув в мой паспорт? Судя по вашим жестам и пассам, вы или экстрасенс при милиции, или ясновидец. Впервые встречаюсь с такой профессиональной проницательностью. И товарищ Чепцов, и вы очень впечат-

ляете. Ну хорошо, пойдемте составлять протокол. Валя, подожди с Яковом меня здесь. Я, видимо, скоро.

— Просто справедливая логика! — воскликнула Валерия, и глаза ее гневно потемнели. — Вы, лейтенант, неотразимы. С одной стороны должны быть свидетели, а с другой?.. Мы видели этого незаурядного мужчину, мечтающего быть пролетарием, и видели, как он по-ангельски протягивал нам руку дружбы с разбитой бутылкой. Этот выпивоха весь в крови. Посмотрите на его руки, изрезанные осколками бутылки. Кровь на лице от его рук. Вы это не заметили, уважаемый товарищ лейтенант?

— Пра-ашу вас оставаться на своих местах! Органы правопорядка никакой московской науке не подчиняются! И прошу вас не учить меня! — повысил голос лейтенант, и опять галошная челюсть его воинственно выдвинулась вперед. — Я вам не пешка с Минеральных Вод!

— Что? — спросила Валерия.

— Я вам не пешка с Минеральных Вод! — повторил лейтенант, и выражение неприступности заледенело в его взгляде.

— Пешка? С Минеральных Вод? — У Валерии изогнулись брови, вздрогнул голос смехом. — Почему с Минеральных Вод?

— Не ваше дело, гражданка! Прошу следовать за мной тех граждан, которые необходимы для протокола. Пострадавший, идите вперед. Не улыбтесь, гражданочка, и за тыщи километров от Москвы никому... хоть и академику, нарушать общественный порядок не позволим! От ответственности у нас никто не уйдет.

— Нет сомнения, что охранитель истины вы образцовый, — сказал Дроздов. — Наверное, остальные остались в Минеральных Водах.

— А вы как думали! У нас никому поблажек не будет, гражданин Дроздов!

Он провел их в подсобное помещение, тесное, душное, рядом с кухней, по-хозяйски расположился за столом, не спеша раскрыл паспорт Дроздова, солидно напрягая шею, заостряя пульки зрачков.

— Ясно. Прописаны в Москве, а приехали к нам в командировку? На каком основании приехали?

— Представьте, товарищ лейтенант, приехал.

— Как это «представьте»? Вы шутки бросьте. Это черта можно представить.

— Представьте, что приехал черт, чтобы узнать, при каких обстоятельствах убили московского ученого здесь, у вас, в Чилиме.

— Вашего ученого никто не убивал. По пьянке сгорел в костре.

— У вас все родственники живут в Минеральных Водах, лейтенант?

Дроздов не видел и не мог видеть в этот момент, как в чайной, истерически давясь задушенными рыданиями, тягуче мычал, кусал себе в кровь руку, чтобы не закричать в голос, бился в припадке бессилия Улыбышев, повторяя всхлипывающим носовым шепотом:

— Валерия Павловна, я не могу! У меня что-то с головой случилось! Мрази и глупцы! Что они делают? Занимаются какими-то идиотскими протоколами, провокациями и не хотят искать убийц Тарутина! Почему это? Я ничего не соображаю!..

Валерия молчала, глядя в окно, где с далеких гольцов, должно быть, дуло вечерним холодом и в падях буграми колыхался туман.

Глава двадцать четвертая

В Москве моросило.

Стекла такси запотевали, поскрипывающий «дворник» размазывал грязноватые радуги, и утренние улицы с ранним светом в магазинах, с мокнущими очередями на отполированных дождем тротуа-

рах, — все в туманце дождя было смутно, знакомо: и эти очереди, и скопища машин на перекрестках, и толпы зонтиков на остановках — все, что на время было забыто за тридевять земель отсюда, в невеселой чилимской тайге. Дроздов впервые почувствовал эту неприютность, отчужденную бедность, жестокость таежного края, прежде, несмотря ни на что, в определенный срок манившего его как земля обетованная. После похорон на ужасающем своей заброшенностью чилимском кладбище, где присутствовало их трое, шофер и сторож из морга, нанятый привезти на грузовике гроб и вырыть могилу, после поминок в гостинице, устроенных Валерией накануне вылета (выпили по глотку водки, сбереженной ею во фляге), уставший до крайности Дроздов позвонил председателю райисполкома и попросил короткой встречи. Однако встреча не могла состояться по причине отъезда председателя в глубинку, и тогда Дроздов по телефону высказал ему все, что думает о начатом без утвержденного проекта строительстве на Чилиме, о подозрительной гибели члена экспертной комиссии гидролога Тарутина, о необъяснимом исчезновении его бумаг, о кощунственно распространяемых среди рабочих слухах, извращающих обстоятельства его гибели, наконец, о глупейшей провокации в чайной. Председатель сдержанно и подробно объяснил, что мнение исполкома о необходимости строительства послано в Москву и все инстанции отозвались в положительном плане, то есть исполком безоговорочно одобряет строительство на Чилиме каскада электростанций, что послужит расцвету региона, поэтому местным властям странно слышать отдельные негативные голоса московских ученых, которые, приезжая сюда, расхолаживают строителей, но более того — находят нужным беспробудно пьянствовать до бессознательного состояния, «приводящего, по несчастью, к смерти в таежных кострах», либо устраивать дебоши в чайных на виду у рабочих.

Не было смысла спорить с ним, прямолинейным или коварным, но его слова о московских ученых, пьянствующих «до бессознательного состояния», и о дебошах в чайных зажгли огонек бешенства в Дроздове, и он ответил, не справляясь с собой: «У вас в тайге совершено убийство незауряднейшего человека. Это убийство на совести Чилима. И, вероятно, Москвы. Поэтому вряд ли вам выгодно расследовать его — в силу многих обстоятельств. Что касается дебоша в чайной, то не с благословения ли начальства устраиваются провокации на виду у рабочих. При заготовленном милиционере в подсобке. Впрочем, каждый наделен теми способностями, которые заслуживает!».

В конце концов Дроздов не жалел, что они не встретились, это избавило его от тягостных минут. Он знал, что не выдержит цинизм придуманной Чепцовым легенды о гибели Тарутина и не выдержит коварного иезуитства в позолоченных пилюлях, вкус которых он полной мерой ощутил в заключительных словах чрезвычайно воспитанного председателя исполкома: «Ученому тоже следует верить соответствующим органам и вести себя в рамках приличия советского человека. Оскорбление органов охраны правопорядка подсудно. Желаю счастливо долететь до Москвы, которую вы так неосторожно обвиняете. Чилим есть Чилим. Москва есть Москва. Кстати, из Москвы, из Цека на ваше имя пришла телеграмма. Вам ее передадут».

Уже в такси по дороге из аэропорта Дроздов припомнил фразу телеграммы, непонятно почему подписанную Битвиным: «К огорчению ваше поведение в Чилиме недостойно ученого», припомнил ее образцово-целомудренный текст, ее невозмутимый упрек, обещавший то, что (без неожиданности) он и должен был предполагать, возвращаясь из Чилима... Но не было ни сожаления, ни раскаяния, только мучило и не освобождало чувство беспокойства, недоделанности, незавершенности, будто некто беспощадный и всевластный остановил его на середине пути лживой силой.

— Пожалуй, скептиками сказано: если есть зло, то нет бога, — вслух проговорил Дроздов, рассеянно протирая затуманенное стекло, за которым шли осенние московские улицы.— Улыбышев сказал, что чилимскому председателю исполкома тридцать шесть лет. На три года старше Христа! Но почему-то кажется, что с послушной улыбкой первый гвоздь для распятия подал бы и он. Новые карьеристы на местах в заговоре с московскими монополиями, и страну распинают они вместе. И Чепцову лет тридцать пять.

На кольце бульваров дождь усилился, с дробной быстротой застучал по крыше такси, запузырились на асфальте почерневшие лужи, по забрызганному грязью переднему стеклу били струи, прилипали распластанные листья, скользили вверх-вниз на качелях «дворников», и пожилой шофер, покосясь на заднее сиденье, пробормотал ворчливо:

— Простокваша, чтоб ей провалиться. Вся Москва вроде в мокром мешке сидит. В Сибири — тоже льет?

— В Сибири ветер, — невнимательно ответил Дроздов.

— Ты слышал? В мокром мешке... — сказала шепотом Валерия и просунула руку ему под локоть, поеживаясь. — Я не хотела, чтобы мы оказались в мокром мешке. Знаешь, такой средневековый способ казни. Засовывают в мешок, завязывают веревочкой и сбрасывают несчастных в реку. Вот тебе и мокрый мешок.

— Почему ты об этом заговорила?

Она притиснулась виском к его виску.

— Как нет на свете серо-буро-малиновых кошек, так нет сейчас и правды. Я с тобой согласна. Но мне как-то стало тревожно... когда ты сказал предисполкома, что Москва участвовала в убийстве Тарутина. Ты переступил через что-то очень запретное, даже если ты подозреваешь что-то...

— Я и так совершил цепь ошибок. И еще об одной не жалею...

Валерия прервала его тихим протестующим движением головы.

— Крупные чиновники из монополий мстительны. Это я знаю. А наша Академия!.. Я уже давно потеряла веру в академишек. Ученые мужи... Образцовые исполнители чужой воли. О, мученики совести и страстотерпцы! За крохотным исключением как они удивительно благоразумны, бездарны и безмолвны в любом добром деле! Владения надменного Козина. Известно ведь, что мнимая величина — это корень квадратный из минус единицы. От них нельзя ждать защиты.

— Валерй, я не жду ее от корней квадратных из минус единицы. Одна надежда: вдруг прискачет на своем Россинанте верный Дон Кихот.

Она наморщила переносицу.

— Не надо шутить. Один против всех? Тарутина уже с тобой нет.

— Вот что! — с веселой решительностью заговорил Дроздов. — Во-первых, я не один, если верить некой легковейной Золушке, кандидату наук, которая сейчас сидит со мной. Во-вторых, я тебя домой не завожу, мы едем ко мне. Я отдаю в твои владения ванную, свой халат, сам жарю яичницу, достаю из холодильника бутылку шампанского, мы садимся с тобой завтракать, ты приготавливаешь кофе, и мы решаем с тобой вечный вопрос: как жить на белом свете дальше. Согласна?

— Только в одном пункте, — сказала она. — Мы заедем на полчаса, я приготовлю кофе и уезжаю к себе. Сегодня мне нужна своя ванна, своя квартирка, свой халат, своя тишина, свое одиночество. И все свои женские штучки-дрючки, чтобы вернуться в цивилизацию. Ты это понимаешь? По лицу вижу — нет.

Он возразил:

— Ясно, нет. Понимаю только в главном пункте. Он звучит по-современному: молодая женщина не хочет терять эмансипированной самостоятельности и отказываться от своего стиля жизни. Так?

— У меня тысяча пороков, но все они простительны... — Она глубже просунула руку Дроздову под локоть, поцеловала его в щеку холодными губами. — Ты на меня не сердишься? А я думаю о той ветреной ночи, и меня немножко знобит.

И он вспомнил ненастную ночь, когда она осталась у него ночевать, ее робко сдвинутые колени, свеже-терпкую скользкость ее рта и, чувствуя прилив душной нежности к ней, сказал с хрипотцой:

— Я не могу сердиться на женщину, которая мне нравится безнадежно. И не хотел бы, чтобы она ушла и заперлась в своей квартирке, довольная свободой. Если ты можешь терпеть эмансипацию, то я враг ее. Она когда-нибудь отнимет у мужчин всех женщин.

— Еще минутку, господин палач.

— Это уж великолепно.

— Не иронизируй, пожалуйста. Я хочу сказать, что некая французская баронесса в последнее мгновение казни сказала своему палачу «еще минутку», чтобы продлить минуту жизни. Я тоже хочу... продлить... Дай мне привыкнуть.

А когда въехали во двор на проспекте Вернадского под черный, сквозной навес тополей, на жирно-тусклый асфальт с островами размокших листьев, когда машина затормозила у подъезда, возле которого в водосточной трубе бурно гремело, переливалось, всплескивало, Дроздов сверх всякой меры расплатился с шофером (в благодарность за удачное возвращение), подхватил два рюкзака, и они поднялись в лифте на шестой этаж. В лифте молчали, здесь не было тесно, а она, не прижимаясь, стояла вплотную, он видел слабую улыбку в ее теплых, не совсем искренних сейчас глазах, не отрывающихся от его зрачков, как в тот момент ее загадочной фразы: «Еще минутку, господин палач». И он подумал невольно, что неугасающая память о покойной Юлии оставалась в его душе, несмотря ни на что, незапятнанной, — незащищенный, доверчивый ребенок Юлия не знала, боялась жизни, и, быть может, это погубило ее. Валерия была из другого, сильного племени женщин, и нередко у него возникало такое чувство, что он видел воочию одну Валерию, а мысленно представлял ее другой. Вот и теперь в лифте стояла перед ним в чем-то закрытая на тайный замочек молодая женщина и вместе с тем была же и другая Валерия, изнемогающая от нежности в ту непогожую счастливую ночь, и он не забыл дрожь ее коленей, ее неумение, наивность, ветряной холодок ее кожи.

— На полчаса, хорошо? — не отводя от его глаз улыбающиеся глаза, сказала она. — Я только приготовлю кофе...

На лестничной площадке перед дверью своей квартиры он бросил рюкзаки на пол, легко обнял Валерию за плечи, целуя ее в прохладноватые, почти безучастные губы, вдруг ставшие такими родственно близкими после той непогожей ночи, и сделал усилие, чтобы сказать вполне серьезно:

— Еще минутку, господин палач. Жуткая фраза. Согласись — в ней какая-то аристократическая чертовщина. Не надо долго ко мне привыкать, баронесса. Я не «господин палач», а архангел-хранитель. Останься, Валя, и это не серо-буро-малиновая кошка, а правда.

— Нет, — заторопилась она не согласиться с ним. — Я не могу у тебя остаться. Мне надо одной. Будет кощунственно, нас бог накажет, если мы так быстро забудем несчастье. Я знаю, что не выдержу, когда мы останемся вместе... Перед моими глазами все время стоит Николай. И почему-то не тот силач и смельчак, который хотел пить шампанское из моей туфли, а то страшное, что мы похоронили. Пойми, я побуду у тебя полчаса, напою тебя кофе и уеду. Так надо.

— Значит, серо-буро-малиновая кошка гуляет по крышам сама по себе, — ответил Дроздов, стараясь показаться спокойным, и достал ключ от двери, испытывая шершавый комок в горле, оттого что она сзади прижалась щекой к его плечу, так прося у него прощения.

Он долго не мог открыть дверь.

Должно быть, что-то случилось с замком в его отсутствие, ключ не поворачивался, замок не поддавался, не подчинялся силе — и внезапная мысль ожгла его подозрением, связанным с ночными звонками перед отъездом в Сибирь. Очевидно, в квартире хотели побывать или побывали в дни его отсутствия и, работая каким-то железным предметом, испортили замок. Но кто? С какой целью?

— Застрял ключ? — спросила Валерия притворно сонным, капризным голосом.

— Да что-то с этим механизмом, — ответил Дроздов, не без раздражения выдергивая ключ и разглядывая его при сером свете дождливого окна на лестничной площадке. — Пожалуй, не ключ, а подкачал замок. Наверняка каким-то образом с той стороны сработал предохранитель. Вот некстати!

— Но, может быть, там кто-то есть в квартире, — предположила Валерия. — Ты у кого-нибудь оставляешь ключ? У Нонны Кирилловны, например.

— У нее — нет. Ключ, ключ... — повторил он, хмурясь. — Второй ключ у Мити. Но Митя знает, что я в отъезде. И без меня прийти в пустую квартиру ему нет смысла. Но, возможно, ключ оказался у Нонны Кирилловны, только зачем — непонятно...

Он нажал на кнопку звонка продолжительно и настойчиво, не надеясь, что в квартире может оказаться Нонна Кирилловна, думая об ином, жестоком и невозможном, о чем не надо было говорить Валерии, — это невозможное погружалось в лунную пустоту ночи, разбитую черными тенями тревоги, витавшими над звонком телефона в тишине его кабинета.

— Ну, конечно, я не ошиблась, — утвердительно сказала Валерия, прислушиваясь. — Там кто-то ходит. Ты слышишь какое-то шуршание, будто бы шаги?

Он тоже слышал в передней тихие звуки неопределенного шевеления, ползущие шорохи, точно ветерком передвигало по полу скомканную бумагу. Затем ему почудилось вдруг за дверью частое, как после бега, дыхание, и он, ошеломленный догадкой, позвал громким голосом:

— Митя? Ты?..

— Па-апа! Мой папа! — пронзил его приглушенный вопль из-за двери. — Папа, папа, папа?..

Он не мог, по-видимому, справиться с замком, быстро отщелкнуть предохранитель, открыть дверь, что-то мешало там, гремело, падая в передней, а когда за порогом, наконец, раскрытой двери среди опрокинутых стульев, среди этой разрушенной баррикады Дроздов увидел дрожащего худенькими плечами сына, его дрожащее радостным плачем лицо, он с удушьем в груди подхватил, поднял его, прижал тонкое, жесткое, ощутимое мальчишескими ребрышками тело и, целуя его растрепанные, пахнущие сладким ветром волосы, его щеки, горячо и солоно залитые слезами, повторял в горьком и счастливом забытьи:

— Ах ты, Митька, Митька, дорогой воробей ты мой, что же ты здесь один делаешь? Совсем один в квартире? И что же ты за такую крепость из стульев устроил? Кто-то приходил? Ты кого-то не хотел пускать? Ну, рассказывай, рассказывай, как ты жил без меня? Ты давно здесь?

— Папа, я не хотел ее пускать, — захлебывался Митя, тонкими руками обвивая шею отца. — Я ушел к тебе, я соскучился... Я хотел тебя ждать, а она приходила, звонила, стучала... Она плакала, что я ее убиваю. Я ее не убиваю. Я только не хочу с ней... Она меня не любит, бьет по голове... У меня голова болит... Я хочу с тобой. Папа, родненький, не отдавай меня. Я умру там. («Неужели он помнит фразу Юлии?») Я не хочу у нее. Я буду посуду мыть, пыль вытирать на полках. Я буду за собой трусики стирать! Папа, пожалуйста, не отпускай!.. Пожалуйста! Пожалуйста!..

Умоляющий голосок Мити сорвался, поперхнулся, и он закашлялся сухим давящимся кашлем, краснея лицом, со стоном напрягаясь всем худеньким телом, и боль этой родной слабенькой плоти, жесткие ребрышки, вдавливающиеся Дроздову в грудь, передавались ему невыносимой болью.

«Мальчика на всю жизнь искалечит астма... если уже не поздно», — пронеслось тенью страха в его сознании.

— Ладно, Митька, мой Митька, — говорил Дроздов, превозмогая хрипоту в голосе, нося сына по комнате. — Ты ведь у меня мужик спохватистый и с юмором, мы с тобой что-нибудь интересное придумаем, ты вот только не кашляй, а то ты своим кашлем сердце мне разрываешь, Митька мой дорогой... Мы ведь с тобой двое мужчин и давай держаться, как мужчины, давай, а?

— Я не буду, не буду! — стал обещать Митя и поспешно охватил обеими руками горло, давясь кашлем, как недавно в чилимской гостинице заглушал плач взрослый Улыбышев, рассказывая об убийстве Тарутина, и это сходство жестов потрясло сейчас Дроздова. — Папа, дай мне честное слово, что не отпустишь меня к ней! Ну, пожалуйста! Пожалуйста! — вскрикивал Митя и, словно бы силясь угодить отцу, заглатывал судорожный кашель и даже пытался угодливо заулыбаться своими зелеными глазами, чрезмерно ясными, какие бывают у больных детей.

— Я даю тебе честное слово, — глухо проговорил Дроздов и опустил Митю на пол в кабинете, где на ковре, на стульях, на креслах были разбросаны книги, тетради, валялись фломастеры и разрисованные листы бумаги. — Даю тебе слово, что ты будешь со мной, Митя, — пообещал Дроздов, еще не зная, не определяя для себя, как разумнее осуществить это новое, необходимое в его жизни и жизни Мити, заранее предполагая всю пытку изнурительных объяснений с Нонной Кирилловной, всю их тяжесть, так как ничего нельзя было ей доказать и хотя бы на время оторвать от нее Митю. Уступая ей в правах на сына, он, по вынужденному самоприговору, не был образцовым отцом, но, верный созданной им «мужской» дружбе, он сдерживал и изгонял унижающую их обоих нерасположенность к Нонне Кирилловне, потому что виноват был сам, вообразив некую родственную заботу и любовь ее к внуку после смерти Юлии.

— Даю тебе честное мужское слово, — повторил Дроздов, с облегчением принимая решение, и как взрослому протянул руку Мите. — Так давай лапку, сын. Теперь мы будем вместе. Всё. Начнем с тобой новую жизнь. Только сам не предавай меня, не уходи. Если трудно будет... Сколько же ты здесь? И давно ждешь меня? — спрашивал Дроздов и быстро оглядывал свой кабинет, приведенный в тот естественный беспорядок, который всегда был приятен ему, когда приходил Митя. — А что ты ел, пацан? А это что? Сгущенка, что ли? — удивился он, обнаружив на письменном столе раскрытую банку сгущенного молока, столовую ложку и пустой целлофановый пакет из-под печенья. — И не голодно было?

Он выпустил хрупкую, словно веточка, руку сына, присел на корточки.

— Я разорил твой холодильник, — сказал Митя кротко, а слезы, вызванные кашлем, еще блестели росинками на его щеках.— Я съел колбасу, плавленый сыр и две банки сгущенки. Ты не сердишься? Я тебя не объел?

— Ах ты, Митька, Митька, да за что же я могу на тебя сердиться! — проговорил Дроздов, взъерошив желтые волосы сына на его теплой макушке. — У нас все вместе!

Митя стоял перед ним в аккуратной шерстяной курточке с белыми оленями, в джинсовых брючках, купленных Нонной Кирилловной

по своему вкусу, смотрел ясно-зелеными обмытыми глазами, в них таяло страдание и солнечными зайчиками оживал блеск.

— Папа! — крикнул Митя восторженно и с ликующим доверием сообщника бросился отцу на шею. — Я знал, что ты меня не отпустишь. Она меня не любит, папа! Я знал, что ты меня любишь!..

— Только не предавать друг друга. Хорошо, сын?

— Папа, кто это?

В эти минуты он был весь с Митей, не ожидая его бегства, этой недетской самозащиты, решительности своего физически слабенького сына, его страстной тяги в родное убежище, придавленной страхом и боязнью, что отец не примет его, не пойдет на ссору с «бабушкой Нонной», как постоянно бывало раньше. Да, он все время тосковал по Мите, по его легоньким пшеничным волосам, по его голосу, смеху, зазвеневшему рассыпчатыми искорками, когда по телефону он рассказывал веселые школьные истории, но сейчас, весь будучи с сыном, Дроздов чувствовал невидимое присутствие Валерии, что (чудовищно подумать!) было вроде бы лишним, ненужным в этой встрече его с Митей. А она не вошла в комнату, она осталась в передней: что-то властно удержало ее там, подобно последнему наказанию за эти дни, а может быть, она не хотела мешать им, отцу и сыну, к которым неисповедимо имела и она отношение.

Дроздов услышал возглас Мити: «Папа, кто это?» — и поднялся с корточек, поторопился обернуться к двери. На пороге стояла Валерия, только что вышедшая из передней, и Митя глядел на нее увеличенными глазами.

— Папа, кто это?

— Это Валерия Павловна. Я был с ней в Сибири, — сказал Дроздов, придавая ответу обыденную простоту. — Познакомься и протяни руку, паря. Валерия Павловна мой друг, значит — и твой.

— Папа, я не хочу!

— Что не хочешь? Знакомиться? Какие причины, парнище?

— Папа, я не хочу! — стремительно заговорил Митя, потупясь от волнения. — Я хочу с тобой. Не надо, не надо! Это ты мой друг, самый лучший! Ну, пожалуйста! Пожалуйста! Не надо!..

Он вскинул растерянно-умоляющее лицо, и Дроздов в замешательстве попробовал шуткой умерить непримиримость сына:

— Пожалуй, Митька, ты у меня ярый женоненавистник. Но ты знаешь, паря, не все женщины одинаковы. Есть и ничего...

— Ничего была моя мама, — отрезал Митя и по-взрослому насупился. — Ты ее тоже любил.

Валерия тихонько приблизилась к Мите, с осторожной приветливостью притронулась к его светлым волосам.

— Стало быть, Митя, я тебе совсем не понравилась?

— Нет.

— И мы не можем быть друзьями?

— Мы с папой...

Он неприступно отклонился из-под ее руки и, колючий, повернулся спиной — это, наверное, была его единственная защита от ее близкого взгляда.

— Ты хотел сказать, что вы с папой друзья? Что ж... Это выше всего — мужская дружба, — проговорила Валерия с серьезным соучастием. — Тогда до свидания, милый мальчик. Может быть, мы с тобой еще увидимся, а может быть, и нет.

А Митя, даже не поворачивая головы к ней, покусывал губы, весь натянутый, как струнка. И Валерия коснулась пальцем его локтя, сказала примирительно и виновато:

— Хорошо, я на тебя не сержусь. И ты на меня тоже не сердись.

Она вышла в переднюю, и здесь Дроздов, наблюдавший ее и Митю, со сбитыми ударами сердца снова встретил ее прямой взгляд,

загадочно упирающийся ему в зрачки. «Я пошла...» В ее серых глазах, показалось в ту минуту, темнел синеватый спокойный вечер, а голос был ласков, ровен, — и жесткая спазма перехватила дыхание Дроздова. Нет, у нее не было назойливой рабской влюбленности, не было желания быть неразделенной и неотлучной — но что же так трогало его, так влекло и, не ослабевая, разжигало любопытство ко всему, что было связано с ней? Ее ласковый холодок? «Еще минуту, господин палач...» Ее греховность и непорочность? Иногда он думал о Валерии прежде: «Почему ее вспухшие губы по утрам и синие круги под глазами кажутся мне знаком греховности?» — и не находил ответа, как не находил ответа и сейчас.

— Я рад, что ты познакомилась с Митей, — сказал Дроздов и поцеловал ее не в губы, а в подставленную щеку. — Митька еще подружится с тобой.

— Да, да, — сказала она и на миг припала лбом к его плечу. — Не провожай, ради бога. Оставайся с Митей. Я сама.

— Подожди. Я вызову по телефону такси. Дождь ведь.

— Метро рядом. Я дойду. Не беспокойся. Не провожай.

Она взяла рюкзак, отходя к двери спиной.

— Прости, я вам помешала. Я очень виновата, — повторяла она ласковым и ровным голосом, готовая то ли зарыдать, то ли засмеяться.

За оплывающим окном шумели внизу тополя, а в кухне все было уютно, светло, по-домашнему согласно после того, как они поочередно с наслаждением вымылись в ванной, натираясь пышно намыленной пахучим шампунем мочалкой, с наслаждением постояли под душем, отчего Митя повизгивал, подставляя затылок колкому, щекочущему водопаду. Потом Дроздов в купальном халате, с мокрыми причесанными волосами, а Митя в теплой куртке, тоже причесанный, сидели за столом, пили свежезаваренный чай — двое понимающих друг друга мужчин, навечно объединенных дружбой, ведущих безотлагательный разговор о том, как оба жили в продолжительной разлуке.

— И как ты тут исчезал один? Не страшно было в пустой квартире? Не скучно? — спрашивал Дроздов, зная Митину боязнь темноты. — Как ты тут себя чувствовал?

— Знаешь, папа, — говорил Митя, беспредельно довольный этим мужским общением, ничем нерушимой теперь дружбой с отцом, и аппетитно похрустывал печеньем, отхлебывал чай. — У меня было оружие, я клал его на полу возле тахты. Я не боялся.

— Оружие? Что за оружие?

— А твоя двухстволка! Тульская! — пояснил Митя со знанием дела. — Та, что у тебя в кабинете на стене висит между полками. Вот это ружье! От него так здорово пахнет... Как чесноком!..

— Ружье-то ружье, но оно не заряжено. Ты знаешь, что я давно не охочусь и не покупаю патроны.

— Да нет, папа, нет! Оно заряжено! — воскликнул Митя и сразу спохватился, усердно макая печенье в чай, затем без долгих колебаний признался: — Я в твоем письменном столе три патрона нашел. Я зарядил, папа. На коробке было красным карандашом написано волчья дробь. Это ты писал?

— Волчья дробь? Ах, вот что. Ружье и сейчас заряжено?

— Заряжено! Показать? Принести?

— Не надо. Я посмотрю потом. Попьем чай, и посмотрю. Нам никто не угрожает, и оружие нам не нужно. Мне кто-нибудь звонил?

— Один раз!

Митя, возбужденный, веселоглазый оттого, что наконец-то свободно и равноправно сидел за столом не с бабушкой Нонной, а вдво-

ем с отцом, разговаривая об интересных вещах, тем более что вокруг была еще мамина кухня и был любимый клюквенный джем, лежало в раскрытых пачках печенье на сиреневом пластиковом столе; а батареи, нагреваемые к холодам, дышали теплом; изредка начинал бормотать, сотрясаться холодильник, ворчливо, доказательно вплетаясь в разговор, и это тоже радовало и смешило Митю.

— А вчера ночью телефон звонил, — торопился рассказывать Митя. — Ужасно не хотел вставать. Я думал: бабушка Нонна. А телефон звонит и звонит. Прямо как кастрюлей по голове. Я взял трубку, а там дядька какой-то шипит и ругается: «Щенок, сопля, ты кто такой? Окурок, повесь трубку». Я сказал, что он сам щенок, сопля и окурок, и повесил трубку. Извини, папа, но я разозлился на этого пьяного. Телефон опять... А я не подошел. Накрыл голову подушкой...

— Понятно. Правильно сделал, Митя. Еще чаю? — сказал Дроздов, подливая чай сыну и думая о своем, что не имел права сказать ему. — Значит, ты нашел у меня в столе три патрона с волчьей дробью. Зарядил ружье и тебе не было страшно. Ох, Митька, Митька, знаешь ли ты, что и ум, и оружие, и физическая сила иногда не помогают? Ничтожество бывает сильнее. Организованное ничтожество. Впрочем, мы с тобой давай будем верить, пока можно, что д'Артаньян всегда победит. У него честная шпага, а его друзья мушкетеры никогда не предадут. Будем верить? — Дроздов поощрительно кивнул Мите, посмотрел на затененное под ударами дождя окно, где кипели, сталкивались, извивались по замутненному стеклу струи, и, раздумывая, нахмурился. — А вот скажи, Митя, — заговорил он, зная, что касается запретного, что не выходило у него из головы, но о чем не надо говорить с сыном. — Вот скажи, Митя, если бы на тебя действительно напали бандиты... Нет, давай вообразим другое, — поправился Дроздов, стараясь уже казаться выдумщиком интересных сюжетов. — Вообразим себе, что мы с тобой пошли на охоту. Наступил вечер, глушь. Заночевали в тайге у костра. И вдруг представь — из темноты на нас напали вооруженные бандиты и представь — тяжело ранили меня, а ты в это время ходил за сушняком, но видел все, что произошло. Что бы, Митька, стал делать ты? Стал бы стрелять из ружья в бандитов?

Затаенно примолкший было Митя вскинулся змейкой, его чуткие глаза заблестели оборонительным мальчишеским ожесточением, и он воскликнул запальчиво:

— Папа, я выстрелил бы в них! Я убил бы их. Я бы отомстил!

— Митька, дорогой мой Митька, значит, ты тоже кое в чем не согласен с Евангелием. Оно ведь против око за око, зуб за зуб... — проговорил Дроздов, видя зажегшиеся воинственным огоньком Митины глаза и представляя в чащобе осенней тайги трещавший сухими лесинами костер, летящий лохматыми извивами в черноту нависших над ним елей, и такую знакомую сильную фигуру Тарутина, ничком лежащую возле огня; на спине, под лопаткой расплывается темное пятно, уже различимое на куртке, голова размозжена смертельным жаканом (второй выстрел), погружена во что-то расплывшееся, красно-белое на земле, а неподалеку от поверженного тела Тарутина сидит в кустарнике, вконец изжеванный ужасом, трогаясь в оцепенении рассудком, Улыбышев и в кровь кусает себе руку, чтобы не сойти с ума.

— Да, Митя, я тоже кое-что не могу простить, в том числе мужское предательство. Мы с тобой еретики. И я против непротивления, — сказал Дроздов, продолжая думать о своем. — Непротивление и молчание довело, брат, нас до полного ничтожества. К сожалению, Митя, мы утратили свое достойное место. Исчезают мушкетеры, понимаешь? Впрочем, сын, я заговорил с тобой не на ту тему, — прервал самого себя Дроздов. — Давай о другом говорить.

— Па-апа! — вскрикнул Митя высоким голосом. — Зачем ты так говоришь? Разве ты не сильный? Не можешь сразиться с бандитами? Я тоже вместе с тобой смогу! У меня хоть и астма, а твои гантели я уже четыре раза выжимаю. Папа, почему ты стал хмурый? Я не надоел тебе? Нет? — с неожиданным страхом спросил Митя. — Бабушка Нонна говорит, что я ей надоедаю... что она видеть меня не может...

— Да что ты, Митька, — растроганно и грустно проговорил Дроздов. — Надоедают друг другу, когда между людьми равнодушие. Как ты можешь мне надоесть, когда ты мой друг.

Митя покраснел и засмеялся.

— Тогда вот что, — сказал он лукаво. — Чтобы ты не хмурился, я тебя должен рассмешить. Анекдот или быль. Слушай. Это Вовка Быстров рассказывал, балбес порядочный, сосед из сорок второй квартиры. Задаю тебе вопрос. Что такое сверхсмелость? Ага, задумался, не знаешь? Сверхсмелость — это когда хмырь в шляпе...

— Хмырь? В шляпе? Почему хмырь и почему в шляпе?

— Это не важно. Сам не знаю. Вот, слушай. Это когда хмырь в шляпе с палкой в руке бежит по рельсам навстречу паровозу и кричит: «Задавлю! Прочь с дороги!» Машинист замечает хмыря, удивляется, останавливает поезд, чтобы не задавить, а хмырь надувает, как рак, морду лица и грозит палкой: «Что, испугался, трус такой?» Вот что значит хмырь в шляпе! Смешно?

Они посмеялись над гордыней и глупостью хмыря в шляпе, и в заливистом смехе сына, в его следящем внимании Дроздов угадывал попытку Мити развлечь, развеселить его: наверное, Митя по-детски ревниво ощущал изменившееся настроение отца. И Дроздову захотелось обнять это единственно родное, преданное ему существо, отдаленное от него непреклонными жизненными обстоятельствами, — и он взял Митю за слабенькое плечо, сказал:

— А может быть, сын, как раз хмырей в шляпе и не хватает? Не каждый попрет с палкой против паровоза. Глупая, но смелость. И все-таки машинист остановил поезд. Над этим надо подумать. Безумство храбрых, а не бессилие. Это не так просто.

— Папа, я сейчас тебе почитаю очень интересное про хмырей в шляпе! — заявил великодушно Митя, не возражая. — Пойдем к тебе в кабинет. Я там журналы интересные нашел. Не беспокойся, посуду я потом помою. И перетру полотенцем. Пойдем, пожалуйста. Я тебя рассмешу.

«Посуду я потом помою...» «Да, Митька, ты хочешь услужить и понравиться мне. Видимо, тебя, беднягу, здорово муштровали, и появилась вот эта неприятная заискивающая черточка...»

— Послушай, Митя, — сказал Дроздов. — Давай договоримся. Отныне у нас все поровну. И посуду будем по очереди мыть. Или вместе. Ладно? Пошли в кабинет. Что ты там прочитал о хмырях?

В кабинете, на северной стороне, было сумеречно, к окнам, к дверям балкона подступала сплошная стена дождя — стучало, раздробленно сыпало по карнизам, и снизу сквозь дождевую толщу придавленно и бессмысленно доносился с улицы влажный отлученный шелест машин, куда-то проносящихся посреди мирового потопа.

«Почему-то Москва кажется мне чужой. Враждебный Чилим и отчужденная Москва. Никогда не было такого чувства...»

— Я зажгу свет, так будет веселее.

Но Митя вбежал в кабинет, опередив отца, подпрыгнул на носках, проворно нажал выключатель и потом, в ожидании удовольствия, включил торшер над креслом. Электрический свет засиял на корешках сдвинутых книг на полках, на стекле балконной двери, сразу ставшей фиолетовой, забелел на листках бумаги, разрисованных фломастером, на страницах развернутых журналов, валявшихся на паркете, на креслах, на письменном столе, где еще стояла неубран-

ная банка сгущенного молока — тут за три дня Митя похозяйничал вовсю.

— Теперь слушай, папа, это в старинном журнале, я внизу на полке нашел, — сказал Митя, весело падая в кресло под торшером. — Вот где про хмырей здорово написано. Ты слушай, слушай. «Шляпы с обворсеннсю высокой тульей мущины...» Что такое тулья, не знаю, а мущины... Ха-ха! Так и написано му-щи-ны... Просто жуть! «Мущины обязаны были почитать крышкою всех своих высоких достоинств». Шляпа — крышка, вот здорово! Как у кастрюли! Что, тебе разве не смешно, папа?

— Нет, почему? Смешно. Ты читай. Я слушаю внимательно.

Но он слушал вскользь, стоя боком к Мите перед книжными полками, разглядывая в простенке между полок свое старое охотничье ружье, хорошо когда-то послужившую тульскую двухстволку, висевшую здесь лет семь, с той поры, когда он перестал охотиться, брать ее в поездки. Дроздов снял ружье, подержал в руках удобную, легкую, точеную тяжесть, знакомо и греховно пахнущую горьким маслом, старым порохом (Митя, кажется, сказал: «чесноком пахнет»), с полузабытой привычкой переломил стволы — они действительно были заряжены, и покойно, наизготове золотились точки пистонов в плотно вогнанных патронах, набитых «волчьею дробью». «Волчья дробь» была слабее жакана, но смертельной для человека, — и вновь вспомнился Дроздову немыслимый рассказ Улыбышева о запахе горелого человечьего мяса, выворачивающем рвотой обезумелого Якова, и его жалкое объяснение предательства еще живого Тарутина.

— Значит, ружье ты клал рядом с постелью? — проговорил Дроздов, пробуя разрядить «тулку», однако передумал, свел стволы и повесил ружье на прежнее место. — Оно тебе уже не пригодится. Мы вместе. А лишний раз ружье трогать не стоит. Оно, сын, иногда и само стреляет.

«Искушение... Странно. Оно было и тогда на балконе в ту бессонную ночь. Потом случилось с Валерией, когда накренился самолет над Чилимом. И вот оно сейчас мелькнуло... Кто мы? Мы сами не знаем себя...»

— Папа, ты не слышал, что я тебе прочитал? — отозвался обиженно Митя. — Очень дурацкая глупость, а ты не слышал! Это просто жуть, ха-ха! Откуда у них столько шляп было?

— Читай, Митя, я слушаю, — сказал Дроздов и подошел к торшеру, тепло освещавшему причесанные пшеничные волосы сына, волосы Юлии в молодости.

Митя повозился в кресле, устраиваясь поудобнее, и принялся водить пальцем по строчкам.

«Умение снимать шляпу при встрече на улице и знание, где и как ее держать, составляет науку». Вот, представляешь, какие они были ученые по шляпам, просто академики! Или вот — обхохотаешься: «Встреча с радушными простаками, простодушными деревенскими дворянами, которые обыкли вдруг бросаться на людей с распростертыми руками, опаснее самых неприятелей, ибо по неосторожности лишают удовольствия...» Папа, ты слышишь? — засмеялся своим заливистым смехом Митя. — Я представляю, как они... Эти дворяне... бросаются на этих хмырей в шляпах, а те в ужасе — наутек, улепетывают от них, удирают!.. Знаешь, как называется журнал? «Переписка моды...»

«Нужно все тщательно обдумать и выработать систему действия. Дать согласие Битвину и Татарчуку. В заговоре теперь я один... Но что значит эта телеграмма Битвина?..»

— Папа, тебе не нравится об этих неприятелях? Или ты опять не слушал?

И Митя поднял недоумевающие глаза на Дроздова, а он с запозданием и не вполне удачно постарался выразить беззаботность и

внимание на лице: «Да что ты, сын? Очень смешно». Однако Митя сказал несколько огорченно:

— Наверняка тебе это не очень... Вспомнил, папа! — оживился Митя и обрадованно засиял. — Я хочу, чтобы нам с тобой было здорово. Подожди! Я нашел у тебя на полке анекдоты о Наср-эд-дине. Целый вечер я катался от смеха по полу! Сейчас, подожди... Читал там про осла и деньги?

«Он чутко что-то чувствует и хочет меня развеселить по своей доброте. А что я могу объяснить моему сыну? В заговор ведь я его не возьму, как не возьму и Валерию».

Режущий треск телефонного звонка проник в шум, в плеск дождя, заполнявшего кабинет, Митя неспокойно посмотрел на отца, привставая в кресле, глазами спрашивая: «Подойти?» Но Дроздов задержал его: «Я подойду, сын», — и, внутренне усмехаясь чудесам телепатии (только что вспомнил о Валерии и вот, несомненно, звонит она), снял трубку и тут же ворвался издали почти мужской голос Нонны Кирилловны, заставив его стиснуть зубы, на шаг отойти от Мити, чтобы он не расслышал хлещущий болью и злыми рыданиями крик:

— Я знаю... вы вернулись и не отпускаете моего внука! У вас мой внук! Он у вас, у вас! Вы... убили мою дочь, и вы намерились убить моего единственного внука! Моего родного мальчика! Вы хотите превратить его в нравственного урода, как погубили мою Юлию! Я вам не позволю изуродовать мальчика!.. Вы изверг! (Он молчал, закрыв глаза.) Если вы не вернете мне Митю, я покончу с собой! Я оставлю записку! Я напишу, что вы толкнули меня к самоубийству, что вы были причиной смерти моей дочери! Это благодаря вашей черствости моя дочь стала алкоголичкой! Вы преступник, аморальный человек, погубитель моей дочери и своего сына!..

И он оборвал ее крик муки и бессилия — положил трубку, переводя дыхание. «За что она может так ненавидеть меня?» Он подождал у телефона, с осторожностью заглядывая на Митю через плечо. А Митя уже не сидел в кресле, развернув на коленях книгу. Он неслышно стоял за спиной отца, бледный, дрожащий, жевал губы, его глаза раздвинулись страхом, это был снова тот больной, издерганный Митя, которого застал Дроздов, войдя в квартиру.

— Ты говорил с ней, папа? — шепотом спросил Митя и захлебнулся слезами. — Папа, не отпускай меня! — просяще вцепился он обеими руками в халат Дроздова. — Ну, пожалуйста! Пожалуйста! Я не пойду к ней! Я умру там. Я умру!.. Ты ведь не хочешь, чтоб я умер?

Требовательно затрещал телефон. Дроздов приподнял и бросил трубку, ожидая этот вторичный звонок, затем подошел к Мите, взял его на руки, с исступленной жалостью прижал к себе, говоря надтреснутым голосом:

— Что-нибудь придумаем, сын, что-нибудь сообразим.

— Папа! — задыхаясь и кашляя, крикнул Митя. — Не предавай меня, не предавай! Папа, я боюсь, ты предашь меня!..

Телефон на столе трещал беспрерывно.

Глава двадцать пятая

Когда он вошел во двор, дом был сплошь темен, мертв, от первого до последнего этажа не светилось ни одного окна, стекла отливали нефтяной чернотой, двери мрачных подъездов не были видны, перед ними беловато зияли рваные пробоины снега. С вечера не было электричества, не работал лифт, молчали дверные звонки, и там, в черном провале подъезда, на непроглядных лестничных площадках, на поворотах перед пролетами трое людей в куртках изготовленно и тайно поджидали его...

«На каком этаже они встретят и убьют меня? — с тошнотным

предчувствием соображал он, отчетливо помня, как перед самым домом трое в куртках пересекли дорогу наискосок, прошли мимо, жестко скрипя снегом, опахнув запахом кислоты, и почудилось: у крайнего из-под вязаной лыжной шапки мраморным неживым блеском скользнули белки. «И как все это произойдет?» — остро возникало в его сознании, и он, медля, лег спиной в сугроб метрах в пятидесяти от подъезда.

«Еще минутку, господин палач...» — послышался сбоку неискренний ласковый голос, и кто-то рядом, лежа в снегу, придвинулся к нему вплотную, под его защиту, и он увидел бледное Митино лицо с закрытыми глазами и горько поразился тому, что Митя произносил слова Валерии и был сейчас, оказывается, здесь, с ним в сугробе, а не там, на шестом этаже, в этом мертвом устрашающе тихом, без единого просвета, доме, куда первыми вошли те трое, следившие за ним. Он позвал: «Митя», но ответа не последовало, никто не лежал рядом с ним: привиделось.

«Так как это все произойдет? Ножом? Кастетом?.. Но мне некуда идти, и я не могу оставить Митю одного в пустой квартире в темном доме. Если он откроет дверь, они могут сделать с ним страшное... Кто их послал?»

Он сквозь зубы произнес: «кончено» — и выбрался из сугроба, натягивая плотнее кожаные перчатки, чувствуя, что они оттуда, из-за черных стекол выбранной ими для наблюдения лестничной площадки, смотрят на него, следят за каждым его движением, видимо, не понимая, зачем он некоторое время лежал в сугробе.

Он знал, что самым опасным будет первый шаг, как только он откроет дверь подъезда и войдет. Один из троих, оставленный внизу, может броситься в темноте подъезда, оглушить, сбить с ног, ударить ножом, кастетом, и этот первый шаг решит все.

И, ощущая, как замерзают виски и затылок, он двинулся к подъезду, сжимая и разжимая пальцы правой руки, готовый левой рвануть на себя дверь, войти и отскочить в сторону, к закутку перед лестницей в подвал, чтобы не попасть под удар в упор.

«Только сделать это мгновенно... И чтоб правая рука была свободна. Уйти от первого удара... — приказал он себе, протягивая руку к заиндевелой двери. — Если же не успею...»

Странно было то, что, распахнув левой рукой дверь, вскочив в подъезд и молниеносно бросившись влево к закутку, он замер, сжатый подвальной, пахнущей мочой тишиной, слыша оглушающее свое дыхание. Непроглядная тьма смыкалась вокруг. Он не двигался. Он вслушивался в глухую затаенность подъезда. Сердце билось в горле. И мелко дрожала напряженная правая рука, задеревенели пальцы, сведенные в кулак, а плотное безмолвие по-ночному стояло на всех этажах. Очевидно, те трое ждали его где-то на верхней лестничной площадке и теперь слышали, как хлопнула дверь и он вошел в подъезд.

«Если бы хоть свет на лестнице, — подумал он, сцепливая зубы, и сделал нетвердый шаг к лестнице, и тотчас приостановился, глядя вверх, в непробиваемую темень. — Но что со мной? Я мог ошибиться. Их нет сегодня. Мне лишь показалось: те трое, что встретились возле школы, — убийцы. Что это — привиделось? Галлюцинации? Расшатались нервы?»

Он шел, ступая бесшумно, на ощупь левой рукой прихватывая перила, и так замедленно поднялся на третий этаж; тут, у поворота, постоял впотьмах, уже успокаивая себя тем, что осталась теперь половина пути, что на этот раз все обойдется благополучно, просто те трое вообразились им и, слава богу, не имеют отношения к убийству Тарутина.

Зимняя ночь чернела за стеклами на лестничных площадках, отсвет снега на деревьях не проникал в плотные потемки дома, мрак

призрачно мутнел в угольной гуще под пролетами лестницы, и осторожные шорохи его шагов громом отдавались в ушах. Он задержался на пятом этаже, задыхаясь от ударов сердца.

«Ну, ну, милый, что это ты?» — справляясь с дыханием, сказал он себе и взошел еще на несколько ступенек по лестнице, перехватывая перила. И здесь же отпрянул назад, явно заслышав движение впереди, как будто махнуло черной материей перед глазами. В следующую секунду чье-то свистящее дыхание, обдавшее кислым запахом вина, толкнулось ему в лицо вместе с нежно заискивающим пришепетыванием:

— Иди, иди, Игорь Мстиславович, домой. Мы тебя ждем. Один этажик остался!..

И цепкая, сильная, как клешня, рука схватила его за подбородок, нашла горло, сдавила его удушающими тисками, и в этот миг в его сознании скользнуло: «Они здесь убьют меня...» — Он зачем-то хотел сказать: «Это вы меня ждете?» — но, выхрипнув дикий звук сдавленным горлом, изо всей силы отрывая левой рукой жесткие пальцы от шеи, он коротким тычком правой руки ударил в темноту, где учащенно свистело кислое дыхание, и тогда его ослепило режущим лучом фонарика, направленного сбоку. В этом свете обозначилось и исчезло озлобленное длинное лицо, маленький плоский нос, мелкие зубы незнакомого человека, которого он только что наобум ударил, — и, спиной быстро отходя назад, на лестничную площадку пятого этажа, он с отчаянием и ненавистью подумал вдруг, что сам готов сейчас на все, даже на убийство вот этого плосконосого...

В прыгнувшем свете фонарика он успел заметить другую фигуру сбоку, какую-то короткую остроконечную дубинку в его опущенной руке, белый мех на отворотах куртки, и в эту секунду, охваченный мстительным безумием, он кинулся в сторону человека с фонариком, ударил выше фонарика — наугад — в чье-то лицо, как в костистое мясо и, ощущая боль от удара в своей руке, услышал вскрик, звук упавшего на цементный пол фонарика, метнулся вправо, где стоял третий со стальной тростью, кулак воткнулся во что-то мягкое, отпрянувшее, и, в бешенстве выхрипывая звериное, страшное, не имеющее смысла, он обезумело метался в темноте, ища ударами чужие тела, лица, и с наслаждением ненависти, никогда так не испытываемой, слышал их вскрики, сипение, ругань, не ощущая ответных ударов, а снизу брызгал ослабевший свет упавшего на пол фонарика, вокруг которого топтались, подскакивали и отскакивали ноги. Потом, отходя к стене, чтобы не подпустить их сзади, он краем глаза поймал на мгновенье чей-то зимний ботинок на толстой каучуковой подошве, взметнувшийся перед ним, и все-таки сумел откачнуться к стене, ошеломленный болью ниже коленной чашечки. Боль была настолько нестерпимой, что он застонал, все тело вмиг облило морозным скрючивающим ознобом и вонзилась жгучая мысль, что сейчас упадет, скошенный болью, на пол, и они добьют его здесь. «Нет, нет!» — не то подумал, не то крикнул он и яростно рванулся навстречу чужому лицу, снизу подсвеченному фонариком (вздыбленно мелькнули круглые ноздри, глазницы, щетка усов), и почувствовал под своим кинутым со всей силы кулаком хруст чужих зубов, собачий вой, увидел рядом другое лицо, длинное, ускользающее, с маленьким плоским носом, развернулся к плосконосому, но не смог достать его: со смертельной быстротой тупое и огненное обрушилось на его голову, и, падая, со звоном в ушах он в обморочном тумане уловил тускло светившийся стержень, занесенный над ним, и чей-то крик, такой же смертельный, как удар железа по голове:

— Стой! Без крови! В окно его, в окно!

И ужас бессилия хлестнул его ледяным сквозняком.

Последнее, что он смутно помнил, был дребезг распахиваемой оконной рамы, топот ног, мигнувший свет, пронзительный визг над

головой и сильный удар носком ботинка в грудь, после чего он потерял сознание, а теряя сознание, еще пытался подумать:

«Вот здесь они убили меня. Значит, это они? Но чей это был визг — Митин? Как же он теперь без меня?..»

Он уже витал в крайних пределах хрупкой жизни, вытекающей из него тоненькой осенней паутинкой, а вокруг над этими пределами лестничной площадки гигантские крылья летучей мыши рассекали тьму, дробили, колыхали воздух, накрывали его с головой скорбной тенью, точно колючим покрывалом на цементном полу. Он умирал в жестоком удушье, в металлическом звуке мохнатых крыльев, обдающих смрадным ветром смерти, и проходило, и удалялось в сознании:

«Почему так тяжко давит на голову какой-то звук в темноте? Неужели здесь может быть телефон?.. Но какой странный потусторонний звук...»

И он сделал невероятное усилие над собой, чтобы вырваться из удушья, из кошмарного сна и, не сразу очнувшись, обливаясь потом, разомкнул глаза.

Вокруг — ночь, темнота, но достоверная, комнатная, пулеметно простреливаемая сигналами телефона. Неужели телефон?

Он соскочил с дивана, набрасывая на плечи халат, нащупал в потемках неумолчно сигналящий звук на письменном столе, что было телефоном, на секунду подумал, еще не сознавая бредовое забытье: «Не владеет ли мной сумасшествие?»

— Ну, слушаю, плосконосый, — сказал он охрипло, связывая не ушедший сон с этим звонком, как повторное начало или продолжение сумасшествия и в непотухшем неистовстве, пережитом только что, в ненависти борьбы не отвергая даже встречу с тайным гнусаво-похабным голосом, угрожающим ему по ночам, независимо от того, чем эта встреча может кончиться. «Безумие, отчаяние... Бицепсы доктора наук, накачанные гантелями, бессильны перед ножом и кастетом. Но похож ли этот ночной «приятель» на того плосконосого из больного сна?» Трубка выжидательно молчала. — Ну, слушаю, слушаю! — повторил Дроздов развязно и грубо. — Позвонил — говори, насекомое, если уж я подошел к телефону!

Очень знакомый крепкий, свежий баритон не без удивления посмеялся в трубке, потом спросил корректно:

— Я не ошибся номером? Это вы, Игорь Мстиславович? Смотрю на часы — второй час ночи. Не разбудил? Это Битвин.

— Разбудили, — ответил Дроздов. — Но в это время бывают другие звонки. И вы сделали благодеяние, пожалуй.

— Так, так! Благодеяние во втором часу ночи? Наоборот. Я должен извиниться. Я сова, работаю по ночам. А вы, я вижу, не теряете бодрости духа и шутите...

— Я вполне серьезно. Мне снился сон, Сергей Сергеевич, что меня убивают, точнее — убили. И труп выбросили в окно, для версии самоубийства.

— То есть как это?

— Очень просто. Так же, как Тарутина. Только другим способом. Причем вы, Сергей Сергеевич, простите меня, тоже участвовали в этом убийстве. Во сне я почему-то ясно слышал ваш голос: «Только без крови! В окно его, в окно!» Странные вещи приходят во сне.

— Почему у вас такой голос?

— А что?

— Больной голос.

— Разве?

В трубке отсеклось молчание, лишь доходило полнокровное дыхание Битвина, и Дроздов словно вблизи увидел его начисто бритую яйцевидную голову, наклоненную над настольной лампой в зашторенном на ночь кабинете, волевое лицо над телефоном, сросшиеся брови лесного бога, мохнатыми навесами скрывающие стального оттенка глаза.

— Я полагаю, Игорь Мстиславович, что упражняться в злоостроумии и в шуткомании мы в данную минуту не будем. Это неуместно, — заговорил невозмутимым голосом Битвин, как видно, не внимая словам Дроздова. — Как раз сию минуту, Игорь Мстиславович, я сижу над вашими бумагами по поводу чилимских дел. И, сравнивая с местной партийной информацией, все же прихожу к выводу, что ваше пребывание там не точно проявило реальность, связанную со строительством и с трагической гибелью гидролога Тарутина. Вы в вашем материале недопустимо пристрастны в первом и во втором вопросе.

— Недопустимо пристрастен?

— Если угодно, то вы не правдивы, как это ни печально, — зарокотал наставительно Битвин. — Во-первых. Министр Веретенников заверил, что никаких работ в Чилиме не ведется. До утверждения проекта. Во-вторых, ваше поведение, Игорь Мстиславович, с представителями местных властей и работниками охраны правопорядка выходило из всех норм... морального кодекса.

Стоя в одном халате около письменного стола, Дроздов вглядеделся в темноту, где дверь в комнату Мити он прикрыл вечером на всякий случай, не исключая неурочные ночные звонки. Дверь размыто белела впотьмах, была закрыта, и он сел на стол и, не зажигая света (чтобы как-нибудь не потревожить Митю), сказал с трудом пристойно:

— Моя ошибка в том, что я забыл взять с собой в Чилим правила хорошего тона на английском языке. Поэтому благодарю вас за телеграмму. Я ее помню наизусть: «К огорчению ваше поведение в Чилиме недостойно ученого». Прошу покорно извинить: отвечаю тоже по пунктам. И с огорчением. Первое. Министр Веретенников лжет. Строительство начато, хотя его следует закрыть. Второе. Кандидат наук Улыбышев, ясно, как день, был свидетелем убийства, но по умному расследованию так называемых местных органов правопорядка на него же, Улыбышева, направлены подозрения. Не он ли опоил водкой и отравил Тарутина? Как вам это, Сергей Сергеевич? Восхитительно! Не является ли это омерзительной ложью, чтобы увести в сторону от убийц? В-третьих, это не случайное убийство. И в этом я теперь не сомневаюсь!

Битвин по-бычьи задышал в трубку, возразил обрывающимся в неудовольствие голосом:

— Тарутин, как известно, злоупотреблял, и это правда... Известная не только вашему институту. Я сам был свидетелем на вечере у Чернышова. Известно, что он напивался до чертиков. Известно, что его преследовала мания самоубийства. Это он носил веревку в «дипломате», бывал на грани белой горячки.

— Тарутин злоупотреблял не больше, чем злоупотребляют зеленым змием в «охотничьих домиках». По сравнению с «охотниками» он был просто младенец. Жалею, что нам не удалось подробнее поговорить в тот вечер. Вы куда-то исчезли. Как сказали: в массажную. Позволю себе не без удовольствия и удивления вспомнить: массажистки там европейского класса.

— Что с вами, товарищ Дроздов? Какой «охотничий домик»? Что за массажная? По-моему, вы вернулись из Чилима больным, в крайнем психическом расстройстве. И, как мне сказали, у вас уже был нервный срыв после смерти жены. Печально, грустно! Вас преследует навязчивая идея. Академик Козин, который уже познакомился с вашим заявлением, также считает, что вы не совсем здоровы. Что у вас в связи с гибелью вашего близкого друга приступы психастении, навязчивые подозрения. Я не ваш злостный враг, но подумайте в самом деле реально, Игорь Мстиславович, как реагировать на ваше

ссобое мнение? Нерасположенность Козина к вам я знаю. Но как реагировать мне?

— Самым серьезным образом.

— Вы говорите, что убийство Тарутина не случайно? Вы подозреваете заговор против вашего друга? Что за бредовая идея, Игорь Мстиславович?

— Тарутин умел думать.

— Тарутин, а теперь вы прогнозируете голод, болезни, вымирание народа, рабство целой страны, если мы не остановим научно-технический прогресс, который проводим якобы уродливо и безграмотно. Кто способен остановить цивилизацию, пусть даже уродливую? Игорь Мстиславович, — снижая голос проговорил Битвин. — Игорь Мстиславович, разумный вы человек, но у меня создается впечатление, что вы и еще маленькая кучка людей идете против всего человечества.

— Каким это образом?

— Хоть помилуйте меня, грешного, за банальность, — длительно вздохнул Битвин. — Большинству рода людского, как это ни огорчительно, начхать, что будет завтра. Дай ему сегодня — тепло, комфорт, рюмку вина, голую натуру, ящик с видео, а завтра — хоть трава не расти. Так думают все — начиная от потолка и кончая полом. Объясните, как быть с этой мещанской циничной реальностью?

— Как быть? Как бы ни протестовал обыватель, Чилимскую стройку следует закрыть, как и десятки других браконьерских панам, стоящих миллиарды и миллиарды. Мы строим десятки ГЭС и оросительных систем, а страна по-прежнему беднеет, деградирует, находится на уровне какой-нибудь африканской Верхней Вольты. Как вы это можете объяснить, Сергей Сергеевич? Заговором технократов, которым кем-то обещаны за создание в стране болот и пустынь «охотничьи домики» с современными рабами? Или виллы на берегу Лазурного моря?

— Поостерегитесь, Игорь Мстиславович. Это — мания заговоров. Это уже иная область, чего не стоило бы касаться. Вы, право, нездоровы.

— Начхать на мое здоровье. Технократы предлагают ложь и повальное разрушение. Поэтому первый шаг нашей науки — закрыть стройку на Чилиме.

— Остановитесь! Что с вами? Мечты и звуки! Так сразу? Эти государственные вопросы не вдруг рассматриваются Государственной экспертной комиссией, наконец вашим институтом и Советом министров, в конечном счете. Вам-то это известно.

— В конечном счете, Сергей Сергеевич, во всех этих заведениях слишком много ослов и мифических рыцарей мифического плана. Вместо голов повсюду сидят домашние фикусы со взорами на Нью-Йорк и Швейцарию. Все кончится болтовней и тщеславным размахиванием хвостами.

— Рискованный юмор! Не через край? И что же вы прикажете делать? С ослами и фикусами, употребляя вашу терминологию...

— Везде и всюду искать таланты. И не давать волю бездарям и разрушителям.

— Что у вас за фантастические прожекты? Где искать?

— Где угодно. Россия еще не окончательно... Искать там, где их еще не утопили, как слепых щенков. В Академии найдете единицы. От нашей Академии нечего ждать, если в ней господствуют Козины...

— Резко, резко! Академик Козин — уважаемый ученый. Признан за рубежом.

— Только потому, что разрушает, а не создает. Так вот. А в вашем «Большом доме» смотрят на все с милым непониманием либералов.

— Вы далеко заходите, Игорь Мстиславович! Недопустимо! Я

попросил бы вас не распространять вашу нехорошую иронию на партию. Нет сомнения: вы больны. Больны серьезно... Поэтому примите совет человека, желающего вам добра. Не подлечиться ли? Ложитесь-ка на обследование в академическую больницу. Успокаивающие препараты, таблетки, укольчики. Все утрясется, войдет в берега. Подлечитесь, вернетесь, и тогда продолжим этот, мягко говоря, многостранный разговор. Кстати, мне вчера звонила вдова академика Григорьева, так сказать, ваша теща...

— Бесспорно — это обрадовало вас. Вы ведь хотите мне добра.

— Я не ваш враг.

— Моя бывшая теща имеет какое-то отношение к Чилиму?

— Она сообщила, что вы отобрали у нее внука...

— Вернее — моего сына.

— И оскорбляете, третируете ее...

— И о том, что я свел в могилу ее дочь, тоже было сказано? А об убийстве Тарутина разговора с тещей не было?

— Нервы у вас пошаливают, Игорь Мстиславович, нервы. Психика. О чем я очень сожалею. И беспокоюсь за вас. Как известно, мы сами творим свою судьбу. Боюсь, вы кончите дурдомом.

— К какому месту пришпилить ваше сожаление, Сергей Сергеевич? Понимаю, что, по вашему мнению, уголок в психичке был бы сейчас для меня более подходящим, чем занятие вакансии директора Института экологии.

— Не прекратить ли нам разговор? Вы нездоровы. Вы серьезно нездоровы.

— Я здоров. Договаривайте. Я тоже не договорил.

— Не только я уважал вас как перспективного ученого. Вам известно, что я разделял вашу точку зрения. Я надеялся, что вы разумно подойдете к проблемам окружающей среды. В определенных обстоятельствах. Без сенсационных крайностей... Что вы оправдаете доверие и Академии наук, и партийных товарищей. Но, откровенно говоря, Игорь Мстиславович, вы разочаровали не только меня. Я говорю это с горечью. Ваша позиция и ваша мораль ученого не совпадает с позицией... компетентных товарищей. Вы хотите остановить колесо цивилизации. Смеху подобно это. И трагично.

— Плевать я хотел на мораль и позицию компетентных товарищей. Ложь и вранье! Полная чепуха и фарс! Игра! Кому можно верить из компетентных товарищей, если кем-то подсылаются убийцы к инакомыслящим! Кому верить — Козину? Татарчуку? Вам, Сергей Сергеевич? Искушение — убить неудобного человека. У меня уже нет сомнений: тот, кто способен на это, способен и на массовое убийство! Искушение... Как громко это звучит, верно, а?

— Прекратите истязать себя! С вами буйство! Припадок эпилепсии! Вызовите скорую помощь по ноль три! Мне жаль вас!

— Ошибаетесь. Я холоден, как лед. Буйство и бессилие было в Чилиме.

— Так. Так. Так-с. Следовательно, вы сомневаетесь в истине?

— Если даже сам господь бог и весь мир науки скажет, что истина в руках «компетентных товарищей», я останусь при своем мнении.

— Игорь Мстиславович, вы не в себе! Во имя чего так грубо иронизировать? Один мифический рыцарь против всех нечестивцев в виде ветряных мельниц? Как? Какими средствами? Но — я далек от шуток и фантазий.

— Я тоже. Мне поможет одно. Мы живем во время, когда все против всех. Кроме того, пока я еще заместитель директора института. Не директор, но заместитель. Шишка, как видите.

— Боюсь ненадолго. Ученый мир, ваши коллеги — не доверят вам.

— Вероятно.

— Коли уж на то пошло, Тарутин тоже был своего рода Дон Кихотом, и именно поэтому любовью коллег не пользовался.

— А стоят ли они одного Тарутина — все они, вместе взятые?

— В вас говорит гордыня!

— Другое, другое! В нашей истории были репрессии и убийства по политическим мотивам. Что же началось сейчас? Запрограммированное убийство тех, кто сопротивляется всесильным? Или вообще гибели человека на погибающей земле? Вы не думали, кому нужен человек, если разрушен его дом. Только Судному дню. Значит, существует заговор против человека? Вот она ненависть! И вот она мстительность! Так, Сергей Сергеевич? Что это за силы? Какие-то тайные и не тайные миллиарды? Ведь страшная идея «проекта века» — поворота северных рек в Волгу заброшена к нам из-за бугра. Так же, как коровьи комплексы, которые не напоили нас молоком.

— Наверняка, Игорь Мстиславович, вы еще скажете о всемирном католическом заговоре, по Достоевскому? О жидо-масонстве, о мировом господстве? Может быть, вас смущает нерусская фамилия Никиты Борисовича?

— О Достоевском знаю. С жидо-масонством — незнаком. Что касается знаменитой фамилии, то не хотите ли вы мне пришпандорить некий провокационный ярлычок национального свойства?

— Татарчук вас не устраивает? Не нравится вам?

— В первую очередь меня не устраивает надругательство над украинским языком, который он использует для того, чтобы создать образ эдакого доброго дяди из лихих кубанских казаков!

— В вас говорит злая и безрассудная месть, Игорь Мстиславович! Ваша нервная болезнь и месть! Боюсь, что ваше умонастроение не доведет вас до добра! Я надеялся работать с вами рука об руку. Соболезную и сожалею.

— Не знаю, что говорит в вас, Сергей Сергеевич, — лукавство, трусость или мечта о членкорстве при помощи голосов, умело организованных Козиным. Но то, что вы в жилетном кармане у академика, — аксиома. Сожалею и соболезную. Не хотел бы с вами быть знаком ни при какой погоде.

Он первый повесил трубку. Он не бросил, не швырнул ее, а медленно прижал трубкой рычаги аппарата, прекратив разговор, так далеко зашедший, что поворота назад уже не было. «В открытости и мщении ты погибнешь, — толкнулся в сознании предупреждающий голос. — В ненависти сгорают». Он по опыту знал, что чем обостреннее приближалась опасность, тем холоднее, как будто бы жестче и спокойнее становилось ему, ибо все до крайнего предела прояснялось вокруг смысла и цели, что он рационалистично считал возвращением к самому себе, якорем, державшим многогрешных людей на земле, когда еще можно было что-то исправить, начать сызнова или хотя бы попробовать начать.

Но он почувствовал себя худо после ухода и смерти Юлии, полугибельная рана в душе не заживала, наоборот, боль усиливалась, якорь, державший его в состоянии равновесия, оборвался, некая злорадная сила искушала, кричала по ночам об освобождении, о выходе из долгих его мучений, принесенных болезнью Юлии, и он просыпался в неразрешимой безнадежности, и подушка была мокрой от слез. Чтобы вырвать себя из этого изгрызающего одиночества, он попытался найти выход в подсказанной Тарутиным йоге, самовнушающей волю равновесия, без которого он погибал как в штормовом ночном море, не отражающем ни неба, ни звезд. В свое время Тарутин, изъездив и исходив Бурятию, мог подсказать восточный путь к спасению, утверждая, что лишь абсолютно успокоенное положение духа отражает достоверную жизнь и истинную природу человека.

Тогда Дроздов попробовал перебороть себя и воспринимать жизнь как желание жизни, а желание жизни как силу движения к цели и смыслу. В этой предназначенности истина была золотой серединой и вместе объективной сущностью вовне, поэтому пришла на помощь ирония, близкая к снисходительности, помогающая преодолевать затруднения несложностью согласия и компромисса. Тарутин, прежде не одобряя женитьбу друга на дочери академика, дал восточный совет, нужный в последние годы Дроздову, но сам он презирал входившую в среду интеллигенции модную отстраненность духа, и знание йоги не использовались им для личного употребления.

«Нет, он был сильнее меня, он не шел на компромиссы, но мы оба оказались бессильны. Умиротворенности у меня не получилось, — соображал Дроздов, сидя на письменном столе у телефона, упираясь подбородком в кулаки. — Сильного Тарутина предал не сильный Улыбышев. Да неужели эта страшная закономерность управляет и сильными, и слабыми? Значит, и Юлия предала меня, уйдя из дома с Митей. Ее уход был скорее отчаянием, но от этого мне не было легче. Моя «дорогая железная теща», вопреки воле мужа, предала нас всех Чернышову. А Чернышов, верный своему ничтожеству, изменил Григорьеву в день его похорон. Сколько предательства — сознательного и нечаянного! Сейчас... вот этим звонком предал меня Битвин... А до этого Чернышова. И он, и Козин, и Татарчук предавали Чернышова в той сауне... Что же это — грязный отвратительный замкнутый круг больных и слабых? Или сумасшествие сильных, но больных. Притча о библейской собаке, пожирающей собственную блевотину? Кто виноват? — думал Дроздов, и подкатывал комок к горлу, и болело в висках, а чей-то голос, рассекая тьму, говорил с насмешливой вескостью: — «Учти, дорогой, никому из людей правду о себе знать не дано. Поэтому лгут, предают и убивают. Только в начале жизни верят в сказочку: буду справедливым, честным, добрым, возлюблю ближнего своего, как самого себя. Потом от сказочки остается испорченный огрызок: возлюблю самого себя. Не ближнего, а самого себя. Таковы люди? Евангельские псы, пожирающие свою блевотину? Предательство — это тоже искушение».

«Нет, это так и не так! Это ненависть ко всему человечеству, и это гибель, это оправдание конца мира, это искушение, оправдание самоубийства человечества, Судного дня», — убеждал его другой голос, пронизанный звонким и страстным несогласием, и голова Дроздова разламывалась от боли. «Это тоже — ложь! Обман! Предательство! Но в этом общем предательстве Юлия неповинна. И Тарутин неповинен. Нет, я ненавижу действие сатанинской силы, приход к этому жестокому властолюбию над людьми и землей! Может, отчаяние обманывает меня? Но где выход? Есть ли он? Или — гибель? Бессилие? Рабство? Унижение на сотни лет? День Страшного суда? Кому нужен будущий суд над мертвецами! Должен быть суд над живой подлостью! И пусть в тартарары летит евангельская умиленность непротивлением, и к чертям все эти храмы, где мечтают молиться за здоровье своих врагов! Я готов быть один? Против всех? Безумие! Заговор одного против всех? А как Валерия? Как она? Неужели и здесь возможно предательство? Неужели после Чилима я перестал верить и ей, и потерял последнюю надежду? Валерия и Митя...»

Он соскочил со стола, сбросил шлепанцы, чтобы не разбудить Митю, и начал ходить босиком по комнате, повторяя вслух: «Как не хватает Николая» — и вдруг ему послышались девичьи и детские соединенные в печальном великолепии голоса, будто отпевали кого-то, и замерцали в нагретом воздухе огоньки свечей в медных, зака-

панных воском подсвечниках, гробово и таинственно запахло можжевельником, которым был усыпан пол маленькой церкви. Она перед смертью попросила, чтобы ее отпевали и, внесенная в храм, лежала головой к златым вратам, лицо было непостижимо девическим, беззащитно-кротким, тени ресниц шевелились под закрытыми глазами от колебания свечей, и он плакал у изголовья и был молод, как в ту пору, когда они убежали из дома, а двое парней напали на них в ночной электричке. Тогда он был переполнен беспутной, влюбленной силой, способной на самый смертельный риск, весь преданный ей, помня только, как в минуты близости он нежно надавливал губами на ее губы, и они поддавались, раздвигались в медлительной улыбке, и она смотрела ему в глаза с тихой смелостью.

В этой прикладбищенской церкви, прощаясь, он почувствовал уже тленный холодок ее губ и вообразил ежедневное самотерзание, с которым она жила, уйдя от него с Митей, уже больная, отдалившись в ожидании неизбежного и окончательного разрыва. И в той церкви будто змея одиночества стала вползать в его грудь, сворачиваясь там ледяными кольцами. Он смотрел на вздрагивающие тени ее ресниц под колебанием свечей, на ее губы, которые умели так виновато и медленно улыбаться, и чувствовал, как вырастало перед ним огромное и неумолимое, возникали какие-то вытянутые из бездны, из толпы овалы лиц, повернутые к его покойной жене, но от голосов певчих, от свечей, от можжевельника подуло земляной сыростью, безнадежностью могильного предела, и холодок слез пополз по его щекам. Тогда он плакал впервые, не стесняясь, на людях.

«Почему я вспомнил прикладбищенскую церковь и Юлию? — подумал он, шагая по комнате, чувствуя, как лицо сводило ознобом волнения. — Просто я не могу забыть, что ее нет, и не могу согласиться, что нет Тарутина, который сказал мне, когда заболел Митя: «Если у народа сохранится хоть один ребенок со здоровыми генами, то народ возродится. Парня надо спасать». Да, Митю надо спасать, спасать. Но если в этом мире исчезнет желание жизни, то кто и что возродится? Что-то мне нехорошо... Как-то давит в груди и нечем дышать».

Он подошел к балкону и надавил на дверь — осенний воздух хлынул в комнату из мглы поздней ночи. Он оперся на влажные перила, долго слушал сгущенный шум тополей под балконом, ветви царапались, качались, соединяясь и разъединяясь, облитые уличными фонарями, их свет, отражаясь бликами, бежал по лужам на асфальте внизу. А в фиолетово-черном небе чувствовалась за несущимися тучами предзимняя луна, и в небесной проруби, прямо над балконом, светлое пятно клубилось туманным дымом.

Дроздов, разгоряченный разговором с Битвиным, мгновенно продрог на ветру, стоял в халате, глядя на небо, на опустошенные тьмой улицы, и его окатывала тоска от северного холода неприютной октябрьской ночи, от льдистого запаха сырых перил, от этой пустыни одиночества в целом мире.

В комнате вскрикнул приглушенным звонком телефон, и Дроздов неуспокоенно и устало подумал, что наверняка это Битвин, что сейчас продолжать разговор с ним нет сил. Но в ту же минуту он, озябнув до дрожи, повернул в комнату, в ее потемки, в ее тепло, откуда трещали навстречу очереди телефона, встревоженный тем, что упорно повторяющийся звук разбудит Митю.

— Папа, не подходи! Не надо с ними ругаться! — послышался голос Мити, и дверь в его комнату распахнулась, выпустив конус зажженного там света, и Митя, тоненький, в трусиках, бросился к Дроздову, ухватился за рукав халата. — Папа, не снимай трубку! — взмолился Митя и потянул, задергал его за рукав. — Там плохие, плохие люди! Я слышал, как ты разговаривал! Они тебя не любят,

папа! Я тебя люблю, только я, понимаешь? Даже эта женщина тебя не любит, потому что я тебя люблю, а она — чужая!..

— Ах ты, Митька, Митька! — сказал Дроздов и поднял на руки хрупкое, невесомое тельце сына, опять приникшее к его груди своими слабыми косточками, такими родственными, что сдавило дыхание. — Может быть, ты ошибаешься насчет этой тети, а может, ты прав, не знаю. Но мы с тобой придумаем что-нибудь героическое... Мы с тобой что-нибудь придумаем. А может, снять трубку? Может, это звонит эта тетя и хочет сказать, что любит и тебя, и меня? И хочет быть с нами в одной крепости?

— Папа, разве ты боишься?

— Это не так. Ничего я, сын, не боюсь, абсолютно ничего. Я вот о чем подумал, Митька, может быть, в бессилии и есть сила. Понимаешь, Митька? Безумство бессилия — это невероятная сила.

— Папа, миленький, без тебя какой-то дядька звонил и сказал: «Один издох и твоего отца с тобой добьем». Папа, почему они хотят убить нас? За что? Что мы им сделали?

— Значит, тебе угрожали?

— Папа, мы будем вместе. У нас есть ружье. И я с тобой ничего не боюсь. И ты тоже не боишься вместе со мной. Я знаю, ты любишь меня. Но только не надо, папа! Не надо! Она не может любить. Она чужая. Она предаст нас. Папа, не верь! Только один я тебя не предам. Только ты меня не предавай!

Он носил по комнате Митю, с тоской прижимая его к себе, и глотал сухие слезы бессилия оттого, что не мог ответить сыну с такою же искренностью и верой.

1985—1990

Память: еще одна страница

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

«Я ВЫЧИТАЛ У ЭНГЕЛЬСА, Я РАЗУЗНАЛ У МАРКСА»

О СУДЬБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ БОРИСА СЛУЦКОГО

В конце 1959 года из Тайшета, где я работал в районной газете «Сталинский путь», я поехал на несколько дней поглядеть Братскую ГЭС. Я вообще мечтал после университета работать в Братске, быть очевидцем стройки века, но меня направили в Тайшет... Хоть и рядом, но все-таки за семьсот километров. И вот наконец-то я в Братске. Я с восторгом бродил по котловану Братского моря, утонувшего в клубах морозного пара, забредал в рабочие дощатые столовки, хлебал горячие щи, засиживался в рабочих общежитиях, поднимался на выветренный гранитный утес под названием Пурсей и вглядывался с высоты в громадное чрево котлована, наполненное маревом, туманными огнями, урчанием железа и маленькими игрушечными фигурками людей, бормотал какие-то строчки, записывая их в блокнот замерзшими, негнущимися пальцами...

Вечером одного из сумеречных декабрьских дней в коридорах многотиражки «Огни Ангары» я встретился со стройным, породистым парнем, ходившим, несмотря на морозы, нараспашку и без шапки, укрываясь есенинской копной светлых волос. Это был Анатолий Передреев, бок о бок с которым протекли последующие чуть ли не тридцать лет моей жизни. Сколько за эти тридцать лет у нас было душевных разговоров, размолвок, споров, восторгов — не припомнить,— и все вокруг самого главного, чему мы уже в те романтические времена посвятили свои судьбы,— вокруг русской поэзии... Что она такое? Что значит быть русским поэтом? Что есть правда в поэзии? Как совместить поэзию и личную судьбу? На эти вопросы никто не мог нам ответить, кроме нас самих... А Передреев был одним из немногих поэтов моего поколения, кто каким-то чутьем ощущал, что есть правда и что есть неправда в стихотворении... Слух на правду (эстетическую, этическую, духовную — любую) у него был почти абсолютный, и потому я всегда свои новые стихи читал ему первому, начиная с 1959 и кончая летом 1986 года, когда я приехал к нему в его новую квартиру на Хорошевском шоссе, чтобы прочитать написанную мной в тяжелейшем душевном состоянии поэму «Русские сны»... Я верил ему, когда нам было по двадцать пять лет,— и продолжал верить, когда нам стало по пятьдесят пять... А через год с лишним мне пришлось сказать последнее слово над его могилой...

Но тогда в Братске, окрыленный разговорами с ним, с Анатолием Преловским, с Володей Дробышевым, я сел в поезд и покатил в Москву, с телефоном Бориса Слуцкого, который я получил от Передреева. Он, оказывается, приехал в Братск по «направлению Слуцкого» — Слуцкий послал своей комиссарской волей молодого провинциального поэта, навестившего его в Москве, на стройку коммунизма — «делать биографию», «изучать жизнь»...

Возвратившись в Москву, я стал звонить нескольким поэтам, имена которых для меня что-то значили,— я искал себе наставника на первых порах новой еще неведомой для меня литературной жизни.

Позвонил Василию Федорову: звонит, мол, молодой поэт, приехал из Сибири, хочу показать стихи...

В ответ слышу: «Простите, молодой человек, сейчас нет времени, уезжаю на родину в Марьевку, позвоните месяца через два...»

Стою у телефонной будки на улице Горького, копаюсь в записной книжке... Звоню Льву Ивановичу Ошанину...

— Да, Станислав, да, понимаю, но я через неделю уезжаю в туристическую поездку в Венгрию с женой. Давайте встретимся через месяц...

Вспоминаю о телефоне Слуцкого... «Молодой поэт? Сколько вам? Двадцать пять? Немало. Откуда? Из Сибири? Что? От Передреева? Ну как он там? Стихи пишет? Встретиться со мной?— Хорошо! Где вы находитесь? Центральный телеграф знаете? Через час под часами на Центральном телеграфе...»

Слуцкий сразу же взял быка за рога. Тут же сводил меня в писательскую книжную лавку, по дороге рассказав о литературной жизни в Москве, определяя, кто есть кто и кто чего стоит. Из лавки писателей мы в этот же день строевым шагом дошли до журнала «Знамя» — в проезд Станиславского, где Борис Абрамович собрал несколько сотрудников — Кожевникова, Сучкова, Скорино, и твердым голосом, не допускающим возражений, приказал мне: «Читайте стихи!»

Тут же мы договорились, что в «Знамени» в очередном номере стихи будут напечатаны, и я выходил из редакции уже не провинциальным, а московским поэтом...

Позднее я понял, что Слуцкий, очень ценивший свое время, не был просто филантропом, хотя он выручал меня, да и не только меня, деньгами, делами, советами. За все это он не грубо, но последовательно ждал послушания, групповой дисциплины, проведения в литературной жизни его линии — линии учителя. Он набирал учеников не от избытка чувств, а для дела... Противоречий и несогласий с собой не то чтобы не терпел, но не одобрял и сразу же отдалял от себя «инакомыслящих». Но что привлекало в Слуцком? Его умение четко сформулировать ответ на какую-то социально-политическую проблему. В тот временной отрезок он умел это делать быстрее и смелее других.

Позже, через несколько лет, я дорос до понимания того, что эти ответы были нередко поверхностны, односторонни, публицистичны, но когда тебе 25 лет и сразу хочется все понять, то именно такой подход к жизни наиболее привлекателен.

Подкупала простота и деловитость Слуцкого — мы ведь многое принимали на веру, на веру приняли и утверждение Эренбурга, что именно Слуцкий наследник некрасовского демократизма. Авторитеты в те времена значили много. А Эренбург был авторитетен.

Да, Слуцкий демократичен. Он даже не пил коньяк, говоря, что народ пьет водку и поэт не должен отрываться от народа даже в этом деле.

Привлекала в творчестве Слуцкого насыщенность его поэзии прозой жизни. Проза жизни — ее картины, ее грубый реализм — вообще моя слабость. И соблазн освоить «эту прозу» в стихах был велик. Именно в этом ключе влияние Слуцкого на меня было самым сильным. Но потом, по-настоящему прочитав всю русскую классику, я понял, что проза в стихах не есть открытие Слуцкого — Пушкин, Некрасов, Ходасевич заложили краеугольные камни прозаической эстетики (недаром Слуцкий ценил Ходасевича и раннего Заболоцкого выше Мандельштама). Просто все дело в том, что, прежде чем по-настоящему прочитать Некрасова и Пушкина, мы сначала читали стихи Багрицкого, Светлова, Смелякова, искали кумиров и учителей среди своих современников...

А теперь несколько разрозненных мыслей, которые пришли ко мне, когда я читал последнее, может быть, самое значительное «Избранное» поэта.

* * *

Поэты умирают тогда, когда умирает их время. Помнится, как в начале 60-х годов Слуцкий написал стихи о гимне, о том, как после XX съезда партии срочно отремонтировали старый гимн Советского Союза, избавили его от сталинизмов и как новый идеологический шаблон стал с трудом внедряться в массовое сознание «заместо гимна ложного». Слуцкий, видимо, считал нужной эту замену, но одновременно видел, что народу уже все «до феньки», и написал, собственно, об этом стихи... Но сегодняшнее время, когда пересматриваются основы не гимна Советского Союза, а постулаты партийного мирового гимна — «Интернационала». он бы не перенес.

Сколько раз он цитировал в своих стихах: «это есть наш последний и решительный бой!» А сейчас, когда глава коммунистической партии утром говорит о строительстве общеевропейского дома, а вечером на закрытии XXVIII съезда поет вместе со всем залом «весь мир насилья мы разрушим»...— Нет! Борис Абрамович не вынес бы такого прагматизма, такого лицемерия, такого раскола в своей душе.

Гимну Советского Союза он отдал лишь половину души. И после «косметического ремонта» текста все-таки выдержал удар судьбы. «Интернационалу» же, как и мировой революции, была отдана его душа целиком. Он умер вовремя.

* *

Евтушенко в предисловии к книге Слуцкого пишет: «Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени»... Я любил и до сих пор люблю многие стихи Слуцкого. Всегда уважал его прямоту, верность слову, долгу, присяге. Но никогда не считал его великим поэтом, ибо великий поэт всегда выше, глубже, значительнее своего времени. А Слуцкий был во времени весь со всем своим честным догматизмом, ленинизмом, максимализмом, комиссарством и даже своеобразным сталинизмом. «Великий поэт — это воплощение своей эпохи»,— пишет Евтушенко. А разве Багрицкий (кстати, один из любимых поэтов Слуцкого) не выразил как никто кровожадную идеологию классовой борьбы своей эпохи? Разве его формулы «Но если век скажет: «Солги!» — солги! Но если век скажет: «Убей!» — убей!» не были написаны на знаменах времени? Но можно ли такого поэта, абсолютно соответствующего главному пафосу времени, назвать великим?

Да, Слуцкий действительно был поэтом своей эпохи. Он и книги свои, как бы подчеркивая временность их существованья, называл демонстративно: «Время», «Сегодня и вчера», «Современные истории», «Продленный полдень», «Годовая стрелка», «Сроки»...

Слуцкий мужественно и самонадеянно принимал на себя, как гражданин и честный винтик эпохи, ответственность за все ее деяния в такой мере, в какой поэт не имеет права взваливать ее на свои плечи.

Государство должно государить,
государство должно есть и пить,

и должно, если надо, ударить,
и должно, если надо, убить.

Понимаю, вхожу в положенье,
и хотя я трижды не прав,
но как личное пораженье
принимаю списки расправ.

По нынешним временам это хороший ответ и сыновьям административно-бюрократической системы и их противникам из леворадикальной колонны, когда ни те, ни другие не принимают ответственности ни за деяния своих идеологических отцов, ни за свои собственные, прилаживая демократические маски на лица, чтобы не отвечать ни за что, ежели в будущем что-то получится не так. Слуцкий был и убежден, что, несмотря ни на что,

нашу верно заварили.
А ежели она крута,
что ж! Мы в свои садились сани.
Билеты покупали сами
и сами выбрали места.

Читая это, я горько усмехаюсь: наши леволиберальные поэты сейчас проклинают тоталитаризм. А ведь у каждого из них был мощный идеологический фундамент — поэма о Ленине. У Евтушенко «Казанский университет», у Вознесенского «Лонжюмо», у Рождественского «Двести десять шагов», у Сулейменова «Апрель», у Коротича «Ленин. Том 54»... Разве они не знали о ленинском тоталитаризме? Так что заваренную верно «кашу» они небезуспешно и небескорыстно доваривали.

* * *

Раздвоенность мировоззрения Слуцкого была абсолютно тупиковой и безвыходной. С одной стороны, типичный ифлиец, фанатик мировой революции, верный солдат и политрук марксистско-ленинской тоталитарной системы, для которой высший гуманизм и высшая справедливость заключалась в словах и музыке «Интернационала» — «Привокзальный Ленин мне снится» (даже не сам Ленин, а его гипсовая халтурная ширпотребовская статуя), «Я вычитал у Энгельса, я разузнал у Маркса», «приучился я к терпкому вкусу правды, вычитанной из газет», «себя считал коммунистом и буду считать», «как правильно глаголем Маркс и я»...

А с другой — трогательные, человечные, полные сдержанной аскетической любви к маленькому человеку стихи, столь любимые мною,— «Старухи без стариков», «Расстреливали Ваньку взводного», «Сын негодяя», «Последнюю усталость устав», стихи о пленном немце, которого расстреливают перед тем как отступить — «мне всех не жалко — одного лишь жалко, который на гармошке вальс крутил...». Все-таки он был истинный поэт и от соблазна человечности, от сочувствия человеку-винтику тоталитарной эпохи уйти не мог, и эта струя человечности у Слуцкого упрямо пробивается из-под железобетонных блоков его коммунистическо-интернациональных убеждений... Но и эта человечность Слуцкого ущербна. Она связана с его органическим пороком — абсолютным атеизмом, но об этом чуть ниже...

* * *

Евтушенко чересчур упрощает Слуцкого, считая его последовательным антисталинистом. Да, с годами он все дальше уходил от культа Сталина, но отход был мучительным. Никогда Слуцкий не позволял себе фельетонности, кощунства, мелкотравчатости, прикасаясь к этой трагедии. «Гигант и герой», «Как будем жить без Сталина», «Бог ехал в пяти машинах», «Он глянул жестоко-мудро своим всевидящим оком, всепроникающим взглядом», «А я всю жизнь работал на него, ложился поздно, поднимался рано. Любил его...»

Сталин не любил таких, как Слуцкий. Но такие, как Слуцкий, любили Сталина. В их атеистической душе он занимал место Бога, так как свято место пусто не бывает. У Слуцкого, как у поэта, был именно не политический, не государственный, а поистине религиозный культ этой земной фигуры. Даже через много лет после 1956 года в стихах о Зое Космодемьянской, умершей с именем Сталина на виселице (стихи не включены Евгением Евтушенко в сборник!), Слуцкий писал:

О Сталине я думал всяко разное,
е щ е н е с к о р о п о д о б ь ю и т о г
(разрядка моя. — Ст. К.)
Но это слово, от страданья красное
за ним, я утаить его не мог.

И офицер, ныне осмеянный журналом «Огонек», в стихах Слуцкого не отказывается от Сталина, который был его «благом, славой, честью, гербом и флагом» — «и за это,— заключает поэт,— ему воздам».

Конечно, Слуцкий понимал бесчеловечность сталинского социализма, но понимал его не как анекдот, а как историю дегуманизированного величия.

Я шел все дальше, дальше,
и предо мной представали
его дворцы, заводы —
все, что воздвигнул Сталин:
высотных зданий башни,
квадраты площадей...
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

«Он был мне маяком и пристанью. И все. И больше ничего». Он верил в то, что в мире, выстроенном Сталиным, можно поселить людей. И все это несмотря на знание стихов Мандельштама о Сталине, на горечь от кампании против космополитов и врачей, от уничтожения Антифашистского комитета... Почему? Да потому, что Слуцкий был человеком присяги. Партийно-идеологической присяги социализму. И как бы он ни мучился от ее догм, как поэт он нес ее до тех пор, пока его от нее не освободило само время.

* * *

«Всем лозунгам я верил до конца»... Конечно же, Слуцкий был последовательным сыном своей эпохи. Вот как он описывает утверждение социализма в странах Восточной Европы.

Я помню осень на Балканах,
когда рассерженный народ
валил в канавы, словно пьяных,
весь мраморно-гранитный сброд,
своих фельдмаршалов надменных,
своих бездарных королей,
жестоких и высокомерных
хотел он свергнуть поскорей...

Не знаю, не знаю... Я бывал в этих странах и видел, как стоят там в неприкосновенности памятники польским королям и Пилсудскому, генералу Скобелеву и всем династиям венгерских королей и полководцев, чешским монархам и деятелям католической церкви в той же Речи Посполитой... А о Югославии — с ее патриотизмом — и говорить нечего. Видимо, поэту очень хотелось, чтобы революции в славянских странах проходили по той же схеме, что и в России... «До основанья...» Эта трактовка и эта мечта вступает в полное противоречие с нынешним пониманием того, как и по чьей воле насаждался интернациональный социализм в Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии. Так что здесь правы или Слуцкий со Сталиным, или кардинал Миндсенти с Лехом Валенсой. Одно из двух. Однако таких стихотворений, не просто об освобождении от фашизма, а одновременно о социалистических общенародных революциях в Восточной Европе конца войны, у Слуцкого очень много.

Евтушенко включил в «Избранное» лишь одно, понимая чутьем политика их неуместность сегодня.

Я тоже во многом сын этой же эпохи, но моя жизнь не целиком принадлежит ей, и у моего поколения есть шанс выпутаться из железных объятий тоталитарного мышления. У поколения же Слуцкого таких шансов почти не было. Потому-то многие стихи, которые тридцать лет назад восхищали меня, сейчас я не могу читать без глубокого удручения.

Давайте денег бедным,
несите хлеб несытым,
в дружбу и любезность
куда-нибудь несите,
где весело и сытно,
где трижды в день еда,
несите Ваши чувства
куда-нибудь туда.
. . . .
Брезентовые туфли
стесняют шаг искусства,
на коммунальной кухне
не расцветают чувства.

Видимо, действительно многое изменилось в людском сознании со времен Самсона Вырина и Макара Девушкина, если поэт, незубок вроде бы знающий Пушкина и Достоевского, утверждает: «на коммунальной кухне не расцветают чувства». Какое материалистическое заблуждение, забывающее о том, что «Троицу» Рублев написал в эпоху разорения Руси! А если вспомнить Аввакума, нищего бездомного Есенина, обездоленную в 30-е годы Ахматову, изгоев Клюева и Мандельштама! Всю свою историю русская литература только и занималась тем, чтобы выяснить, почему и как расцветают чувства вроде бы в совершенно неподходящих условиях — в меблирашках и в душных департаментах Петербурга, в острогах Сибири, в крепостных деревнях, в замоскворецких ночлежках. И даже в бараках ГУЛАГа. А тут всего-то-навсего — коммунальная кухня, не так уж и страшно. И все равно «не расцветают чувства»!

* * *

Да, он любил людей, но не христианской, а прагматической любовью строителя, который заботится о согражданах, нужных для осуществления общего дела. А о других — выломившихся из жизни — писал с каким-то отстраненным сочувствием, как будто провожая их из жизни, как бы понимая, что они — отработанный шлак и сор, и — все равно им не поможешь, и не лучше ли оставить энергию сердца для единомышленников, для фронтовых друзей, для рядовых измученных строителей социализма. Он как бы, говоря о неудачниках истории — немецких пленных, белых офицерах, цесаревиче Алексее, по его собственным словам, «экономил жалость» — «мне не хватало широты души, чтоб всех жалеть, я экономил жалость»...

На такие размышления меня натолкнуло стихотворение о судьбе обреченных белых офицеров в 30-е годы, которое заканчивалось в такой моральной тональности: «с обязательной тенью гибели на лице, с постоянной памятью о скороспелом конце...» «старые офицеры старые сапоги осторожно донашивали, но доносить не успели, слушали ночами, как приближались шаги, и зубами скрипели, и терпели, терпели».

* * *

Русско-еврейский вопрос, в первую половину жизни и творчества Слуцкого для него не существовавший, с годами начал мучить поэта все больше и больше. Все чаще его денационализированный интернационализм ощущал свою непрочность перед натиском возрождавшегося в обществе национального еврейского чувства. Появляются стихи «А нам, евреям, повезло», «Отечество и отчество», «Про евреев», «Романы из школьной программы»...

Романы из школьной программы,
На ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.

Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу родню,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я все-таки в сердце храню...

Почти русофильские стихи, но с одной очень существенной оговоркой, о которую всегда цеплялось мое чувство при чтении этого стихотворенья, написанного резко, без полутонов, с внезапным для поэта пониманием неожиданно возникшей двусмысленности своего положения. «Не курский, не псковский, не тульский» — поэт еще не решается сказать «не русский», потому что последняя линия обороны — язык, культура, поэзия — еще за ним. Не в происхождении, которое он игнорирует,

а в любви к русской литературе он видит свою «русскость». Так-то оно так. Но кроме русской литературы есть еще русская история, и сегодняшний пересмотр ее самого страшного периода — 20—30-х годов, когда произошел геноцид русского народа,— делает весьма уязвимой жесткую формулу Слуцкого: «Я все лагеря и погромы за эти романы прощу». Поскольку мы сейчас знаем, кто строил лагеря и кто руководил ими, знаем фамилии верховных теоретиков и практиков ГУЛАГа, основателей системы ОГПУ — НКВД, — Троцкого, Ягоду, Дзержинского, Френкеля, Бермана, Раппопорта, Агранова, Когана, Петерса, Заковского, Трилиссера, Фирина, Берия и т. д.— имя им легион. Так что еще вопрос, кто кому должен «прощать лагеря».

Предвижу возражение: «Ну, опять началось перечисление фамилий, когда это кончится, опять евреи виноваты!» А почему бы не перечислить? Вот только что по телевизору Александр Галич с мстительной страстью спел: «Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку» — это о голосовании, когда исключали Пастернака из Союза писателей. Но миллионы уничтоженных в лагерях — преступление посерьезнее, нежели исключение Пастернака. Так почему бы не «вспомнить поименно» фамилии владык ГУЛАГа?

Вспоминать — так уж всё.

И еще один комментарий. За величие и гуманизм русской литературы Слуцкий прощает ей не только лагеря, но и погромы. Поэт, видимо, от недостатка информации в те времена не знал, что главные погромы в Российской империи происходили где угодно (в польском Белостоке, в молдавском Кишиневе, в интернационально-греческой Одессе, на Украине), но только не на коренных русских землях «псковских, курских, тульских». Так что не надо нас прощать, говоря о всемирно известных погромах. Не за что.

Но это одна из редких исторических ошибок Слуцкого. Обычно он всегда был точен, поскольку был и образован, и начитан.

Да, в отличие от многих своих современников Слуцкий иногда возвышался до национальной самокритики (смотрите стихотворение «Ваша нация» в подборке стихов, которые мы публикуем). Но то, что ленинская идея ассимиляции еврейства, его окончательного «обрусения» не реализовалась в СССР к середине XX века, нанесло ему тяжелейшую мировоззренческую травму.

А потому я уверен, что, время от времени ощущая в себе импульсы пробуждающегося еврейского самосознания, Слуцкий в конечном счете, как ни страдал от раздвоенности, никогда не пожертвовал бы ради национальной ментальности своим интернационально-советским мироощущением. Хотя эта раздвоенность в эпоху «оттепели» вызывала недоумение у людей — читателей самой разной ориентации. Вспоминается злая, но точная эпиграмма не какого-нибудь «русофила», а поэта-авангардиста Всеволода Некрасова: «Ты еврейский или русский? — Я еврейский русский.— Ты советский или Слуцкий? — Я советский Слуцкий...» Начало 60-х годов.

Прямота и бесстрашие были одними из главных черт натуры Слуцкого.

> Евреи хлеба не сеют,
> евреи в лавках торгуют,
> евреи раньше лысеют,
> евреи больше воруют...

Я помню, как в начале шестидесятых годов в одном из провинциальных городков в доме, где собралась еврейская либеральная интеллигенция, меня, приехавшего из столицы, попросили прочитать что-нибудь столичное, запрещенное, сенсационное. Я прочитал это стихотворенье Слуцкого. Помню, как слушатели втянули головы в плечи, как наступила в комнате недоуменная тишина, словно бы я, прочитав стихи о евреях, совершил какой-то неприличный поступок.

> Не торговавший ни разу,
> не воровавший ни разу,
> ношу в себе, словно заразу,
> эту особую расу.

— Это же Слуцкий! — недоумевая и озираясь вокруг, сказал я. Ответом было молчанье. Такой Слуцкий, нарушивший в то время своей уже не комиссарской, а пророческой ветхозаветной смелостью (было в нем нечто от ассимилированного древнего пророка и богоборца одновременно) табу и запреты на рискованную тему, был этой местечково-советской интеллигенции неприятен, даже опасен.

Возможно, что душевный кризис, поразивший Слуцкого, имел еще одну причину. Он, свято уверовавший в интернационал людей, в идеалистическую и совершенно утопическую теорию слияния всех племен в одно человечество, а потому поверивший и в ассимиляцию российского еврейства, вдруг однажды понял, что это все — химера, разваливающаяся, как карточный домик, перед напором реальной жизни.

* * *

В давние времена, даже тогда, когда Слуцкий, прочитав рукопись первой моей книги, предложил себя в редакторы (кроме моей книги «Звено», он был редактором еще одной книги молодого поэта — ленинградца Леонида Агеева), словом, в дни самых лучших наших отношений, со многими его идеями и оценками я не был согласен, о чем говорил ему открыто в глаза. Помню его утверждение о том, что «одни великие поэты (по мысли Энгельса!) выражают «разум нации», а другие — ее «предрассудки». Далее он продолжал, что Сергей Есенин, согласно этой марксистской точке зрения, выражал именно «предрассудки русской нации». Я смеялся и прямо говорил ему: «Борис Абрамович, да Вы Есенина просто не понимаете!» Слуцкий топорщил усы, фыркал, ворчал. Помню, как на мой вопрос, читал ли он замечательных русских философов Константина Леонтьева и Василия Розанова, Слуцкий отрезал: «Я русских фашистов не читаю и Вам не советую».

Именно такие и некоторые другие максимы Б. Слуцкого с течением времени все больше и больше отдаляли нас друг от друга.

* * *

Много было написано в нашей критике о демократизме Слуцкого. Эренбург сравнивал его демократизм с некрасовской народностью. Евтушенко не соглашается с Эренбургом. Он считает, что в поэзии Слуцкого нет ничего крестьянского (и это правда), и говорит о «фронтовом демократизме». Но я думаю, что демократизм Слуцкого времен войны — это все-таки особая демократичность политрука, комиссара, руководителя, уверенного в том, что все, что делается им, идет на благо народа, не всегда понимающего, в чем его собственное благо.

«Я говорил от имени России, ее уполномочен правотой», «Я был политработником», «И я напоминаю им про родину», «И тогда политрук, впрочем, что же я вам говорю, стих — хватает наган, бьет слова рукояткой по головам, сапогами бьет по ногам...» (поднимая в атаку)... Если это демократизм — то особый, юридический, идеологически-приказной, который просуществовал семьдесят лет и сегодня умирает на наших глазах... Слуцкий застал начало его смерти, понял, что процесс необратим, и тогда в его поздних стихах одновременно с простыми человеческими, почти сентиментальными прорывами появился глубокий скепсис человека, потерявшего идеологическую и мировоззренческую опору своей жизни. Да и вообще «демократизм» и «народность» — понятия весьма далекие друг от друга. Народность неотделима от национального мироощущения, а демократизм — это всего лишь признак «антикастового» понимания политической жизни.

* * *

Драма Слуцкого в том, что его человечность была безбожной или даже атеистичной, гуманизм — политизированным. Ему достаточно было того, что называется «правами человека», гарантиями политических свобод и экономического уравнительного достатка. Есть у него стихи о свободе совести, о том, что два тысячелетия христианства не сумели обеспечить ее, а потому надо начинать заново, но уже не с «совести», а со «свободы». Но ведь это уже было в дохристианское время:

> Маловато я думал о боге,
> видно, так и разминемся с ним.

От безверия неизбежен путь в понятный по-человечески, но безвыходный скептицизм, столь гибельный для людей несгибаемой породы, к которой принадлежал Слуцкий.

«Кончилось твое кино, песенка отпета. Абсолютно все равно, как опишут это», «Зарасти, как тропа, затеряться в толпе — вот и все, что советовать можно тебе», «Мировое труляля торжествует над всемирной бездной».

В предчувствии крушения идеи социалистического интернационализма (о мировой революции что уж говорить!) для Слуцкого История становится бессмысленной и теряет, прекращает разумное «течение свое»: «Горлопанили горлопаны, голосили свои лозунгá — а потом куда-то пропали, словно их замела пурга» — и сменили их «горлопаны новейшей эры». Исторические деяния в итоге «сактированы и сожжены дотла»; «Размол кладбища»; «Смывка кинопленки»; «Селедочка в Лету давно уплыла». В море атеистического пессимизма тонет муза Бориса Слуцкого последних лет его жизни. А поскольку для него и вскрытие святых мощей было вскрытием «нуля», как то доказывал главный палач православия Емельян Ярославский, то атеистический пафос жизнестроительства Слуцкого, когда иссякла сила, влился в море беспросветного скепсиса, где на берегу моря, как пародия на вечность, как бы стоит пресловутая банька с пауками из воспаленных снов богоборца Ивана Карамазова. И мысли о будущем человечества стали пошлыми и неутешительными:

> Наедятся от пуза, завалятся спать
> на столетье,
> на два века, на тысячелетье.
> Общим храпом закончится то лихолетье,
> что доныне историей принято звать.

Как все это не похоже не молодое предвоенное кипенье, на «это есть наш последний»!.. К атеистическому скепсису сделан громадный шаг, а к Новому завету, к Вере, к Христианству ни на волосок не сдвинулась душа Слуцкого в отличие от души Пастернака, Заболоцкого или Ахматовой. Даже умирающий Пушкин у него живет в углу, где ни одной иконы — «лишь один Аполлон». А потому и приходит расплата внутреннего опустошения:

> Нету надежд внутри жизни, внутри
> века, внутри настоящего времени.
> Сможешь — засни, заморозься, замри
> способом зернышка, малого семени.

Быстрое осознание того, что вся жизнь положена на алтарь безнадежного дела, все чаще и чаще навещало его, разъедая оболочку убеждений, казалось бы, скроенных из нержавейки. Нержавейка (как на скульптуре Мухиной) расползалась, и из трещин ее время от времени слышались глухие признания: «Я строю на песке», «Сегодня я ничему не верю», «Но верен я строительной программе»... Самое страшное заключалось в том, что драма была не духовной, а идеологической. Конструкции его внутреннего мира, скроенные из атеистического материализма, настолько окостенели, что никакие сомнения, разъедавшие внешнюю оболочку, не могли их нарушить. Внутренний мир его был как бы «слажен из одного куска», и когда поэт понял, что идея социальной справедливости демагогична и неосуществима, то у него, в сущности, остались только два пути для исхода: смерть или помутнение рассудка... Судьба предназначила ему второе...

* * *

Слуцкий был в своем мировоззрении последовательным прагматиком, уверенным в том, что важна лишь история, творящаяся сегодня, при его жизни, что все, что было, и быльем поросло и уже не повлияет на сегодняшнюю «злобу или доброту дня».

Бериевская амнистия — да, это живое время, 1956 год — то же, послевоенное перенапряжение сил — его эпоха, четыре года войны — главное в жизни, а все остальное уже как бы на том берегу Леты, уже отрезано навсегда, уже не будет ни сил, ни желания ворошить и пересматривать эти геологические пласты.

А все довоенное является ныне
                                        доисторическим,
плюсквамперфектным, забытым и,
                    словно Филонов в Русском
музее, забитым в какие-то ящики...

Стихи, полные усталости и исторического пессимизма, в который переродился пафос социалистического строительства. Сегодня же вся история зашевелилась, словно бы спрыснутая живой водой. Ожило время с красным террором и геноцидом казачества, с расстрелом царской семьи и Соловками, с Беломорканалом, со съездами партии, с мемуарами изгнанников первой русской эмиграции. История кричит, митингует, жестикулирует, плещет в душе сегодняшнего человека, размывая все дамбы исторического материализма. Слуцкий не смог бы этого вынести.

* * *

У Слуцкого был дар предвиденья. Два десятка лет тому назад он написал стихи о переименованиях городов, улиц, поселков в эпоху тридцатых годов.

Имя падало с грохотом
и забывалось не скоро,
хотя позабыть немедля
обязывал нас закон.
Оно звучало в памяти,
как эхо давнего спора,
и кто его знает, кончен
или не кончен он.

Сейчас уже совершенно ясно, что этот спор не кончен. Но мне трудно сказать, радовался бы Слуцкий нынешним обратным переименованиям Куйбышева в Самару, Калинина в Тверь, Горького в Нижний Новгород, Свердловска в Екатеринбург? А если процесс пойдет дальше и во всех городах улицам Урицкого, Володарского, Дзержинского будут возвращены имена Богоявленской, Покровской, Никольской (по названиям церквей)? Мне кажется, что Слуцкий предвидел и приветствовал лишь десталинизацию идеологии. Что же касается реставрации имен и названий начала социалистической эпохи... Нет! Это было бы для него невыносимо.

По словам Евтушенко, Борис Слуцкий, человек этически безупречный, допустил в жизни «одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его»: он осудил Пастернака за публикацию на Западе романа «Доктор Живаго». Думаю, что Евтушенко здесь недооценивает цельности и твердости натуры Слуцкого. Да никто бы не смог заставить его осудить Пастернака, ежели бы он сам этого не хотел! А осудил он его как идеолог, как комиссар-политрук, как юрист советской школы, потому что эти понятия, всосанные им в тридцатые годы, как говорится, с молоком матери, были для Слуцкого святы и непогрешимы еще в конце пятидесятых годов. С их высоты он мог осудить не только Пастернака, нанесшего, по его мнению, некий моральный ущерб социалистическому отечеству. С их высоты он, юрист военного времени, вершил суд и справедливость в военных трибуналах, в особых отделах, в военной прокуратуре. О, ирония истории — которая заставила лично добрейшего человека порой надевать на себя чуть ли не мундир смершевца! Но он как поэт был настолько честен, что и не скрывал этого, и в его сталинистском подсознании на иррациональном уровне шла мучительная борьба, обессиливающая поэта.

«Я судил людей и знаю точно, что судить людей совсем не сложно», «В тылу стучал машинкой трибунал», «Кто я — дознаватель, офицер? Что дознаю? Как расследую? Допущу его ходить по свету я? Или переправлю под прицел», «За три факта, за три анекдота вынут пулеметчика из дота, вытащат, рассудят и засудят...» Глухо, сквозь зубы, но с откровенной мужественной горечью.

Думаю, что воспоминания об этом периоде жизни мучили Слуцкого куда сильнее, нежели пропагандистская история с Пастернаком, в конечном счете лишь пролившая воду на мировую славу поэта.

* * *

Творчество и судьба Слуцкого — это драматическая попытка соединения несоединяющихся пластов мировоззрения. Всю жизнь он пытался, словно стекло с железом, «сварить» идеологию марксизма-ленинизма с человечностью, голый исторический материализм с мировой культурой, советский образ жизни с общечеловеческими ценностями, идеологию и практику «комиссарства» с гуманизмом, национальную культуру с осколками, остающимися после коммунистического «штурма небес», атеизм с милосердием и состраданием к простому человеку толпы. Поистине такое раздвоение было для него выносимым до известных пределов. Но убеждение, с которым он шел по тупиковому пути, было искренним, последовательным, бескомпромиссным и высвечивало крупный характер, незаурядную натуру, вызывающую уважение и друзей и врагов.

Потому-то, когда пришел час прощаться с ним, к гробу пришли люди противоположных, можно сказать, враждующих позиций и мировоззрений: Вадим Кожинов и Владимир Огнев, Анатолий Передреев и Давид Самойлов, Александр Межиров и Станислав Куняев.

Потому-то над его гробом, навсегда прощаясь с ним, я сказал приблизительно следующее:

«Чем был дорог нам Борис Абрамович Слуцкий? Тем, что он был крупным талантом в нашей поэзии, тем, что он был человеком чести и слова, дорог своей прямотой и своей заботливостью о тех, кто был рядом с ним, своим аскетизмом и, что, может быть, нужнее всего сегодня для каждого из нас,— своим бесстрашием перед жизнью и ее роковыми вопросами. С бесстрашием сильной натуры и истинного поэта он ставил перед собой неразрешимые задачи — социальные, государственные, культурные, национальные. А для разрешения их у него был лишь один нежнейший инструмент — слово человеческое... И сколько в результате этой драматической борьбы, происходившей в его душе, он оставил нам замечательных стихотворений.

Старух было много, стариков было мало,
то, что гнуло старух, — стариков ломало,
старики умирали, хватаясь за сердце,
а старухи, рванув гардеробные дверцы,
доставали костюм — дорогой, суконный,
покупали гроб — дорогой, дубовый,
и глядели в последний, как лежит
                                        их законный,
прижимая лацкан рукой пудовой...»

Какая тяжелая музыка (вот он, настоящий металлический Рок, тяжелый металл!) звучит в этом музыкальном ритме, казалось бы, самого немузыкального поэта своего поколения Бориса Слуцкого!

Уходит, вернее, уже ушла эпоха, певцом, мучеником, подвижником и демиургом которой он был. Попрощаемся с этой эпохой. Попрощаемся со Слуцким. И все, что я сегодня пишу о нем,— это и есть прощанье с ним. И разрыв, и благодарность, и признанье, и забвенье. Все одновременно. Одна только забота — лишь бы проститься по-христиански. А напоследок — опять же слово ему.

А что ж! Раз эпоха была и сплыла —
и я вместе с ней сплыву неумело и смело.
Пускай меня крошкой смахнут вместе с ней
                                        со стола,
с доски мокрой тряпкой смахнут, наподобие
                                        мела.

И жалко, и закономерно, что он не смог своими словами повторить знаменитое: «Нет, весь я не умру...» или хотя бы нечто похожее на есенинское: «Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам».

БОРИС СЛУЦКИЙ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Ваша нация

Стало быть, получается вот как:
слишком часто мелькаете
                    в сводках
новостей,
слишком долгих рыданий
алчут перечни ваших страданий.
Надоели эмоции нации
вашей,
как и ее махинации,
средствам массовой информации!
Надоели им ваши сенсации.

Объясняют детишкам мамаши,
защищают теперь аспиранты
что угодно, но только не ваши
беды,
только не ваши таланты.

Угол вам бы, чтоб там отсидеться,
щель бы, чтобы забиться надежно!
Страшной сказкой
грядущему детству
вы еще пригодитесь, возможно.

* * *

Еще изыщется изящество,
отъехавшее в эмиграцию,
и прежней удали казачества.
Еще придется разобраться.
И все хорошее, заросшее
быльем,
        пробьется сквозь былье.
Все, заметенное порошею
времен,
        возобновит житье.

Царевич

Все царевичи в сказках укрылись,
ускакали на резвых конях,
унеслись у Жар-птицы на крыльях,
жрут в Париже прозрачный коньяк.

Все царевичи признаны школой,
переизданы в красках давно.
Ты был самый неловкий и квелый,
а таким ускользнуть не дано.

С малолетства тяжко болея,
ты династии рушил дела.
Революцию гемофилия
приближала как только могла.

Хоть за это должна была льгота
хоть какая тебя найти,
когда шли к тебе с черного хода,
сапогами гремя по пути.

Все царевичи пополу́ночи
по Парижу, все по полям
Елисейским — гордые юноши.
Кровь! Притом с молоком пополам.

Кровь с одной лишь кровью мешая,
жарким, шумным дыханьем дыша,
Революция — ты Большая,
ты для маленьких — нехороша.

Хоть за это, хоть за это,
если не перемена в судьбе,
от какого-нибудь поэта
полагался стишок тебе.

Национальные жалобы

Еврейские беды услышались
первыми.
Их голоса звучали громчей,
поскольку не обделили нервами
евреев в эпоху дела врачей.

Потом без нервов, с зубами
сжатыми,
попер Чечни железный каркас.
Ее выплескивали ушатами
из Казахстана на Кавказ.

Потом медлительные калмыки,
бедолаги и горемыки,
из ссылки на родину,
влачась в пыли,
из пустоты в пустыню пошли.

А волжские немцы ждали долго,
покуда их возвратят на Волгу,
и, повздыхав, пошли черепицу
обжигать
и крыши стлать,
поскольку им нечего торопиться.

Потом татары засыпали власть
сначала мольбами,
потом прошениями,
потом пошел татарский крик,
чтобы их не обошли решениями,
чтобы вернули в Крым.

Все эти вопли, стоны, плачи
в самый долгий ящик пряча,
кладя под казенных столов сукно,
буксует история давным-давно.

В нее, в историю, все меньше
верят.
Все меньше спроса на календари,
а просто пьют, едят и серят
от зари до зари.

В углу

Мозги надежно пропахали,
потом примяли тяжело,
и от безбожной пропаганды
в душе и пусто и светло.

А бог, любивший цвет и пенье,
и музыку, и аромат,
в углу, набравшийся терпенья,
глядит, как храм его громят.

* * *

В графе «преступленье» — епископ.
В графе «преступление» — поп.
И вся — многотысячным списком —
профессия в лагерь идет.

За муки, за эти стигматы,
религия, снова живи.
И снова святые все святы.
Все Спасы — опять — на крови.

Топить ли их слепыми?

Не топить слепыми котят,
а понять, что не лыком шиты,
выйти им помочь на орбиты,
а летают пускай как хотят.

Молодой поэт, по письму
молодого поэта иного,
и насколько его я пойму,
ничего в нем нету дурного.

Он умен и он даровит.
Больше в нем ума, чем таланта.
Он стихами пока не дивит.
Не дивит, ну и что ж, ну и ладно.

Я сторонник большого аванса.
Я защитник последнего шанса.
Санчо Панса иль Дон Кихот —
каждый пусть получает свой ход.

Пусть он сделает ход своей
пешкой.
Пусть продвинется хоть в короли.
Понимаю: помедли, помешкай —
и застрянешь в грязи и пыли.

Понимаю, что он понимает:
он глаза на меня поднимает,
в них надежда, и ужас, и гнев
цепенеют, оледенев.

И пока это все не погасло,
пусть рассчитывает на меня.
Я его подсажу на Пегаса,
может, он оседлает коня.

Он способный и очень толковый.
Подтолкну-ка его к рубежу.
Даже если меня же подковой
шибанет — все равно подсажу.

* * *

Несправедливо быть к плохим
несправедливей, чем к хорошим,
к тягучим жалобам — глухим
и черствым — к их сердцам
порожним.

Да не обидят подлеца
в пайке́. Пусть получает равный.
Пусть сын прохвоста —
парень славный
не отвечает за отца.

Из множества иных идей
я только эту мысль запомнил
в тот год, когда судил людей
и много, очень много понял.

После двоеточия

Вечером после рабочего дня
по дороге в отдельные
и коммунальные берлоги
люди произносят внутренние
монологи.

Кое-что доносится до меня.
двоеточие
— Целый день работал без меры.
Целый день мозги засорял.
Все-таки — почему инженеру
платят меньше, чем слесарям?

— Трудно учиться станкачу.

Семь часов плюс три за партой.
Зато потом, если захочу,
прочту чертежи, разберусь
с картой.

— Муж! Всю жизнь ему верна.
Даже в сторону не посмотрела.
А он сперва говорил — война!
Теперь говорит — ты постарела.

— Покуда ноги будут носить,
покуда женщины хорошеют
весною,
буду в сторону глаза косить.
Ничего не поделает со мною.

— Всю жизнь выполнял последний
приказ.
Делал то, что говорили.
Сейчас даже в пенсии отказ.
Все грехи на меня свалили.

— Он меня бил в живот, по лицу.
Кричал: подписывай!
Все равно сдохнешь!
Смотришь в глаза ему, подлецу,
и ничего! Не вздохнешь,
не охнешь.

Все-таки кончился рабочий день
для всех: для неправых
и для обиженных.
Деревья удлиняют тень.
Огни зажглись во дворцах
и в хижинах.

Для правых и неправых зажжена
в общем небе одна луна.

Перебивая все голоса,
все проклятия и благословения,
луна в привычном дерзновении
спокойно восходит на небеса.

* * *

На том стоим!
А вот на чем стоим?
Какие тайны мы в себе таим?

Когда гляжу я на поток труда,
мне хочется спросить его: «Куда?»,
«Зачем?» — интересуюсь, —
«Для чего?» —
но мне не отвечают ничего.
Давным-давно и раньше,
чем давно,
все это, как часы, заведено,
и, видимо, для собственной красы
торопятся без отдыха часы.

Полукровки

Простыни когда-то расстелили,
второпях зачали,
а теперь вы разве разделимы
на концы и на начала?

Водка — тоже из воды и спирта,
а поди разлей на спирт и воду,
если столько этой водки спито
за десятилетия и годы.

Вот вы и дрожите, словно листики,
в буре обоюдных нареканий,
полукровки — тоненькие мостики
через море. Меж материками.

Что ж вам делать в этом море
гнева?
Как вам быть в жестокой
перекройке?
Взвешенные меж земли и неба
смешанные крови. Полукровки.

◆◆◆

К пересмотру военной истории

Сгинь! Умри! Сводя во гневе брови,
требуют не нюхавшие крови
у стоявших по плечи в крови:
— Сгинь! Умри! И больше не живи!

Воевал ты, да не так, не эдак,
как Суворов, твой великий предок,
совмещавший с милосердьем пыл.
И Кутузов гениальней был.

Ты нарушил правила морали!
Все, что ты разрушил, не пора ли
правежом взыскать! И — до рубля!
Носит же таких сыра земля!

Слушают тоскливо ветераны,
что они злодеи и тираны
и что надо наказать порок,
и что надо преподать урок.

Думают они, что в самом деле
сгоряча они недоглядели
и недоучли в пылу атак,
что не эдак надо бы, а так!

Впрочем, перетакивать не будем,
а сыра земля по сердцу людям,
что в манере руд или корней
года по четыре жили в ней.

* * *

— Дадите пальто без номера?
Где-то забыл, по-видимому.
Или не взял, по-видимому.
Давайте, пока не выдали.
Давайте, покуда кто-нибудь
мой номер еще не нашел.
Ищи потом его где-нибудь:
схватил, надел и ушел.

— Какое ваше пальто?
Это? Вот это?
То?

— Да нет! Все это — пижонство —
велюр! коверкот! шевиот!
Мое пальто — полужесткое,
десятый годок живет!

— А цвет какой?
— Цвету медного.

— Сукно, какое сукно?
— Шинельное, полубессмертное,
такое сукно оно...

— Не эта ли ваша шинель?
Вот та, что висит на стене?

— Да что вы в самом деле?
Ведь я лейтенантом был.
Солдатские эти шинели —
ни в жисть! никогда! — не носил.
Моя шинель офицерского
покроя.
Сукна — венгерского.
Кофейного цвета сукна.
Такая шинель она.

— Эх, с пьяным не житье!
Хватайте ваше тряпье!

◆◆◆

* * *

Не заглядывайте далеко вперед.
Не загадывайте ни жары,
ни морозов.
Все неверно, словно в бюро погод.
Все неточно, как в институте
прогнозов.

По копейке — в рубли, по минутам —
в дни
накапливаются количества.
Но становятся качеством новым они
лишь только,
когда им приличествует.

Календарь сочиняется на год
вперед.
Продается вперед за полгода.
И тем не менее крепко врет
про политику и про погоду.

Никому неохота подолгу врать.
Всем сандалии Моисея — не впору.
И в пророки пришлось бы теперь
набирать
как на стройки — по оргнабору.

А в гадалки уходит худшая часть
престарелых и темных женщин,
угадать неспособных
«Который час?» —
никакой им завет не завещан.

Лучше просто ждать, ждать,
ждать —
своей доли, участи, части,
не пытаясь предупреждать
счастья или, скажем, несчастья.

Лучше просто спать, спать,
спать —
безмятежно и бестревожно.
Лучше просто знать, знать, знать,
что узнать ничего невозможно.

Преимущества и недостатки объема

Все десятилетия — великие.
Как ни кинешь — всюду рост,
подъем.
Может быть, последняя религия,
где поклоны бьем тебе,
объем.

Может быть,
покрепче католичества
православия правей, славней,
та,
увеличения количества
возгласившая
и всё, что в ней:

космос без небес,
но с бесконечностью.
Миллионов, миллиардов вал
и навал нулей. Конечно,
также единиц навал.

Как просторны храмы у объема!
Как безлики лики у него!
Как похоже Всё на Ничего!
Лучше уж в пределах окоема.

◆◆◆

Счетные работники

К бухгалтерам приглядываюсь
издавна
и счетоводам счет веду.
Они, быть может, вычислят звезду,
которая и выведет нас из дому.

Из хаоса неверных букв,
сложившихся в слова неясные —
в края, где в основанье всех наук
нагие числа, чистые, прекрасные.

Во имя человечества — пора,
необходимо для целей природы,
чтоб у кормила — вы, бухгалтера,
стояли. Рядом с вами — счетоводы.

Дворянская забылась честь.
Интеллигентская пропала совесть.

У счетоводов же порядок есть
и аккуратность, точность,
образцовость.

Все приблизительны. Они — точны.
Все — на глазок. У них же —
до копейки.
О, если бы на карту всей страны
перевести их книги — под копирку.

Растратчики, прохвосты и ворюги
уйдут из наших городов и сел.

Порядок, тот, что завезли
варяги, —
он весь по бухгалтериям осел.

◆◆◆

Не цифрами, а буквами

Не цифрами, а буквами. Точней,
конечно, цифра. Буква —
человечней.
Болезненный, немолодой, увечный
находит выраженье только в ней.

А цифра — бессердечная метла.
Недаром богадельня и больница
так любит слово, так боится,
так опасается числа.

* * *

Еврейским хилым детям,
ученым и очкастым,
отличным шахматистам,
посредственным гимнастам —

советую заняться
коньками, греблей, боксом,
на ледники подняться,
по травам бегать босым.

Почаще лезьте в драки,
читайте книг немного,
зимуйте, словно раки,
идите с веком в ногу,
не лезьте из шеренги
и не сбивайте вех.

Ведь он еще не кончился,
двадцатый страшный век.

Публикация Ю. Болдырева.

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ

РАДИОРЕПОРТАЖ О РОБОТАХ

РАССКАЗ

Давно мечтал посетить это знаменитое на весь миг заведение. Я получил как публицист два задания, ознакомиться с самим сугубо засекреченным Центром и то, что можно поведать о гоботах уже сейчас, подготовить это для нашего гадио, что и делаю сейчас.

В Центге масса лабогатогий, куда меня не водили, ибо я не специалист. Мне показали только самые очевидные достижения. Я отметил повсюду идеальные чистоту и акустику всех помещений.

Хотелось побеседовать с каким-нибудь гоботом. Мне сказали, что я не должен пытать его о так называемом внутгеннем состоянии, о свойственной иным людям душе и тому подобных идеалистических благоглупостях. И не пытать о собственном мнении, иного гобота тогда уже не остановишь.

Ввели гобота, и я сказал ему — хелло, как погодка? Какая погодка, ответил тот и уставился в потолок. Ну, та погодка, котогая там, на улице, уточнил я. Тогда и тот уточнил — на улице естественная уличная погодка. Затем возмутился, что его отвлекли от существенных мыслей из-за пустяков, и вышел, жутко звякнув зубами.

Я удивился находчивости этого существа. От чего зависят умственные способности гобота? От величины его головы, ответили мне. Величина головы человека уже огганичена его обгазом и подобием, здесь же мы можем достичь каких угодно величин. Но слишком большую голову не выносит шея. Делали гоботов без шеи, тогда они не могли мотать головой туда-сюда, а без этого нет впечатлений, а без впечатлений нет и мыслей. Потом большие гоботы неудобны тем, что задевают за потолок и ломают помещения, поэтому мы их пока не создаем, да нет еще и таких глобальных дум, для чего бы именно они понадобились. Давайте потолкуем о геальных вещах.

Давайте. И мне поведали о гоботах-гидах. Создается поточная линия достопгимечательностей, все они гадиофицигованы. Вы подходите к памятнику Гоголю, нажимаете кнопку и слышите: Я — Гоголь,

Николай Васильевич, годился в 1809 году, умег в 1852, являюсь выдающимся пгедставителем классической гусской словесности. Основной вклад в духовное наследие — смех сквозь слезы. И тут же комната смеха и фонтан слез. Вы туда идете, когда Гоголь выключается. Далее вам докладывают плачущим голосом — следующая достопгимечательность — казенный дом, памятник зодчества конца XX века, все подходы к нему охганяются госудагством, чтобы не откалывали куски на память, как от Великой китайской стены. И вот по этой линии достопгимечательностей мы пускаем компанию гоботов, сначала как тугистов. Они самообучаются таким методом: подходит один к дгугому и умоляет: ты же Гоголь, Николай Васильевич, годился в 1809 году, умег в 1852, ты же пасечник Гудый Панько, и вообще, тебе должны шинель выдать и взять в общество «Вечная память». Тут уж все точно запомнит, память действительно вечная, можно уже пускать по улицам с толпой тугистов. Как только увидит Гоголя, тут же говогит: Гоголь, пасечник, годоначальник геализма. Вся задача сейчас в оглашении, то есть в извлечении звуков, особенно таких, как «л» и «г». «Л» — влажный звук, от частого его извлечения зубы гобота гжавеют, он начинает плеваться, тугисты обижаются, особенно из-за губежа, ведь они не догадываются, что их обслуживают гоботы. И пока наш опытный гид начинает так: Я — Гога, Никоай Васийевич, ио это, сами понимаете, не пгедел. Особенно ловко извлекают гоботы гундосые звуки. А вот у японцев нет звука «л» вообще, поэтому именно в этой области у них выдающиеся успехи.

А как гобот извлекает звук «г», ггассигует ли, когда сознается: Я — гобот? Тгошки, ответили мне, тгошки ггассигует. Особенно если дать фганцузского гувегнега.

А может ли гобот-гид сказать, по чьему пгоекту выполнен тот или иной памятиик?

Это задача, ответили мне. Дело в том, что гобот сам создан по чьему-то пгоекту, он как бы памятник своему создателю. Поэтому слово «пгоект» в лексиконе гоботовой памяти вызывает сложные ассоциации. Мы уже упоминали, что не следует гобота беспокоить по поводу его внутгеннего состояния и его собственного мнения. Слово «пгоект» сдвигает мысль гобота именно на эту нежелательную линию. Он начинает заводиться и поносить именно свой пгоект и своего создателя. Гобот пгинципиально негелигиозен, он не вегит, что его кто-то создал, поэтому у него налицо комплекс поношения несуществующего создателя. Хотя создателя быть не должно, но — недовольство собой взывает к создателю, на коего можно свалить собственные неполадки. Мы сейчас ломаем голову над снятием этого пагадокса. Есть еще слова, вызывающие нежелательные сдвиги в поведении. Скажем, очень все волнуются от слова «пуск».

Я тут же подумал о слове «выпуск» и спгосил, готовят ли к поточному выпуску гоботов-писателей. Конечно, ответили мне. Уже запущены на полную мощность гоботы-читатели.

Мне показали читальный зал, где над книгами склонились гоботы. Они подняли головы на нас, а кто-то сказал — т-сс. Мы тихонько вышли, а за нами вышли из зала двое и стали беседовать.

Мне шепотом сообщили, что они так обмениваются знаниями. Каждый делится сутью известной ему книги с собеседником, кстати, одномоментно, тогдв как человек так не может.

Действительно, подумал я, сколько жизни уходит на то, чтобы вещать, ничего не получая взамен. И как часто мы вынуждены тупо внимать, когда и тебе есть что сказать, но невежливо заглушать собеседника. Получается, что вежливость — лишь дань нашей недоделанности. И тут я полюбопытствовал: когда гоботы станут достаточно начитанными, начнут ли они сочинять сами, скажем, кто читал о путешествиях, будут писать о путешествиях, кто читал детективы,

будут писать детективы, а читатели классики будут писать классику.

В недалеком будущем так и будет, ответили мне. Но пока читатели путешествий будут путешествовать по пгочитанным местам, где будут испгавлять отклонения от канонического текста. Это будет весомый вклад в экологию геополитики.

Это меня несколько удивило. Мало ли что писали путешественники в свою эпоху. Допустим, в изложении Ключевского находим, что согласно Адаму Олеагию из-за ночных газбойников ночью нельзя ходить по Москве без огужия и спутников. Что же сделает гобот, начитавшийся сказаний иностганцев о Московском госудагстве, попав в Москву? Потгебует спутников? Огужия? Будет восстанавливать число газбойников до соответствующего букве ветхих описаний?

Мои спутники засмеялись. Оказывается, газбойники гоботов не пугают и являются для них чисто научными объектами. И, конечно, все будет задумано газумно, ибо заниматься неполадками гоботы будут в союзе с людьми. А что будут делать гоботы-детективы? — напомнил я.

Читателям детективов будет дана полная свобода. Нам самим любопытно, к чему они склонятся, станут ли уголовниками или пополнят собой плеяду сыщиков. А читатели классики начнут, а иные уже начали, экганизацию классики.

Но это же опасно! — воскликнул я, хотя я почти свыкся с мыслью, что здесь всему голова — чистый газум.

Ничуть не опасно, успокоили меня. Любая экганизация окупается, ведь кино увлекает сегодня все больше людей, поэтому у них все меньше охоты читать книги. Тем более что кино уже цветное, а книги все еще чегно-белые. Но я имел в виду вовсе не это, я полагал опасным, что гоботы станут уголовниками. Ах, это, утешили меня спутники. Если иные и станут уголовниками, то большинство их тут же поймают. Ведь ловить их будут не только гоботы-сыщики, но и сыщики-люди, а также сами уголовники, возмущенные самозванцами. Я снова убедился в величии чистого газума.

А как дела с экганизациями? Оказывается, снимают фильм по Туггеневу, «Отцы и дети». Конфликт между гоботвми двух поколений. Базагов пилит автогеном ископаемые танки, ищет, что у них внутги. Потом он умигает, но умегеть не может, так как надежно свинчен. Тегтый калач — отзывается о нем баба с электгонным мозгом. Фильм жизнегадостный, показывающий, что все поколения гоботов могут сосуществовать. Еще снят фильм «Нос» по сценагию Гоголя. Ново, неожиданно. Дело в том, что обонятельная система является одной из самых сложных, поэтому есть слуховые и визуальные усилители, но нет обонятельных. И нос, отдельный от гобота майога Ковалева, действительно такой же, как он, по величине и даже по виду, но интимно куда сложнее и таинственнее самого майога, а то и полковника. Затем с помощью наших ученых нос становится все погтативней и погтативней и наконец занимает свое естественное место на лице майога, но уже в качестве пгоизведения искусства.

Великолепно! — изумился я смелости замысла и исполнения. А каковы будут «Мегтвые души» в изложении гоботов? Чичиков скупает списанные модели, чтобы сбыть их иноземцам как ископаемые ценности. Но сбытые ценности скопом бегут назад в отчизну, обогащенные опытом и валютой, и...

Т-сс, — засипели мои спутники, — гоботы могут нас услышать и глубоко задуматься над вашими идеями. Я вспомнил, какая здесь замечательная акустика. На этом мое посещение закончилось.

Заходите к нам чегез сто лет, будем очень гады, оцените наши новые успехи. Один из моих спутников наклонил ко мне свою довольно большую голову и шепнул: заходите, кстати, и не так поздно, обсудим кое-какие ваши мысли. Найдите меня, меня здесь каждый знает, я — Гога, Никоай Васийевич, годился в 1809 году, являюсь и по сей день выдающимся...

История Отечества: документы и судьбы

С. МЕЛЬГУНОВ

«КРАСНЫЙ ТЕРРОР»

2. «Террор навязан»

> ***Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов... является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи.***
>
> **Бухарин.**

Террор в изображении большевистских деятелей нередко представляется как следствие возмущения народных масс. Большевики вынуждены были прибегнуть к террору под давлением рабочего класса. Мало того, государственный террор лишь вводил в известные правовые нормы неизбежный самосуд. Более фарисейскую точку зрения трудно себе представить, и нетрудно показать на фактах, как далеки от действительности подобные заявления.

В записке народного комиссара внутренних дел и в то же время истинного творца и руководителя «красного террора» Дзержинского, поданной в Совет народных комиссаров 17 февраля 1922 г., между прочим, говорилось: «В предположении, что вековая старая ненависть революционного пролетариата против поработителей поневоле выльется в целый ряд бессистемных кровавых эпизодов, причем возбужденные элементы народного гнева сметут не только врагов, но и друзей, не только враждебные и вредные элементы, но и сильные и полезные, я стремился провести *систематизацию* карательного аппарата революционной власти. За все время Чрезвычайная Комиссия была не что иное, как *разумное* направление карающей руки революционного пролетариата» [1].

Мы покажем ниже, в чем заключалась эта «разумная» систематизация карательного аппарата государственной власти. Проект об организации Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, составленный Дзержинским еще 7 декабря 1917 г. на основании «исторического изучения прежних революционных эпох», находился в полном соответствии с теориями, которые развивали большевистские идеологи. Ленин еще весной 1917 г. утверждал, что социальную революцию осуществить весьма просто: стоит лишь уничтожить 200—300 буржуев. Известно, что Троцкий в ответ на книгу Каутского «Терроризм и коммунизм» дал «идейное обоснование террора», сведшееся, впрочем, к чрезмерно простой истине: «враг должен быть обезврежен; во время войн это значит — уничтожение». «Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтобы этого не понимать» [2]. И прав был Каутский, сказавший, что не будет преувеличением назвать книгу Троцкого «хвалебным гимном во славу бесчеловечности». Эти кровавые призывы поистине составляют, по выражению Каутского, «вершину мерзости революции». «Планомерно проведенный и всесторонне обдуманный террор нельзя смешивать с эксцессами взбудораженной толпы. Эти эксцессы исходят из самых некультурных, грубейших слоев населения, террор же осуществлялся высококультурными, исполненными гуманности людьми». Эти слова идеолога немецкой социал-демократии относятся к эпохе Великой французской революции [3]. Они могут быть повторены и в XX веке: идеологи коммунизма возродили отжившее прошлое в самых худших его формах. Демагогическая агитация «высококультурных», исполненных якобы «гуманностью» людей бесстыдно творила кровавое дело.

Не считаясь с реальными фактами, большевики утверждали, что террор в России получил применение лишь после террористических покушений на так называемых вождей пролетариата. Латыш Лацис, один из самых жестоких чекистов, имел смелость в августе 1918 г. говорить об исключительной гуманности советской власти: «нас убивают тысячами (!!!), а мы ограничиваемся арестом» (!!). А Петерс, как мы уже видели, с какой-то исключительной циничностью публично даже утверждал, что до убийства, напр., Урицкого, в Петрограде не было смертной казни.

Начав свою правительственную деятельность в целях демагогических с отмены смертной казни [4], большевики немедленно ее восстановили. Уже 8 января 1918 г. в объявлении Совета народных комиссаров говорилось о «создании батальонов для рытья окопов из состава буржуазного класса мужчин и женщин, под надзором красногвардейцев». «Сопротивляющихся расстреливать» и дальше: контрреволюционных агитаторов «расстреливать на месте преступления» [5].

Другими словами, восстанавливалась смертная казнь *на месте* без суда и разбирательства. Через месяц появляется объявление знаменитой впоследствии Всероссийской Чрезвычайной Комиссии: «...контрреволюционные агитаторы... все бегущие на Дон для поступления в контрреволюционные войска... будут беспощадно расстреливаться отрядом комиссии на месте преступления». Угрозы стали сыпаться, как из рога изобилия: «мешочники расстреливаются на месте» (в случае сопротивления), расклеивающие прокламации «немедленно расстреливаются» [6] и т. п. Однажды Совет народных комиссаров разослал по железным дорогам экстренную депешу о каком-то специальном поезде, следовавшем из Ставки в Петроград: «если в пути до Петербурга с поездом произойдет задержка, то виновники ее будут расстреляны». «Конфискация всего имущества и расстрел» ждет всех, кто вздумает обойти существующие и изданные советской властью законы об обмене, продаже и купле. Угрозы расстрелом разнообразны. И характерно, что приказы о расстрелах издаются не одним только центральным органом, а всякого рода революционными комитетами: в Калужской губ. объявляется, что будут расстреляны за неуплату контрибуций, наложенных на богатых; в Вятке «за выход из дома после 8 часов»; в Брянске — за пьянство; в Рыбинске — за скопление на улицах и притом «без предупреждения». Грозили не только расстрелом: комиссар города Змиева обложил город контрибуцией и грозил, что неуплатившие «будут утоплены с камнем на шее в Днестре» [7]. Еще более выразительное: главковерх Крыленко, будущий главный обвинитель в Верховном Революционном Трибунале, хранитель законности в советской России, 22 января объявлял: «Крестьянам Могилевской губернии предлагаю *расправиться* с насильниками *по своему рассмотрению*». Комиссар Северного района и Западной Сибири в свою очередь опубликовал: «если виновные не будут выданы, то на каждые 10 человек по одному будут расстреляны, нисколько не разбираясь, виновен или нет».

Таковы приказы, воззвания, объявления о смертной казни...

Цитируя их, один из старых борцов против смертной казни в России, д-р Жбанков писал в «Общественном враче» [8]: «Почти все они дают широкий простор произволу и усмотрению *отдельных лиц и даже разъяренной ничего не разбирающей толпе*», т. е. узаконивается самосуд.

Смертная казнь еще в 1918 г. была восстановлена в пределах, до которых она никогда не доходила и при царском режиме. Таков был первый результат систематизации карательного аппарата «революционной власти». По презрению элементарных человеческих прав и морали центр шел впереди и показывал тем самым пример. 21 февраля в связи с наступлением германских войск особым манифестом «социалистическое отечество было провозглашено в опасности и вместе с тем действительно вводилась смертная казнь в широчайших размерах: «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления» [9].

Не могло быть ничего более возмутительного, чем дело капитана Щастного, рассматривавшееся в Москве в мае 1918 г.

---

[1] Очевидно, первый комиссар юстиции при большевиках с.-р. Штейнберг, выпустивший недавно книгу против террора «Нравственный лик революции» и всемерно обеляющий свою партию в участии в кровавом деле террора, не прав, утверждая, что Ч. К. возникли из «хаотического состояния первых горячих дней октябрьской революции».

[2] Из книги Троцкого Дзержинский заимствовал и аргументы о «народном гневе»: «В обстановке классового рабства, — писал Троцкий, — трудно обучить народные массы хорошим манерам. Выведенные из себя, они действуют поленом, камнем, огнем и веревкой».

[3] Каутский. «Терроризм и коммунизм», стр. 139.

[4] В № 1 «Газеты Временного рабочего и крестьянского правительства» от 28 октября было опубликовано: «Всероссийский съезд советов постановил: восстановленная Керенским смертная казнь на фронте отменяется».

[5] «Изв.», № 30.

[6] «Изв.», № 27.

[7] Ср. ниже с речью большевистского главкома Муравьева в Одессе.

[8] 1918 г., № 9—10.

[9] Штейнберг в своей книге «Нравственный лик революции» замечает: «Мы единогласно с негодованием в своих ответственных кругах заклеймили это вновь вытащенное на чистую (!?) арену заржавленное орудие варварства. Мы энергично протестовали в центре власти... мы единодушно отвергали там все проекты жалостливых большевиков (как Луначарский), пытавшихся установить «надзор» за смертью... Мы не шли ни на какие сделки в этом вопросе». Но «когда большинством голосов наши предложения были отвергнуты, мы больше ничего не делали», с опозданием каялся бывший комиссар юстиции. «Мы не заметили, что этими вначале узкими воротами к нам вернулся со своими чувствами и орудиями тот же самый старый мир». «Волею революционной власти создавался слой революционных убийц, которым суждено было вскоре стать убийцами революции». Это произошло раньше, когда левые с.-р. принимали участие в организации Ч. К. И запоздалыми были позднейшие смягчения, которые бывший большевист-

в так называемом Верховном Революционном Трибунале. Капитан Щастный спас остаток русского флота в Балтийском море от сдачи немецкой эскадре и привел его в Кронштадт. Он был обвинен тем не менее в измене. Обвинение было сформулировано так: «Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти». Главным, но и единственным свидетелем против Щастного выступил Троцкий. 22 мая Щастный был расстрелян «за спасение Балтийского флота». Этим приговором устанавливалась смертная казнь уже и по суду. Эта «кровавая комедия хладнокровного человекоубийства» вызвала яркий протест со стороны лидера социал-демократов-меньшевиков Мартова, обращенный к рабочему классу. На него не получалось, однако, тогда широких откликов, ибо вся политическая позиция Мартова и его единомышленников в то время сводилась к призыву работать с большевиками для противодействия грядущей контрреволюции [10].

Смертную казнь по суду или в административном порядке, как то практиковала Чрезвычайная Комиссия на территории советской России и до сентября 1918 года, т. е. до момента как бы официального объявления «красного террора», далеко нельзя считать проявлением единичных фактов. Это были даже не десятки, а сотни случаев. Мы имеем в виду только смерть по тому или иному приговору. Мы не говорим сейчас вовсе о тех расстрелах, которые сопровождали усмирения всякого рода волнений, которых было так много в 1918 г., о расстрелах демонстраций и пр., т. е. об эксцессах власти, о расправах после октября (еще в 1917 г.) с финляндскими и севастопольскими офицерами. Мы не говорим о тех тысячах, расстрелянных на территории гражданской войны, где в полной степени воспроизводились в жизни приведенные выше постановления, объявления и приказы о смертной казни.

ский комиссар юстиции пытался вводить в практику Ч. К. Представители левых с.-р. на шли ни на какие сделки, а в лице помощника Дзержинского, л. с.-р. Закса, говорили о расстрелах!

Не левые ли с.-р. в день обсуждения вопроса о терроре в Петроградском Совете 8 сентября высказались за «необходимость классового, организованного террора»? Не левые ли с.-р. в «Воле труда» 10 октября заявляли, что «в отношении контрреволюции Ч. К. вполне оправдала свое назначение, доказала свою пригодность»? Эта партия «октябрьской революции» стояла тогда «на платформе советской власти». И с полным правом председатель суда во время процесса левых с.-р. в июне 1922 г. заявил: левые с.-р. «берут на себя ответственность за октябрьскую революцию и создание Ч. К.».

[10] См. в кн. статью «Почему?». Штейнберг вновь вольно или невольно делает хронологическую ошибку, относя предоставление трибуналам официального права вынесения смертных приговоров ко времени «учредиловского движения правых с.-р.», восстания, организованного Савинковым в Ярославле. По словам бывшего комиссара юстиции, эти контрреволюционные выступления «утвердили власть в необходимости этих приемов принуждения».

Позднее, в 1919 г., историограф деятельности чрезвычайных комиссий Лацис в ряде статей (напечатанных ранее в киевских и московских «Известиях», а затем вышедших отдельной книгой «Два года борьбы на внутреннем фронте») подвел итоги официальных сведений о расстрелах и без стеснения писал, что в пределах тогдашней советской России (т. е. 20 центральных губерний) за первую половину 1918 г., т. е. за первое полугодие существования чрезвычайной комиссии, было расстреляно всего 22 человека. «Это длилось бы и дальше,— заявлял Лацис,— если бы не широкая волна заговоров и самый необузданный белый террор (?!) со стороны контрреволюционной буржуазии» [11].

Так можно было писать только при полной общественной безгласности. 22 смертные казни! Я также пробовал в свое время производить подсчет расстрелянных большевистской властью в 1918 году, причем мог пользоваться преимущественно теми данными, которые были опубликованы в советских газетах. Отмечая, что появлялось в органах, издававшихся в центре, и мог пользоваться только сравнительно случайными сведениями из провинциальных газет и редкими проверенными сведениями из других источников. Я уже указывал в своей статье «Голова Медузы», напечатанной в нескольких социалистических органах Западной Европы, что и на основании таких случайных данных в моей картотеке появилось не 22, а 884 карточки! [12] «Здесь среди нас много свидетелей и участников тех событий и тех годов, которых касается казенный историограф чрезвычайки»,— писал берлинский «Голос России» (22 февраля 1922 г.) по поводу заявления Лациса: «Мы, быть может, так же хорошо, как Лацис, помним, что официальная Вечека была создана постановлением 7 декабря 1917 г. Но еще лучше мы помним, что «чрезвычайная» деятельность большевиков началась раньше. Не большевиками ли был сброшен в Неву после взятия Зимнего дворца помощник военного министра кн. Туманов? Не главнокомандующий ли большевистским фронтом Муравьев отдал на другой день после взятия Гатчины официальный приказ расправляться «на месте самосудом» с офицерами, оказавшими противодействие? Не большевики ли несут ответственность за убийство Духонина, Шингарева и Кокошкина? Не по личному ли разрешению Ленина были расстреляны студенты братья Ганглез в Петрограде за то лишь, что на плечах у них оказались нашитыми погоны? И разве до Вечека не был большевиками создан Военно-революционный комитет, который в чрезвычайном порядке истреблял врагов большевистской власти?

Кто поверит Лацису, что «все они были в своем большинстве из уголовного мира», кто поверит, что их было только «двадцать два человека»?..

Официальная статистика Лациса не считалась даже с опубликованными ранее

[11] Киевск. «Известия», 17 мая 1919 г.
[12] «Justice». Juin 28, 1923; «La France libre» 13 июля; «Дни» и др.

сведениями в органе самой Всер. Чрез. Комиссии; напр., в «Еженедельнике Ч. К.» объявлялось, что Уральской областной Че-Ка за первое полугодие 1918 г. расстреляно 35 человек. Что же, значит, больше расстрелов не производилось в то время? Как совместить с такой советской гуманностью интервью руководителей ВЧК Дзержинского и Закса (лев. с.-р.), данное сотруднику горьковской «Новой Жизни» 8 июня 1918 г., где заявлялось: по отношению к врагам «мы не знаем пощады», и дальше говорилось о расстрелах, которые происходят якобы по единогласному постановлению всех членов комитета Чрезвычайной Комиссии. В августе в «Известиях» (28-го) появились официальные сведения о расстрелах в шести губернских городах 43 человек. В докладе члена петроградской Ч. К. Бокия, заместителя Урицкого, на октябрьской конференции чрезвычайных комиссий Северной Коммуны общее число расстрелянных в Петербурге с момента переезда Всер. Чрез. Комиссии в Москву, т. е. после 12 марта, исчислялось в 800 человек, причем цифра заложников в сентябре определялась в 500, т. е., другими словами, за указанные месяцы по исчислению официальных представителей петроградских Ч. К. было расстреляно 300 человек [13]. Почему же после этого не верить записи Маргулиеса в дневнике: «Секретарь датского посольства Петерс рассказывал... как ему хвастался Урицкий, что подписал в один день 23 смертных приговора» [14]. А ведь Урицкий был одним из тех, которые будто бы стремились «упорядочить» террор...

Может быть, вторая половина 1918 г. отличается лишь тем, что с этого времени открыто шла уже кровавая пропаганда террора [15]. После покушения на Ленина urbi et orbi объявляется наступление времени «красного террора», о котором Луначарский в Совете рабочих депутатов в Москве 2 декабря 1917 г. говорил: «Мы не хотим пока террора, мы против смертной казни и эшафота». Против эшафота, но не против казни в тайниках! Пожалуй, один Радек высказался как бы за публичность расстрела. Так в своей статье «Красный террор» [16] он пишет: «...пять заложников, взятых у буржуазии, расстрелянных на основании публичного приговора пленума местного Совета, расстрелянных в при-

[13] «Еженедельник», № 6.
[14] М. С. Маргулиес. «Год интервенции». II, 77.
[15] В сущности, конечно, проповедь шла открыто и раньше. Кокошкина и Шингарева 6 января 1918 г. непосредственно убила не власть, но она объявила партию к.-д. «вне закона». «Стреляли матросы и красноармейцы, но поистине ружья заряжали партийные политики и журналисты», как замечает в своей книге Штейнберг. Он же приводит характерный факт, свидетельствующий о том, что ростовский исполком в марте 1918 г. обсуждал вопрос о поголовном расстреле лидеров местных меньшевиков и правых с.-р. Для решения не набралось только большинства голосов («Нравственный лик революции», стр. 42).
[16] «Изв.», 1918, № 192.

сутствии тысячи рабочих, одобряющих этот акт — более сильный акт массового террора, нежели расстрел пятисот человек по решению Ч. К. без участия рабочих масс». Штейнберг, вспоминающий «великодушие», которое царило в трибуналах «первой эпохи октябрьской революции», должен признать, что «нет сомнений» в том, что «период от марта до конца августа 1918 года был период фактического, хотя и не официального террора».

Террор превращается в разнузданную кровавую бойню, которая на первых порах возбуждает возмущение даже в коммунистических рядах. С первым протестом еще по делу капитана Щастного выступил небезызвестный матрос Дыбенко, поместивший в газете «Анархия» следующее достаточно характерное письмо от 30 июля: «Неужели нет ни одного честного большевика, который публично заявил протест против восстановления смертной казни? Жалкие трусы! Они боятся открыто подать свой голос — голос протеста. Но если есть хоть один еще честный социалист, он обязан заявить протест перед мировым пролетариатом... мы не повинны в этом позорном акте восстановления смертной казни и в знак протеста выходим из рядов правительственных партий. Пусть правительственные коммунисты после нашего заявления-протеста ведут нас, тех, кто боролся и борется против смертной казни, на эшафот, пусть будут и нашими гильотинщиками и палачами». Справедливость требует сказать, что Дыбенко вскоре же отказался от этих «сентиментальностей», по выражению Луначарского, а через три года принимал самое деятельное участие в расстрелах в 1921 г. матросов при подавлении восстания в Кронштадте: «Миндальничать с этими мерзавцами не приходится» [17] и в первый же день было расстреляно 300. Раздались позже и другие голоса. Они также умолкли. А творцы террора начали давать теоретическое обоснование тому, что не поддается моральному оправданию...

Известный большевик Рязанов, единственный, выступивший против введения института смертной казни формально в новый уголовный кодекс, разработанный советской юриспруденцией в 1922 г., в ленинские дни приезжал в Бутырскую тюрьму и рассказывал социалистам, что «вожди» пролетариата с трудом удерживают рабочих, рвущихся к тюрьме после покушения на Ленина, чтобы отомстить и расправиться с «социалистами-предателями». Я слышал то же при допросе в сентябре от самого Дзержинского и от многих других. Любители и знатоки внешних инсценировок пытались создать такое впечатление, печатая заявления разных групп с требованием террора. Но эта обычная инсценировка никого обмануть не может, ибо это только своего рода агитационные приемы, та демагогия, на которой возросла и долго держалась большевистская власть. По дирижерской палочке принимаются эти фальсифицированные, но запоздалые, однако, постановления — запоздалые потому, что «красный террор» объявлен, все лозунги

[17] «Рев. Россия», № 16.

даны на митингах[18], в газетах, плакатах и резолюциях и их остается лишь повторить на местах. Слишком уже общи и привычны лозунги, под которыми происходит расправа: «Смерть капиталистам», «смерть буржуазии». На похоронах Урицкого уже более конкретные лозунги, более соответствующие моменту: «За каждого вождя тысячи ваших голов», «пуля в грудь всякому, кто враг рабочего класса», «смерть наемникам англо-французского капитала». Действительно кровью отзывается каждый лист тогдашней большевистской газеты. Напр., по поводу убийства Урицкого петербургская «Красная газета» пишет 31 августа: «За смерть нашего борца должны поплатиться тысячи врагов. Довольно миндальничать... Зададим кровавый урок буржуазии... К террору живых... смерть буржуазии — пусть станет лозунгом дня». Та же «Красная газета» писала по поводу покушения на Ленина 1 сентября. «Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови — больше крови, столько, сколько возможно»[19]. «Пролетариат ответит на поранение Ленина так,— писали «Известия»,— что вся буржуазия содрогнется от ужаса». Не кто иной, как сам Радек, пожалуй, лучший советский публицист, утверждал в «Известиях» в специальной статье, посвященной красному террору (№ 190), что красный террор, вызванный белым террором, стоит на очереди дня: «Уничтожение отдельных лиц из буржуазии, поскольку они не принимают непосредственного участия в белогвардейском движении, имеет только средства устрашения в момент непосредственной схватки, в ответ на покушение. Понятно, за всякого советского работника, за всякого вождя рабочей революции, который падет от руки агента контрреволюции последняя расплатится десятками голов», Если мы вспомним крылатую фразу Ленина: пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили до мировой революции,— то поймем в каких формах рисовало воображение коммунистов эту «красную месть»: «гимн рабочего класса отныне будет гимн ненависти и мести»,— писала «Правда».

«Рабочий класс советской России поднялся, — гласит воззвание губернского военного комиссара в Москве 3 сентября,— и грозно заявляет, что за каждую каплю пролетарской крови... да прольется поток крови тех, кто идет против революции, против советов и пролетарских вождей. За каждую пролетарскую жизнь будут уничтожены сотни буржуазных сынков белогвардейцев.. С нынешнего дня рабочий класс (т. е. губернский военный комиссар г. Москвы) объявляет на страх врагам, что на *единичный* белогвардейский террор он ответит массовым, беспощадным, пролетарским террором». Впереди всех идет сам Всероссийский Центральный Комитет, принявший в заседании 2 сентября резолюцию: «Ц. И. К. дает торжественное предостережение всем холопам российской и союзной буржуазии, предупреждая их, что за каждое покушение на деятелей советской власти и носителей идей социалистической революции будут отвечать все контрреволюционеры и все вдохновители их». На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие (?) и крестьяне (?) ответят: «массовым красным террором против буржуазии и ее агентов».

В полном соответствии с постановлением этого высшего законодательного органа 5 сентября издается постановление Совета народных комиссаров в виде специального одобрения деятельности Ч. К., по которому «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». Народным комиссаром внутренних дел Петровским одновременно разослан всем советам телеграфный приказ, которому суждено сделаться историческим и по своей терминологии, и по своей санкции всякого возможного произвола. Он помещен был в № 1 «Еженедельника» под заголовком: «Приказ о заложниках» и гласил:

«Убийство Володарского, убийство Урицкого, покушение на убийство и ранение председателя Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ленина, массовые, десятками тысяч расстрелы наших товарищей в Финляндии, на Украине и, наконец, на Дону и в Чехо-Словакии, постоянно открываемые заговоры в тылу наших армий, открытое признание (?) правых эсеров и прочей контрреволюционной сволочи в этих заговорах, и в то же время чрезвычайно ничтожное количество серьезных репрессий и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии со стороны советов, показывает, что, несмотря на постоянные слова о массовом терроре против эсеров, белогвардейцев и буржуазии, этого террора на деле нет.

С таким положением должно быть решительно покончено. Расхлябанности и *миндальничанию*[20] должен быть немедленно положен конец. Все известные местным советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен приниматься (?) безоговорочно массовый расстрел. Местные губисполкомы должны проявлять в этом особую инициативу.

Отделы управления через милицию и чрезвычайные комиссии должны принять все меры к выяснению и аресту всех скрывающихся под чужими именами и фамилиями лиц, с безусловным расстрелом всех замешанных в белогвардейской работе.

Все означенные меры должны быть проведены немедленно.

[18] В Москве, напр., во всех районах устраиваются митинги о красном терроре, на которых выступают Каменев, Бухарин, Свердлов, Луначарский, Крыленко и др.

[19] Не имея под руками подлинника, беру *эту* цитату в переводе.

[20] Обратим внимание на то, что етот термин впервые употреблен в официальном документе, вышедшем из центра.

О всяких нерешительных в этом направлении действиях тех или иных органов местных советов Завотуправ обязан немедленно донести народному комиссариату внутренних дел. Тыл наших армий должен быть наконец окончательно очищен от всякой белогвардейщины и всех подлых заговорщиков против власти рабочего класса и беднейшего крестьянства. Ни малейших колебаний, ни малейшей нерешительности в применении массового террора.

Получение означенной телеграммы подтвердите передать уездным советам».

А центральный орган В. Ч. К. «Еженедельник», долженствовавший быть руководителем и проводником идей и методов борьбы Чрезвычайной Комиссии, в том же номере писал «К вопросу о смертной казни»: «Отбросим все длинные, бесплодные и праздные речи о красном терроре... Пора, пока не поздно, не на словах, а на деле провести самый беспощадный, строго организованный массовый террор...»

После знаменитого приказа Петровского едва ли даже стоит говорить на тему о «рабочем классе», выступающем мстителем за своих вождей, и о гуманности целей, которые якобы ставили себе Дзержинский и другие при организации так называемых Чрезвычайных Комиссий. Только полная безответственность большевистских публицистов позволяла, напр., Радеку утверждать в «Известиях» 6 сентября, что «если бы не уверенность рабочих масс в том, что рабочая власть сумеет ответить на этот удар, то мы имели бы налицо массовый погром буржуазии». Какое в действительности может иметь значение заявление некких коммунистов Витебской губ., требовавших 1000 жертв за каждого советского работника? или требование коммунистической ячейки какого-то автопоезда — за каждого павшего расстрелять 100 заложников, за каждого красного 1000 белых, или заявление Комячейки Западной области Чрезвычайной Комиссии, требовавшей 13 сентября «стереть с лица земли гнусных убийц», или резолюция красноармейской части охраны Острогородской Ч. К. (23 сентября): «За каждого нашего коммуниста будем уничтожать по сотням, а за покушение на вождей тысячи и десятки (?!) тысяч этих паразитов». Мы видим, как по мере удаления от центра, кровожадность Ч. К. увеличивается — начали с сотен, дошли до десятков тысяч. Повторяются лишь слова где-то сказанные; но и эти повторения, насколько они официально опубликовывались, идут в сущности от самих чекистов. И через год та же аргументация на том же разнузданном и бесшабашном жаргоне повторяется на другой территории России, захваченной большевиками,— в царстве Лациса, стоящего во главе Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии. В Киеве печатается «Красный меч» — это орган В. У. Ч. К., преследующий те же цели, что и «Еженедельник В. Ч. К.». В № 1 мы читаем статью редактора Льва Крайнего: «У буржуазной змеи должно быть с корнем вырвано жало, а если нужно, и разодрана жадная пасть, вспорота жирная утроба. У саботирующей, лгущей, предательски прикидывающейся сочувствующей (?!) внеклассовой интеллигентской спекулянтщины и спекулянтской интеллигенции должна быть сорвана маска. Для нас нет и не может быть старых устоев морали и гуманности, выдуманных буржуазией для угнетения и эксплуатации низших классов». «Объявленный красный террор,— вторит ему тут же некто Шварц, — нужно проводить по-пролетарски...» «Если для утверждения пролетарской диктатуры во всем мире нам необходимо уничтожить всех слуг царизма и капитала, то мы перед этим не остановимся и с честью выполним задачу, возложенную на нас Революцией».

«Наш террор был вынужден, это террор не Ч. К., а рабочего класса»,— вновь повторял Каменев 31 декабря 1919 г. «Террор был навязан Антантой»,— заявлял Ленин на седьмом съезде советов в том же году. *Нет, это был террор именно Ч. К.* Вся Россия покрылась сетью чрезвычайных комиссий для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Не было города, не было волости, где не появлялись бы отделения всесильной Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, которая отныне становится основным нервом государственного управления и поглощает собой последние остатки права. Сама «Правда», официальный орган центрального комитета коммунистической партии в Москве, должна была заметить 18-го октября: «вся власть советам» сменяется лозунгом: «вся власть чрезвычайкам».

Уездные, губернские, городские (на первых порах волостные, сельские и даже фабричные) чрезвычайные комиссии, железнодорожные, транспортные и пр., фронтовые или «особые отделы» Ч. К. по делам, связанным с армией. Наконец, всякого рода «военно-полевые», «военно-революционные» трибуналы и «чрезвычайные» штабы, «карательные экспедиции» и пр. и пр. Все это объединяется для осуществления красного террора. Нилостонский, автор книги «Der Blutrausch des Bolschewismus» (Берлин), насчитал в одном Киеве 16 свмых разнообразных Чрезвыч. Комиссий, из которых каждая выносила самостоятельные смертные приговоры. В дни массовых расстрелов эти «бойни», фигурировавшие во внутреннем распорядке Ч. К. под простыми №№, распределяли между собой совершение убийств.

Окончание следует

АНАТОЛИЙ САЛУЦКИЙ

НАЧАЛО КОНЦА ИЛИ КОНЕЦ НАЧАЛА?

ЖЕСТОКИЕ ЗАМЕТКИ

ПОДМЕНА

Помнится, под Новый, девяностый год Центральное телевидение уготовило для зрителей замечательный сюрприз: гвоздем праздничной развлекательной программы стала видеозапись очередного конкурса красоты, проводимого в нашей стране. Известно, шумные импортные потехи такого рода сделались в последнее время настолько привычными, что уже и не вызывают общественного недовольства, как было поначалу: воистину притерпелись, народ, озабоченный быстро нарастающими тяготами повседневного бытия, попросту не обращает внимания на эти сытые забавы. Однако же тот предновогодний конкурс красоты все-таки достоин слова особого.

Нет, не в смысле морализаторства, хотя, скажу откровенно, никак не могу я привыкнуть к всесветным публичным состязаниям по части тех даров женской природы, кои испокон роду человеческого предназначались для интимного созерцания. Но эта спорная сторона конкурсного дела в данном случае побочная. Ввиду творимого сейчас в многопечальном Отечестве нашем поважнее, пожалуй, напомнить о коммерческой стороне того предновогоднего конкурса красоты, а именно — о призах, доставшихся победителям.

Призы эти были архипримечательны. Не вазы хрустальные, какими лет десять назад щедро одаряли чемпионов мира по фигурному катанию за показательные выступления. Не какие-нибудь там магнитофоны или гжельские рученцы. Сообразно камнем падающему уровню жизни простого народа, баснословно, душеразвратно подскочила стоимость наград для восемнадцатилетних девчонок, в купальниках прорвавшихся на публичный помост: автомобиль «Москвич», бесплатная месячная поездка по Америке, норковое манто...

Не развлекательной, а остро политической оказалась та предновогодняя программа — экранное действо, которое не было кинофильмом, где ради художественных эффектов позволительно сгущать жизненные обстоятельства. Увы, увы и увы: таковы сегодняшние реальности, нынешние денечки. Одним отпущено пиршествовать колбасою, какой и кошки брезгуют, другим — призовой автомобиль. И это необузданное, сумасшедшее, безнравственное в дни национального кризиса роскошество, выставленное напоказ страждущему народу, стало символом наглой, сытой вседозволенности новых хозяев жизни, а также мерой распада общества — вот первые итоги «дифференциации доходов», о которой три года назад дружным хором запели барды предпринимательства из числа как раз тех именитых экономистов и социологов, что в свое время сделали карьеры на обосновании и воспевании развитого социализма.

Идеологи этой «дифференциации» — и среди ученых, и среди политиков, в том числе крупных, весьма крупных и самых крупных, — узаконившие деление общества на бедных и богатых, на неимущих и пресыщенных, утверждают, будто борются с так называемой уравниловкой и что недовольных новоявленным нэпом, этих обленившихся и неспособных, а попросту второсортных, снедает зависть к предприимчивым, оборотистым, умеющим зашибить деньгу. Из статьи в интервью, из речи в доклад повторяется этот очень обидный для рядового человека навет, доктринерски выношенный где-то в высоких кабинетах, не учитывающий реальных условий жизни, а также различий в стартовых возможностях безденежного и уже накопившего.

Впрочем, изобретатели «дифференциации», этой, по их мнению, очередной социальной благодати,— люди как на подбор, умудренные длительными службами на прежних, застойных и вовсе не рядовых постах,— твердя на сей раз зады Европы, не берут в расчет и многое другое. В упоении подражательством и заимствованием, в азарте преобразований и уже некогда бывших в употреблении нововведений обнаруживают они заметную и огорчительную склонность к внеисторическому мышлению, обуявшую, как это ни прискорбно, даже иных докторов исторических наук. Вместо широкого взгляда на мир и установления причинных связей былого с грядущим видим мы роковое увлечение политической сиюминутностью, когда уроки прошлого не впрок, а будущее авантюрно прогнозируется на авось.

Если взять пока только экономический аспект (а к геополитическому и политическому подойдем мы позднее), если припомнить историю молодого, раннего капитализма да и нынешний день развитых буржуазных стран обозреть, то нетрудно заметить: предпринимательство, быстро возносящее иных в миллионеры, хотя и ведет к социальному расслоению, но тем все же благодетельно, что способствует возрастанию общественного богатства, мощи страны. Сегодня в современной Англии политика консерваторов, поощряющая крупный бизнес, резко усугубила дифференциацию между севером и югом. Север заметно нищает, там все труднее найти работу, и десятки тысяч людей вынуждены мигрировать в район Лондона, где проводят всю неделю, возвращаясь к семьям лишь на выходные дни. Однако в целом, несмотря на растущее расслоение между регионами, а соответственно и нарастающее недовольство, стратегия Тэтчер обеспечила Англии экономический рост, даже своего рода «миди-бум» (бум средней руки), от которого страна в ином выигрыше.

Совсем иначе в нашем Отечестве. Младое, перестроечное «предпринимательство» не только не прибавило стране радостей, а наоборот, именно в последние три года что-то сильно надломилось в хозяйственном механизме, и великая держава пошатнулась. Как бы ни витийствовали иные лукавцы — шмелевы и повыше! — оправдывая явный неуспех затеянного ими дела неполнотой, неабсолютностью экономических свобод для «тех, кто хочет и может», уговоры их сродни соблазнам Мефистофеля. Миллионщики-то уже народились, и в избытке! Правда, Абалкин отважился на весь белый свет заявить, будто нет у нас миллионеров — и статистика сберкассовая тому, мол, порукой! — однако даже Т. Карягина, состоящая в абалкинском экономическом совете, усмехнулась по этому поводу, заявив, что их 30 тысяч. А профессор А. Сергеев говорит о наличии 100 тысяч сверхбогачей. Да ведь и хроника уголовная каждодневно свидетельствует о миллионных конфискациях, как, впрочем, и бешеные обороты теневого автобизнеса, где иномарки идут по цене 200 тысяч за штуку.

Помню, когда полтора года назад профессор Сергеев поставил вопрос о денежной реформе по декларациям о доходах,— какой дружный вопль отрицания исторгси из уст его знатных оппонентов. Собчак, Шмелев, многие другие пламенные энтузиасты предпринимательства с высоких трибун, по телевидению, в бесчисленных газетно-журнальных интервью бросились рассуждать о бессмысленности такой реформы, вбивая в сознание простого народа, что теневые деньги, мол, давным-давно вложены в злато-серебро, бумажек на руках крохи остались. Штурм был мощный, правительство внесло свою лепту в эту отбойную кампанию: Н. И. Рыжков публично говорил о нецелесообразности так называемой «регрессивной» реформы, пугая народ угрюмым, непонятным словом, однако ни разу не упомянув о декларациях, а наоборот, угрожая честным людям потерей сбережений.

Однако же другое примечательно. Когда пришла пора вводить рыночные отношения, а для этого прежде всего стабилизировать рубль, первейшей заботой 500-дневников стала задача распродать государственное имущество и землю с таким расчетом, чтобы оттянуть избыточные миллиарды. Чьи, интересно? Кто выложит сотни тысяч на покупку средств производства? Неужто рядовые люди, ценою повседневных жертв и лишений отложившие на черный день по пять-десять тысяч? Конечно же, нет, не они! И, забыв свои громкие заявления о том, что теневые деньги давным-давно вложены в злато-серебро, похоронив денежную реформу по декларациям о доходах, адвокаты предпринимательства перво-наперво озаботились тем, как создать условия для надежного помещения больших капиталов. Выходит, год назад нас попросту объегоривали, твердя об отсутствии у теневиков крупных наличных сумм?

Задуматься страшно над тем, что происходит. Было предложение путем реформы по декларациям изъять десятки миллиардов теневых денег, что обуздало бы инфляцию и стабилизировало рубль. Вместо этого решено «горячие деньги» (выражение Шмелева) отсосать, а иначе говоря, отоварить. Причем устроители этой грандиозной распродажи государственного имущества теперь вовсе и не скрывают, что озабочены отовариванием не народных сбережений — это предполагало бы широкую продажу телевизоров, холодильников и других товаров массового спроса,— а хотят облагодетельствовать тех, кто способен разом выложить сотни тысяч и миллионы рублей. Это ли не красноречивое признание того, что год назад нас обманывали?

В чьих интересах ведется такая финансовая и социально-экономическая политика, и кто ее проводит? [1]

Между прочим, сумма в 200 миллиардов рублей, названная академиком С. Шаталиным, сумма, которую надо, по его мнению, изъять у населения для

---

[1] Очерк был написан до обмена крупных купюр, который, по сути дела, стал вариантом реформы по декларациям. Этот обмен в штыки, истерично приняли так называемые «демократы», но когда улеглись страсти, выяснилось, что ни один честный человек при обмене купюр не пострадал. В результате обмена были аннулированы без возмещения около десяти миллиардов рублей наличными купюрами. Если учесть пятикратный годовой оборот денег, установившийся в нашей стране, это равнозначно изъятию 50 «теневых» миллиардов. Иными словами, операция обмена крупных купюр, во-первых, позволила изъять у теневиков средства, почти равные годовому бюджетному дефициту. А во-вторых, показала некомпетентность или лукавство тех политиков и экономистов, которые утверждали, будто все мафиозные деньги давно вложены в злато-серебро.

стабилизации финансов, отоварив ее не товарными фондами, а госимуществом, весьма красноречива. По сути дела, это официальное признание наличного капитала теневой экономики, ибо, повторяю, люди с фиксированными доходами, люди малого и среднего достатка не потянут на покупку фабрик и заводов, магазинов и ателье, даже в складчину. Если же предполагается, что часть этой грандиозной суммы (почти половина годового национального дохода!) будет выручена с помощью распространения акций, то авторы «500 дней», похоже, намерены крупно «подсадить», одурачить миллионы своих сограждан.

Дело в том, что нигде в мире нормальный человек не станет покупать акции предприятий, находящихся под угрозой банкротства. Все гоняются за ценными бумагами преуспевающих компаний, дающих хорошие девиденды. Собственно говоря, на этом и основаны биржевые игры — вовремя сбыть с рук акции тех, кто на грани краха, а приобрести акции надежных предприятий. Но хорошо известно, в каком плачевном состоянии находится большинство наших заводов,— договорные связи порваны, снабжение нарушено, производство вот-вот остановится, оборудование устарело. Рабочие тут хоть из кожи вылези, а ничего сделать не могут,— мешают внешние обстоятельства, как говорится, общая конъюнктура. И что же, акции таких заводов предлагают покупать рабочим и служащим?! Да ведь это выброшенные на ветер деньги, это гигантский безнравственный обман своих малосведущих сограждан!

В связи с финансовым кризисом, в который как-то очень уж быстро угодила страна, хотя еще в 89-м году в верховных речах нас постоянно призывали не паниковать, возникает и ряд других, на первый взгляд частных, однако немаловажных для уяснения ситуации вопросов. Помнится, когда вводили закон об индивидуально-трудовой деятельности, твердо было постановлено, что при покупках стоимостью свыше десяти тысяч рублей надобно заполнить декларацию о происхождении таких крупных денег. Но разве соблюдается этот важный законодательный параграф? Насколько известно, только в одном-единственном случае от покупателей требуют заполнения деклараций — на таможенных аукционах. Ну, да там, как говорится, мундир обязывает неукоснительно блюсти порядок. Зато комментатор Центрального телевидения с придыханием повествует, как на автомобильном аукционе на ВДНХ некий гражданин — вот он, не прячется, гордо подставляет свою физиономию телеоператору! — купил «Волгу» за 107 тысяч рублей. И ни слова о декларации! Более того, почтительно вопрошает комментатор, не дороговато ли обошлась покупочка, на что победитель аукциона небрежно цедит:

— Да не-ет, что называется, не последние...

Где пребывает в этой связи наш славный законник Анатолий Александрович Собчак? Почему с привычной для него принципиальностью не поставит в Верховном Совете вопрос о святом соблюдении законов? Почему, наконец, объявив о своем стремлении бороться с мафией, не требует контроля крупных доходов? Нет, вовсе не о разглашении тайны сберегательных вкладов идет тут речь, но о том, чтобы воспрепятствовать теневикам наипростейшим путем отмывать, отбеливать грязные деньги, наконец, безопасно хранить их у государства. В Америке можно перечислить с одного счета на другой любую многомиллионную сумму, и это ни у кого не вызовет ни малейшего беспокойства. Но если кто-нибудь принесет в банк хотя бы три тысячи долларов наличными, это сразу заставит насторожиться и сообщить о происшествии в полицию: откуда такая сумма наличными? уж не отмывают ли доходы от наркобизнеса?

А у нас опять-таки по телевидению преспокойненько рассказывают, что у преступника, схваченного при вывозе контрабанды, лежит на сберкнижке... 290 тысяч рублей. И никто до поимки не интересовался, откуда же такие грандиозные деньги у неработающего гражданина?

Но, увы, подобного рода проблемы, похоже, не заботят нынешних законодателей и правительство. Обоюдный интерес их обращен совсем в иную сторону, и сегодня они, например, пекутся о том, как повысить процент на вклады в сберегательных кассах, что в целом неплохо, если бы... Если бы одновременно наблюдалось стремление обложить оброком сверхвысокие доходы новоявленных рантье, как делают во всем мире. В той же, скажем, Америке, сумму, набегающую по высокому банковскому проценту, включают в общий доход и облагают прогрессивным налогом. Это значит, владельцы крупных состояний вносят в бюджет значительно больше средств, чем средний американец, о чем упорно умалчивает специалист по заокеанской экономике Николай Шмелев.

У нас же политика теперь совершенно иная, «антиамериканская». Разве человек среднего достатка согласится сегодня, на пороге рынка с его непредсказуемым взлетом цен, на восемь лет заморозить свои сбережения в казначейских билетах? Конечно же безумцев таких не найдется. Но миллионщик с охотою поместит часть своих несчитанных денег в это финансовое предприятие, дающее 10 процентов годовых, чтобы за восемь лет в обход налогов удвоить вложенные средства. Таковы нынешние финансовые варианты. Смысл их в том, чтобы не изъять грязные деньги теневиков, а бережно сохранить их и приумножить законным путем.

Кто же все-таки гнет эту антинародную линию?

Тот поразительный факт, что нувориши быстро, очень быстро сделали большие деньги, не принеся даже малой пользы Отечеству, привлекает внимание особое, ибо здесь-то и коренятся причины многих сегодняшних бед — как социально-экономических, так и политических. Напрасно с газетных полос, высоких трибун и телеэкранов беспрестанно корят простого человека за приобретенную в советские годы, а то и врожденную, зависть к состоятельному соседу. Нет, в народе богатым не завидуют — богатых уважают, и это нормальное,

почтительное отношение к тем, кто сумел выделиться среди других не поблажкам благодаря, а своим способностями. Тьма достойных примеров этому в русской истории, и незачем без конца упирать на психологию внеиациональных люмпенов, кои были и есть всегда и повсюду, в каждой стране и при любом строе. Но ежели все кругом видят, что богатство сколочено казнокрадством, как устраиваются лихие чиновники, или же узаконенной спекуляцией, как измудрились многие кооператоры, то здесь отсчет идет совсем иной: не по зависти, а по ненависти. Потолкуйте-ка про общечеловеческие ценности в потной очереди все за той же некошачьей колбасой, и сразу сообразите, насколько же и сегодня справедлив антиревизионистский гнев бывшего члена Политбюро А. Н. Яковлева, который в застойные годы горячо отстаивал концепцию безусловного приоритета классового подхода над общечеловеческим[2].

Что же все-таки произошло? Почему миллионщиков в избытке, нищих на вокзалах, на папертях и в подземных пешеходных переходах с каждым днем прибавляется, а сила великой державы убывает? Может быть, те, на кого сделали главную ставку архитекторы экономической перестройки, вовсе и не предприниматели, а просто грызуны средь человеков, на новый лад дорвавшиеся поживиться в народных закромах? Лионозов Степан Мартынович, от чьей фамилии зовется ныне один из московских районов, в свои годы основал на Каспии такую совместную с Ираном компанию, которая икорку паюсную к нам домой, а не за рубеж поставляла,— вот что такое русский предприниматель, чья деловая голова так была устроена, чтобы не грабить Россию, а обогатить ее, умножая силу государства,— я уже как-то писал об этом. Не

[2] В журнале «Коммунист» № 10 за 1971 год А. Н. Яковлев писал: «Сегодня приходится часто встречаться с активными попытками ревизионистов объявить марксистский классовый подход и социальным явлениям односторонним, «дополнить» или заменить его абстрактным, «общечеловеческим». Хорошо известно, что, например, означают «модели социализма с человеческим лицом», вошедшие в политическую моду в кругах, откровенно враждебных социализму. Абстрактная, неклассовая постановка вопросов о социализме, демократии, гуманности, свободе выражает, в сущности, интересы буржуазии. Это верно не только в теоретическом отношении. В равной мере это верно в практическом смысле, ибо все контрреволюционные движения прикрываются обычно лозунгами свободы, безудержными и столь же лицемерными слезами о гуманности и защите личности». Какую же, право, замечательную возможность для анализа политических метаморфоз дают эти высказывания одного из ведущих в прошлом теоретиков КПСС! Впрочем, цитирую вовсе не для того, чтобы уязвить А. Н. Яковлева в выдающейся непоследовательности. Вопрос гораздо глубже. Ведь Яковлев застойных лет обвиняет Яковлева периода перестройки ни больше ни меньше как в... ревизионизме, служении интересам буржуазии и в контрреволюции. Дело настолько серьезно, что требует полной ясности. Яковлев не имеет права отмалчиваться, а обязан публично разъяснить, в каком из двух противоположных случаев он заблуждался и почему. Делать вид, что теоретической статьи в «Коммунисте» за 1971 год не было, уже невозможно.

разбазариванием, но приращением национального богатства были заняты постоянно думы российского предпринимателя.

А нынешние — кто ж?

Сдается мне, и политические деятели и ученые-экономисты давненько не перечитывали знаменитый роман Теодора Драйзера «Финансист»: середина прошлого века, бурный период американского накопления, дикие биржевые нравы, мафиозное сращение политической и финансовой элиты. Ибо многое из того, что усердно втолковывают нам сейчас рыцари абсолютных экономических свобод, можно куда более вразумительно усвоить из американского романа, причем на ярких и конкретных примерах,— начиная с первой спекуляции юного Фрэнка Каупервуда на ящиках кастильского мыла. А что касается философии, которую навязывают нашему обществу адвокаты тех, кто «хочет и может», то выразить ее лучше, чем сделал это Теодор Драйзер в притче о каракатице и омаре, просто невозможно.

Притча эта достойна того, чтобы о ней напомнить.

Несколько дней юный Каупервуд наблюдал, как в аквариуме рыбного магазина омар постепенно пожирал каракатицу. Когда дело было сделано, «на секунду в нем шевельнулась жалость к убитой каракатице. Затем он перевел взгляд на победителя. «Так оно и должно было случиться,— мысленно произнес он. — Каракатице не хватало изворотливости». Он пытался разобраться в случившемся. «Каракатица не могла убить омара,— у нее для этого не было никакого оружия. Омар мог убить каракатицу,— он прекрасно вооружен. Каракатице нечем было питаться, перед омаром была добыча — каракатица. К чему это должно было привести? Существовал ли другой исход? Нет, она была обречена»,— заключил он уже подходя к дому. Этот случай произвел на Фрэнка неизгладимое впечатление. В общих чертах он дал ответ на загадку, давно мучившую его: как устроена жизнь? Вот так все живое и существует — одно за счет другого».

Эта изначальная притча «Финансиста», предназначенная служить камертоном к трилогии о жизни безнравственного американского спекулянта и биржевика Фрэнка Каупервуда, впитала в себя философию почти столетнего периода развития капитализма, когда в нем безраздельно царили законы джунглей. Лишь после великих потрясений 1929—1933 годов капитализм стал все более цивилизовываться и, я бы сказал, социализироваться, хотя на первый взгляд это звучит парадоксально. В Америке новый послекризисный курс президента Рузвельта по масштабности и глубине перемен несомненно был сродни нашей перестройке, что очень часто отмечают сегодня и на Западе. Этот новый курс быстро стабилизировал экономическую ситуацию в США, вдохнул в капитализм новые силы, поскольку в своих реформах Рузвельт исходил именно из сущности капитализма, заимствуя отдельные новации у идейных противников, однако не потрясая социальных основ общества. В этом коренилась главная причина успеха.

Впрочем, за подобными примерами не обязательно нырять в глубины истории. Турция, в недавнем прошлом «полуразвивающаяся» Турция, которая одновременно с нами принялась за перестройку экономической жизни, всего за 5—6 лет добилась хозяйственного прогресса и сегодня уже предоставляет займы... Советскому Союзу, рвется на наш рынок. Почему Турции удалось, а нам — никак?.. И снова напрашивается тот же вывод: либерализуя экономику, там не сокрушали социальные основы строя, а улучшали капитализм.

Предвижу, сколь торжествующе встрепенутся наши «демократы», прочитав об улучшении капитализма, и каким дружным хором в очередной раз затянут они отходную социализму, который, мол, улучшениям не поддается. Однако парадокс состоит в том, что сам вопрос этот — «социализм или капитализм?» — сегодня, в данный, текущий исторический момент искусственно навязан народу политиками всех мастей и рангов, всех оттенков и не только не существен, а крайне злонамерен, порочен. Он-то и помешал стране, пробудившейся в 1985 году от застоя, пойти вперед, поставил ее на край бездны, голода, хаоса.

Еще в середине 87-го, когда перестройка начала все более уходить из экономики в политику, от конкретных дел — в словопрения, когда Горбачев с подачи Яковлева выдвинул тезис о необходимости совмещения экономических и политических преобразований, я неоднократно и публично вспоминал примеры таких стран, как Тайвань и Южная Корея, которые в короткий срок совершили гигантский экономический скачок, хотя их политические структуры были в тот период окаменевшими, более того, там правили диктаторские режимы Чан Кай Ши и Ли Сын Мана. Плюрализм хозяйственной жизни сочетался с твердым порядком, твердой властью, подавлявшей оппозицию. Никому не позволялось раскачивать утлые в ту пору лодчонки тайваньской и южно-корейской государственности. Да и народы этих стран дорожили политической стабильностью, поскольку она обеспечивала неуклонный подъем уровня жизни. И только в последние 5—8 лет, когда рост благосостояния достиг весьма высоких стандартов, он вошел в противоречие с прежними правилами политической жизни. Начались серьезные трения, потрясения, бурные уличные столкновения, в результате чего Тайвань и Южная Корея вступили в полосу демократических преобразований.

В какой-то мере их опыт учел Китай, который безуспешно попытался совместить экономические и политические реформы, что завершилось трагическими событиями на площади Тяньаньмынь весной 1989 года. Скорбя о тех событиях, — где бы ни лилась кровь человеческая, это не богоугодно! — надо все же до конца разобраться в случившемся. Кто был виновником и подстрекателем? Кто месяцами нагнетал обстановку на главной пекинской площади, апеллируя к Западу? Кто устраивал голодовки, пренебрегая призывами центральной власти к благоразумию? События на площади Тяньаньмынь никак не уподобляемы расстрелу 9 января 1905 года — ни с точки зрения намерений демонстрантов, ни в смысле их социального состава. Не главная социальная сила страны — не китайский крестьянин и не китайский рабочий бузил на пекинской площади...

Неизбежно возникает и такой вопрос: почему западный мир поднял вокруг событий на площади Тяньаньмынь грандиозный шум, тысячекратно превысивший сетования по поводу многочисленных жертв студенческих волнений в Сеуле или трагических ферганских событий? Ответ несложен: политика, политика и еще раз политика. Почему-то и мы, СССР, присоединились к западному хору — вместо того чтобы всерьез задуматься над причинами, побудившими китайские власти решительно остановить дестабилизирующие силы, попутно отправив в отставку того из лидеров, на которого эти силы замыкались.

Почти два года минуло с той поры. Давно развеялся ружейный дым над пекинской площадью, стало очевидным, что центральным властям не пришлось усмирять миллиардный народ, что по сути своей происшедшее в Пекине ничего общего не имело с событиями в Бухаресте, хотя внешне сценарий был схож. И мы, сползая в бездну кризиса, все чаще завистливо киваем на великого китайского соседа, у которого экономика, пусть не без трудностей, не без зигзагов, устойчиво ползет вверх. Правда, Ф. Бурлацкий, признавая это, все же не устает корить китайские власти событиями на площади Тяньаньмынь и сетует на то, что политические реформы в Китае отстают от экономических... Въяве демонстрирует здесь главный редактор «Литгазеты» новый догматизм мышления, который даже не позволяет ему поставить вопрос в иной плоскости: может быть, именно укрепление политической стабильности и позволяет китайскому руководству более гибко проводить экономические реформы? Может быть, вопреки выдвинутому Горбачевым, но теоретически никак не обоснованному тезису об одновременности политических и экономических преобразований, надо было бы развести их по срокам?[8].

[8] Тут кстати заметить, что за шесть лет перестройки мы стали свидетелями того, как сверху, совершенно без теоретического обоснования, один за другим выдвигались различные лозунги, предопределявшие политическое развитие. Вдруг — именно вдруг! — был выдвинут лозунг о приоритете во внутренней политике общечеловеческих ценностей над классовыми, хотя никаких научных доказательств этого не приведено. Вдруг Яковлевым было заявлено, будто средства массовой информации — всего лишь зеркало жизни, и только отражают ее, а не формируют массовое сознание. Сегодня этот тезис выглядит попросту смехотворным, хотя отнюдь не безобидным. Точно так же вдруг возникла идея совместить экономические и политические реформы. Можно привести много других, объективно необъяснимых зигзагов, совершенных по инициативе штурманов перестройки и задержавших наше движение вперед. Кстати, так же внезапно, без серьезных прогнозов и соотнесения теории с жизнью была «спущена» сверху идея о переходе к рынку. Но все эти доктринерские зигзаги — тема особая, о ней речь впереди.

Чтобы сохранить в стране стабильность, двигаясь не скачками, неизбежно предполагающими полный отрыв от реальной почвы, а по принципу шагающего экскаватора, попеременно передвигая опоры, не теряя равновесия? Или же Бурлацкий все отлично понимает, но попросту политиканствует?

Нелишне повторить, что еще три года назад было немало людей, подвергавших сомнению тезис о неизбежности совмещения политических и экономических реформ, ссылавшихся на опыт «восточно-азиатских тигров». Разумеется, к ним не прислушались. Наша свободная левая пресса слаженно поддерживала официальный курс, в лучшем стиле застойных лет заглушая любое инакомыслие. Но вот удивительно: сегодня в кругах специалистов, близких к шаталинскому окружению, привлеченных к разработке шаталинских идей, все настойчивей поговаривают о Южной Корее и Тайване, чьи примеры оказались особо привлекательными для архитекторов рыночной экономики. Речь идет о твердой власти — вплоть до использования армии! — которая гарантировала бы общественный порядок, а заодно и трудолюбие народа на переходном к рынку этапе. Возможно, усмиряла бы толпы бунтующих безработных.

Но завистливо глядя на впечатляющие результаты тайване-сеульского пути, экономисты, возмечтавшие о твердой руке, конечно же, упускают из виду суть дела. А она все та же: в стартовый, пусковой период, когда страна разбухает от обилия экономических новшеств, крайне нежелательно расшатывать государственные, политические и социальные основы, что и было обеспечено во всех странах, быстро добившихся прогресса,— будь то демократические или диктаторские.

Если вернуться мысленно к старту перестройки и задаться простым вопросом «Чего жаждали люди, беспредельно уставшие от застоя?», то ответ будет кратким: все мы жаждали свободы слова и экономических свобод. Свободу слова, слава Богу, получили, и это прекрасно. А экономические свободы? Разве свободны сегодня в своей хозяйственной деятельности колхозы и совхозы, заводы и фабрики? Трижды нет! Произошло странное, непонятное, загадочное — обретение экономической свободы подменили... проблемой собственности. Снова выкинули сверху не обоснованный научно-популистский лозунг, будто бы хозяйственная свобода возможна лишь при частной собственности, приватизации, а уж остальное довершила все та же подручная яковлевская пропаганда.

Но проблема собственности — это проблема замены общественного строя, это политика. Иными словами, телегу поставили впереди лошади, и, вместо того чтобы немедленно дать полную свободу колхозам, занялись насаждением фермерства, которое ни сегодня, ни завтра не сможет накормить страну. Реальная экономика, оставшаяся в тисках несвободы, но уже почти лишенная государственной поддержки, ухнула в пропасть, распались связи, восторжествовал групповой эгоизм, невиданно расцвели теневики. В угоду политике пожертвовали экономикой.

И к чему пришли? К тому, что на шестом году перестройки заговорили о жесткой власти, необходимой для проведения экономических реформ. К тому, что по телевидению президент крупного совместного предприятия, строительного консорциума, Владимир Жуков с болью кричит:

— Дайте нам свободу! Нам даже не нужна частная собственность! Мы прекрасно впишемся в социалистическую систему. Но при одном условии: через экономические рычаги. И тогда полки наших магазинов быстро наполнятся.

Что же получается? Предприниматель, который занят реальным делом и уже построил в Москве несколько объектов, по-прежнему вопиет об экономической свободе, утверждая, что прекрасно впишется в соцсистему, что ему не нужна частная собственность. А политики и новые идеологи, штурманы и лоцманы перестройки упорно тянут именно к фактической и немедленной замене строя, утверждая, что без этого немыслим экономический прогресс.

Результаты такой политики известны — страна погрузилась в глубокий кризис, не убран дар Божий — великий, невиданный урожай-90. Не совершают ли стратеги перестройки роковую ошибку, за которую придется вновь расплачиваться народу?

Я утверждаю, и в мире множество тому примеров: потребительский, товарный рынок — это всего лишь своего рода обслуживающий механизм, для которого безразлично, каковы субъекты хозяйствования,— частники, кооператоры, акционеры, госпредприятия. Суть в том, чтобы все они получили полную свободу, регулируемую только налогами. Тогда они сами вступят между собой в наиболее выгодные отношения — это и есть рынок. Да, для этого нужны вспомогательные службы, инструменты — биржи, банки и прочая и прочая. Но собственность-то тут при чем?!

Почему бы не отнести вопрос «социализм или капитализм?» на более поздние сроки,— когда рыночные отношения установятся между субъектами существующей сейчас социалистической формы собственности? К тому моменту экономика несомненно оздоровилась бы, страна вышла бы из кризиса,— и тогда пожалуйста, пробуйте дальше, приватизируйте.

Но сегодня самый неподходящий момент для того, чтобы устраивать кашу, жуткую гремучую смесь из рынка и проблем собственности, втягивая страну в новую социальную революцию. Сегодня, когда общество до края воспалено и мечется в горячечном жару, когда бушуют межнациональные конфликты и разразились катастрофические дефициты, когда на горизонте уже маячит призрак всеобщего голода, такая политика — это преступление перед народом.

Пришла пора называть вещи своими именами.

Но кому же понадобилась эта роковая подмена — вместо быстрого обретения экономической свободы подсунуть обществу проблемы собственности?

Мне кажется, тут хорошо видна рука

тех коррумпированных аппаратчиков и подпольных цеховиков периода застоя, которые в брежневскую эпоху накопили огромные состояния или обзавелись очень влиятельными международными связями. Вопрос о свободе-несвободе нашей экономики их волнует лишь отчасти. Главная их забота в другом: система социализма слишком тесна для них, они рвутся поскорее легализовать те колоссальные возможности, которыми располагают, закрыв при этом старые счета, напоминающие о нечистом происхождении их капиталов и связей,— будь то миллионы, нажитые цеховиками, или же сомнительные карьеры, сделанные по всем правилам застойных лет. Не случайно, если слегка поскрести забойщиков радикальных перемен по части собственности, под перестроечным гримом сразу же обнаружатся подпольные или официальные угодники брежневской эпохи.

Именно они задумали под видом перестройки вновь все снести до основанья[4]. И за волосы тащат нас вовсе не в современный, отрегулированный, вот уж воистину цивилизованный капитализм, а во времена «омара и каракатицы»! Вспять, в давно минувшую историческую эпоху, куда нет и не может быть возврата, ибо этот противоестественный путь назад неизбежно будет прегражден социальным взрывом.

В известном анекдоте о склерозе некоего бывшего государственного деятеля он за бифштексом расспрашивает официанта: «Скажи-ка, не служил ли ты, браток, у меня ординарцем в годы войны? Уж больно лицо твое мне знакомо». И только потом вспоминает: «А-а, так ведь ты же мне только что борщ подавал!» Вот так и мы, вместе взятые, прекрасно помним, разобрались, что происходило в прежние периоды нашей истории, однако же о том, что совсем недавно случилось,— в самое-самое наипоследнее, перестроечное время,— запамятовали. Этот ранний и не медицинского, а политического свойства коллективный склероз, конечно, станет когда-нибудь объектом глубокого исследования. Но все-таки уже и сейчас небезынтересно восстановить в слабеющей памяти, что именно подавали нам на первое те, кто сегодня угощает народ такими «десертами», как безудержный рост цен, безработица и катастрофические товарные дефициты.

Всего, разумеется, не объять, потянем сперва только за одну ниточку, пускай и не самую главную, однако чувствительную для людей ниточку,— за кооперативную. С чего начинался весь этот шум? Как внедряли эту политико-экономическую новацию, с помощью которой намеревались моментально оздоровить наше хозяйство? Отправная точка была бесспорной и вдохновляющей: кооперация добавит услуг и товаров, составит конкуренцию службе быта и общепиту. Такой же бесспорной

[4] После обнародования программы «500 дней» газета «Вашингтон пост» немедленно сообщила своим читателям о том, что настал конец перестройки, что «в СССР приходит капитализм», назвав этот план «самой крупной в мировой истории распродажей имущества обанкротившегося государства».

была и позиция Министерства финансов, предложившего — по всем мировым стандартам! — ввести вместе с кооперацией и Закон о ее налогообложении. Возможно, ставки налога оказались чрезмерно завышенными, и их следовало привести к тому уровню, какой в конце концов был установлен полтора года спустя. Но в середине восемьдесят восьмого события разворачивались совсем по иному сценарию.

Пользуясь политической и финансовой неопытностью общества, средства массовой информации яростно настроили людей против зловредного Минфина. А при обсуждении соответствующего вопроса на президиуме Совмина СССР ведущие наши ученые-экономисты штурмом, нахраписто кинулись на тогдашнего министра финансов, напрочь торпедируя проект Закона о налогообложении кооперативов,— об этом впоследствии написала «Правда», это же признал на ее страницах академик С. Шаталин. Да и предсовмина Н. Рыжков, когда обнаружились крайне болезненные финансовые последствия безналогового кооперативного бума, когда пришлось ему отбиваться от наседавших ведущих экономистов — все тех же! все тех же! — в сердцах воскликнул: да где же вы были год назад, почему не скорректировали, а полностью отклонили Закон о налогах на кооперацию?

Сейчас, когда закончилась поляризация политических и социальных сил, когда четко определились парламентские, журналистские и прочие лобби, маневры вокруг кооперации понятны всем и каждому. Но в середине восемьдесят восьмого общество, повторяю, все еще пребывало в состоянии глубочайшей наивности, не понимая, какая крупная затевается игра. В ту пору у кооперации в народе не было противников — народ ее принял благожелательно, с надеждой, и шумные протесты против высоких ставок налога легли людям на сердце: как бы и впрямь не задушить новое дело грубой фискальной политикой! Однако громогласными оказались только протесты против высоких ставок и торжествующие реляции по поводу полного потопления проекта, предложенного Минфином. Остальное было сделано втихомолку, вот уж действительно под шумок. Пресса, да и то далеко не вся, лишь мимоходом, почти между строк сообщила, что в период, пока готовится новый проект Закона, налоги на кооперацию и индивидуально-трудовую деятельность будут временно взиматься в размере трех процентов.

Независимо от прибыли!

Никто в ту пору и внимания-то не обратил на это скромное сообщение. Совсем иным было полностью поглощено, а точнее бы сказать, отвлечено общественное внимание: провалена бюрократическая попытка Минфина обложить кооперацию губительным налогом! Первая крупная победа общественности! Силы торможения потерпели фиаско! А что касается трех процентов, о них, повторяю, в народе толком и не узнали. Да и какая, в конце концов, разница? Тем более — временно. Людям неискушенным, а возможно, даже и некоторым крупным политикам, было невдомек, какую страшную финансовую мину подложили под строящееся здание перестройки, под страну в целом.

Бесчисленные проповеди, в том числе и с самых высоких трибун, о наполнении с помощью кооперации магазинных прилавков и расширении сферы услуг оказались словесной шелухой. На деле они стали вольным или невольным прикрытием для той крупнейшей финансово-политической акции, которая началась сразу же после утверждения ничтожного, символического трехпроцентного налога на ИТД и кооперацию. Подпольные миллионеры, скопившие криминальные состояния в годы брежневского застоя, бросились отмывать, отбеливать грязные деньги. Способов для этого было превеликое множество, но по сути своей все они неизменно сводились к примитивной «пирожковой афере», смысл которой состоял в следующем.

Владелец ста подпольных тысяч брал в райисполкоме лицензию на продажу пирожков, продавал выпечки на сто рублей, а в декларации для финансовых органов указывал, будто реализовал товара на сто тысяч рублей,— поди проверь! Уплачивал три тысячи налога — и вот они 97 000 чистых денег! Вот он, стерильный, официальный стартовый капитал, с которым можно легально развернуться в неотлаженной стихии дикого предпринимательства, где омары пожирают каракатиц. Вот оно, заветное первоначальное накопление, которое благодаря счастливому повороту событий легализовалось из наворованного в прежние времена. Вот «законный» капиталец, который можно вложить, например, в кооперативные привокзальные туалеты, получая невиданные двухсотпроцентные доходы. Хотя ни в одной стране мира нет платных общественных туалетов, принадлежащих частным лицам или кооперативам,— доход от уличных сортиров поступает исключительно в муниципальную казну, идет на общегородские нужды. Мы и тут оказались впереди планеты всей.

До товаров ли, до услуг ли при таком лихом ходе дел? Шла бешеная, лихорадочная отмывка теневых денег, уворованных в застойные годы: через невиданный в цивилизованном мире трехпроцентный непрогрессивный налог были практически без потерь различными путями очищены многие миллиарды рублей. Этот же мизерный налог позволил моментально сверхобогатиться на посредничестве при ввозе компьютеров нынешнему парламентарию финансисту А. Тарасову — вот где кроется причина его взлета. Вся эта грандиозная по своим масштабам теневая финансовая операция, не снившаяся изощренному американскому биржевику прошлого века, была виртуозно проведена буквально на глазах у всей страны, даже не заподозрившей неладное. Кто ею дирижировал? Кто столь ловко под видом заботы о кооперации помог брежневским цеховикам легализовать подпольные капиталы? Кто организовал пропагандистское прикрытие в средствах массовой информации?.. Ясно, что одному уму такой глобальный замысел не осилить, тут нужен как минимум мозговой центр, а то и квалифицированная подсказка более искушенных финансистов — отнюдь не драйзеровских времен.

Кстати, «пирожковый бум» вообще весьма показателен. Сегодня-то пирожками частники и кооператоры уже почти нигде и не торгуют, смысла нет: трудов много, а прибыль относительно невелика. Как только отмыт криминальный капитал, его можно пустить в куда более доходные обороты. «Пирожковая афера» в истинном свете представляет намерения наших «предпринимателей»: благодаря временному трехпроцентному налогу быстро хапнув бешеные деньги, они устремились множить их не производственным, а торгово-финансовым путем — посредничая и перепродавая.

Более того, один из ведущих кооперативных лидеров А. Тарасов сегодня с возмущением и публично говорит о том, что (цитирую) «до сих пор в общественном мнении и даже в некоторых официальных выступлениях бытует неверное представление, будто кооперация должна, видите ли, возместить нехватку услуг и товаров». Ничего подобного! — восклицает Тарасов. Кооперация — это по сути своей политический рычаг, с помощью которого можно прочно утвердить крупный частнопредпринимательский сектор нашей экономики, вписав ее в мировую хозяйственную систему, считает высокопоставленный кооператор.

А мы-то, люди наивные, доверившись благодетельным речам лидеров, полагали, что кооперация хотя бы отчасти умерит растущие трудности повседневной жизни, облегчит дефициты. Но оказывается, самим-то кооператорам эти речи нужны были только в качестве прикрытия, для того, чтобы различными путями, в том числе сомнительными, быстро провести первоначальное накопление капитала и взяться за главное — делать деньги. Да, да, вовсе не товары для народа, а только деньги для себя.

И здесь опять возникает вопрос прежнего свойства: с кооперацией ли в действительности имеем мы дело? Может быть, под личиной кооперации, которую возненавидел народ, укрылись финансовые спекулянты типа Фрэнка Каупервуда? А настоящая кооперация периода нэпа, которая и впрямь может утолить товарный голод, принесет облегчение стране, тут вовсе и ни при чем? Она просто чахнет в плотных джунглях теневой экономики.

Нет ли здесь такой же подмены, какая случилась при введении беспрецедентно мягкого трехпроцентного налога, когда в действительности была проведена крупномасштабная акция по отмыву грязных денег? Может быть, мы снова сталкиваемся с чем-то, пока до конца не проясненным, лишь замаскированным под кооперацию? С чем же именно и из какой сферы — экономической? политической?

Недавно на старом Арбате я увидел девушку, продающую небольшие гжельские сахарницы по 300—350 рублей за штуку, хотя их госцена в десять (!) раз ниже. Выходит, спекуляция? Нет,— очень мило ответствовала продавщица,— мы представители кооператива, которому дано право

торговать гжельскими изделиями по договорным ценам. И так теперь во всем — десятки тысяч ловких людишек именно так торгуют лесоматериалами и зеленым горошком, яблоками и куриными яйцами, даже заморскими бананами. Эти люди ничего не производят, но вместо нормальной торговой прибыли сверхобогащаются на легальной спекуляции, щедро переплачивая производителям и таким образом стимулируя их поддерживать дефицит.

Кто все это придумал? И почему закон о кооперации, допустивший такую дикую, нецивилизованную торговую анархию, наши ведущие экономисты — все те же, все те же! — называют самым удачным?

Кто вообще заинтересован сегодня в дефицитах? Как они создаются? По чьей подсказке весной 90-го года пресса и телевидение подняли дикий шум по поводу сальмонеллы, в результате чего потребление яиц резко упало, и птицефабрики вынуждены были забить миллионы кур? Никаких обещанных кликушами эпидемий не случилось — мир давно знаком с этим заболеванием. Зато к осени производство яиц катастрофически снизилось, и дефицит позволил спекулянтам взвинтить цены до 20—30 рублей за десяток.

Умудренный столетиями рынка Запад давно научился избегать подобных встрясок, искусственно создаваемых «заинтересованными лицами». Однако с нами, наивцами, торгово-спекулятивная мафия вытворяет, что ее душе угодно.

Кто обеспечивает для нее законодательное и пропагандистское прикрытие?

В этой связи невозможно не посетовать вновь на свойства чересчур короткой нашей памяти. Перелистайте газеты с официальными речами двухлетней давности, и вы с изумлением обнаружите, что верховные надежды, возлагавшиеся поначалу на кооперацию, почти дословно совпадают с теми обещаниями, какие щедро раздавались народу в преддверии перехода к рынку. Но с кооперацией, вернее, с тем криминально-финансовым монстром, какой на самом деле укрылся за этим понятием, страна потерпела сильнейшее фиаско — это теперь ясно каждому. Почему же не извлечен урок из крупной ошибки перестроечных времен? Почему нет публичного официального анализа происшедшего? И, в соответствии с этим, где гарантии того, что нас вновь не ввергают в очередную, на этот раз последнюю, ведущую к хаосу авантюру? Где гарантии того, что наши «предприниматели» (это слово я постоянно беру в кавычки, ибо и здесь происходит явная подмена), приобретя средства производства, купив или «забесплатно» заполучив мастерские службы быта, не законсервируют их, прекратив услуги? Где гарантии того, что они по старой привычке не примутся спекулятивно реализовывать через свои заводики государственный товар?

Кстати, обращает на себя внимание горячее стремление председателя Моссовета Г. Попова раздать мастерские службы быта бесплатно. На первый взгляд оно выглядит благородно, однако на самом-то деле открывает перед муниципальным чиновником поистине безграничные возможности для получения взяток, поскольку в его руках окажется вожделенный рычаг распределения приватизируемых «точек». Тут можно поживиться еще жирнее, чем при дележе нежилых помещений, о чем читай ниже. И еще одно «кстати». Сейчас Моссовет затевает широкую распродажу иностранным фирмам лучших особняков в центре города. Но ведь ситуация тут складывается в точности такая, какая была в брежневском внешторге, когда иные махинаторы за взятки заключали сделки в убыток государству,— сколько уже об этом писано! Не получится ли так же и в Моссовете? Ведь паспорта заграничные и места в заграничных поездках там уже распродают — даже «ворам в законе», по подложным документам. Правильно ли, что распродажа зданий инофирмам проходит безгласно? Не пришла ли пора создать общественные рабочие комиссии для контроля моссоветовских валютных торгов?

Вопросы, вопросы... И прежде чем ответить на них, сперва позволю себе сделать отступление о смысле и пользе первоначального накопления, а для примера сошлюсь на опыт такого авторитетного, всеми признанного человека, как Святослав Федоров.

Собственно говоря, Святославу Николаевичу заниматься этим наиболее тяжким, наитруднейшим для честного человека делом, по свидетельству классиков, извечно грязным, порою даже кровавым делом,— первоначальным накоплением! — не пришлось. Еще в брежневские времена, используя порядки и правила того времени, личные связи и свое врачебное искусство, удалось Федорову добиться государственной помощи,— да не простой, а в виде валютного кредита на постройку и оснащение с финской помощью целой сети региональных микрохирургических комплексов для лечения глаз. Я с большим уважением отношусь к ученому и менеджеру Федорову, который разработал и внедрил в дело принципиально новую технологию поточных глазных лечений. Но когда Святослав Николаевич начинает выступать в прессе, по телевидению и с самых высоких трибун в роли политика, пропагандирующего на своем примере несомненные преимущества того арендного механизма, какой внедрен в его МНТК, да еще с выходом на социальные трансформации всей нашей системы, когда Святослав Николаевич превращается в самого ревностного адепта священного принципа частной собственности, полагая его единственным движителем общественного развития,— мне становится грустно и боязно.

Грустно оттого, что Святослав Николаевич, видимо, обиженный долгими предшествующими годами безрезультатной борьбы за свою идею, не сумел пока с благодарностью оценить то обстоятельство, что страна все-таки снабдила его первоначальным капиталом — вдобавок валютным! — для очень крупного размаха. Снабдила, если говорить откровенно, совсем не в ущерб клиникам бывшего 4-го главного управления Минздрава, а в урон и без того небогатым сельским больничкам, сегодня вовсе падающим от финансового небрежения государства, но вынужденным в тягостных медицинских условиях долечивать ту часть федоровских больных, которым не помогла операция. Огромная личная заслуга Федорова состоит в том, как толково он сумел распорядиться отпущенными валютными кредитами,— это да! Так обернуться смог бы не каждый, тут действительно нужен научный и организаторский талант. Но осуществился бы федоровский проект, не будь кредитов от государства? И сколько талантливых, гениальных идей погибает втуне только оттого, что авторы не располагают стартовым капиталом для их реализации, ибо у государства на всех средств не хватает? В какой-то мере Федорову повезло — и слава богу! Тем более везенье это добыто тяжкими трудами. Однако, когда речь заходит о политических аспектах его медицинского бизнеса, забывать об источниках федоровского первоначального накопления мы не вправе, ибо оно носило исключительный, а не закономерный характер.

Между прочим не только в нашей стране, но и в обществе «свободной экономики» проблема первоначального накопления, стартовых средств для воплощения научной или технической идеи, для начала крупного дела весьма злободневна. И если у Святослава Николаевича есть какие-то сомнения на этот счет, порекомендую ему познакомиться хотя бы с биографией выдающегося американца Эли Уитни — изобретателя хлопкоочистительной машины, перевернувшей в свое время экономику американского юга. Уитни вместо причитавшихся ему миллионов, остался без единого цента, на десять лет погрязнув в судебных процессах. «Дикий» период предпринимательства, куда нас сейчас затягивают, вообще характерен такими примерами, не говоря уже о другой стороне этого вопроса — о свирепой конкуренции, не признающей никаких законов.

Когда в конце прошлого века калужский инженер и изобретатель Голубицкий создал оригинальную систему телефонной связи и проложил первую в России линию между своим маленьким имением в деревне Пачево и Тарусой, к нему немедленно примчались из-за океана эмиссары компании «Белл» с предложением продать патент. Голубицкий отказался, надеясь поработать во славу родины. А через пару месяцев пачевский сарайчик, где была смонтирована телефонная станция, вспыхнул чадным керосиновым пламенем и сгорел дотла, пустив изобретателя по миру...

Между прочим сегодня между Пачевом и Тарусой — всего-то километра три, через Песочню — телефонной линии нет. Но это я так, кстати.

И еще. Даже сегодня на Западе весьма нелегко начать свое крупное дело. Лишь единицам удается пробиться в так называемые «технопарки», где задешево, без капвложений, на арендуемом оборудовании можно опробовать и доладить до серии оригинальный замысел. В основном же новые идеи становятся добычей уже существующих крупных компаний. Начать свое серьезное дело чрезвычайно трудно, о чем умалчивает наша пресса. Неимущему, без первоначального капитала упрямцу, жаждущему самостоятельности, приходится обращаться к услугам особого рода кредитования — так называемого «венчур кэпитэл». Смысл его в том, что кредит дается не под проценты, а исполу — под половину собственности. Подчеркиваю, не прибыли, а собственности. Иными словами, в любой момент кредитор вправе потребовать половину стоимости завода, института и так далее, что для владельца равносильно полному разорению, краху. Кредитор рискует, давая средства на осуществление нового проекта, потому-то такой вид кредитования и называется «венчур кэпитэл» — от слова «авантюра». Но зато дерет грабительские проценты, даже не проценты, а половинную долю накоплений.

Вот так обстоят дела на Западе, глубоко почитаемом Федоровым. Но самому-то Святославу Николаевичу прибегать к услугам «венчур кэпитэл» или чего-то еще в том же роде не пришлось. И в этой связи, если продолжить мысль о федоровском глазном проекте, который валютой обеспечило государство, то, испытывая чувство глубокой признательности к Святославу Николаевичу за умелое использование народных средств, все-таки хочется поинтересоваться, какими темпами МНТК гасит задолженность, ибо крайняя наша валютная напряженность общеизвестна.

И еще, думается мне, если у МНТК появляются свободные доллары или фунты, полезнее было бы направлять их на оснащение слабеньких сельских больничек, а не на покупку датских коров для показательной, вернее бы сказать, «политической» арендной фермы в подмосковной деревне Протасово. Конечно, 800-рублевая зарплата тамошних доярок, уже нареченных федоровскими, впечатляет. Однако аграрно-политический эксперимент в Протасове, рядом с федоровской дачей, широко рекламируемый телевидением, в частности, вечно клюющим на жареное Юрием Черниченко, если и способен что-то доказать, то лишь одно: сама по себе высокая зарплата без решения социальных проблем — это еще более изощренный вид эксплуатации. Недавно в Протасове побывал корреспондент газеты «Московский комсомолец» и написал: деревенька остается захолустной, даже магазина там нет, автолавка раз в неделю наезжает, люди, бывает, без хлеба сидят. Неужто к этому зовет нас федоровский аграрно-арендный эксперимент, в который вложены немалые валютные средства?

Любопытно было бы узнать и о себестоимости протасовского молочка — с учетом, разумеется, тех изначальных затрат, которые легли на бюджет МНТК и гасятся государством.

Окончание следует

ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

«ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ТАКОЙ КОМПАНИИ...»

ПО СТРАНИЦАМ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

«...Попросить, скажем, Соединенные Штаты объявить-таки нам натуральную войну», — ерничает советский корреспондент «Нового русского слова» (26.09.1990). «...Можно пригласить ограниченный американский контингент, с тем чтобы он оказал-таки нам наконец интернациональную помощь. Быть может, для этого придется перебросить пару дивизий из Саудовской Аравии, но Пентагон может быть спокоен — потери от этой операции будут минимальные. Несколько десятков боевиков из патриотической «Памяти» не в счет...»

Эксцентрическая фантазия? Хотел бы надеяться — говорю я без особой уверенности, памятуя о том, как дружно глумится московская пресса и над «патриотической «Памятью» и над армией — над всем и над каждым, кто может встать на пути дивизий с Ближнего Востока, где американцы доказали свою агрессивность с такой варварской наглядностью! Да и склонность к попрошайничеству, столь резко проявившаяся в союзных верхах, уверенности не придает. Собрав едва ли не богатейший за семидесятилетнюю историю урожай, клянчат по всему свету по нескольку десятков тонн зерна. Видимо, очень нужно поставить гордую страну с протянутой рукой на мировом перекрестке в ожидании случайного медяка. Это потом выяснится, что случайных медяков не бывает, что за скудную подачку придется «излиха» заплатить. Несоразмерность грядущей платы не должна вызывать удивления — первородство Исава тоже было продано не за алмазную гору, а за чечевичную похлебку.

А корреспондент нью-йоркской газеты не унимается: «На Брайтон-Бич можно будет сформировать «правительство в изгнании»...» Еще бы! Где «Новое русское слово», там и Брайтон-Бич — «малая Одесса», нью-йоркский район, заселенный еврейскими эмигрантами из Союза. А где Брайтон-Бич, там и вскормленная им газета.

Не будем перенапрягать фантазию журналиста, какой печатный орган стало бы издавать в Москве «правительство» с Брайтон-Бич. Конечно же, «Новое русское слово». Так что давайте знакомиться заранее.

Первое впечатление — похоже на прочитанное утром. «Москоу ньюс», «Коммерсант», «Советская культура», «Известия», «Литгазета» — все это в том же духе. Разве что заокеанский стиль раскованнее. И достойнее в то же время. До базарной перебранки здесь опускаются редко. Не случайно нью-йоркцам московские споры кажутся «истерическим ором» (5.10.1990) и даже «психозом» (13—14.10.1990).

Внимательнее вчитавшись, понимаешь — отличие не только в тоне, каким говорит газета. В позиции — не политической, нет, обыкновенной географической позиции. Тот же взгляд, но со стороны. Из-за океана. Иной раз блеснет какая-нибудь неизвестная здесь деталь, непривычная для советского слуха характеристика.

В Союзе, например, убеждены (и московские газеты питают это убеждение), что Америка приветствует внедрение у нас западной политической и экономической модели. А вот что пишут по этому поводу в Нью-Йорке: «Фактически Горбачев выполнил все политические предложения Запада, даже значительно больше, чем от него ожидали... Но случилось никем не предвиденное. Результаты реализации этих предложений... оказались отрицательными во всех отношениях» (1.12.1989).

Автору статьи М. Вапнику вторит Борис Хуртин, отмечая, что нет «ни одной сферы деятельности», в которой бы руководители, реформирующие общество на западный манер, добились «хотя бы минимальных успехов» (2.10.1990).

Популярные у московской элиты концепции рыночной экономики нью-йоркские авторы, не скрывая презрения, именуют «примитивными» (1.12.1989). Зато с пониманием цитируют хорошо знакомого читателям «Нашего современника» Михаила Антонова: «Кризис социализма не излечить обращением к товарно-денежному рынку и системе свободного предпринимательства. На этом пути нас ждет только превращение в колонию транснациональных корпораций и сточную яму экологически вредных производств, которые сейчас, в рамках политики создания совместных предприятий, спихивают в страну западные концерны».

Ну что ж, может быть, такого кругосветного путешествия идей не хватало, чтобы наше общество (а главное, верхи) смогло уразуметь очевидные в общем-то истины. А то, пожалуй, самим из Москвы не видно, надо наткнуться на «грубую действительность» и расшибить лоб. Или услышать совет в трансляции из-за рубежа. В этом преимущество взгляда со стороны.

Однако «Новое русское слово» создано не для того, чтобы пропагандировать Михаила Антонова. Если Россия прислушается к голосу экономистов-патриотов, где же Запад отыщет второй такой колоссальный сырьевой склад и такой бескрайний отстойник экологически вредных отходов. Цитата из Антонова в газете частность. Так сказать, реплика «в порядке дискуссии». И все же нью-йоркские журналисты могут позволить себе (или им позволяют) более трезво относиться к вводимому у нас сверху «рынку», чем их московские коллеги.

Вот и из здешнего — в «Комсомольской правде» — выступления Ларисы Пияшевой они извлекают убийственные для концепции «500 дней» слова: «...Приведет к экономическому краху в первые сто дней» (3.10.1990). Что не мешает автору статьи М. Леонтьеву с помпой преподносить шаталинскую программу. Идеология и трезвый расчет вступают в спор. Идеология вещает устами московского «реформатора» Явлинского: «...После семидесяти лет идиотизма — пятьсот дней потерпеть, чтобы войти в нормальную экономику». Трезвый расчет подсказывает: «...Проведение сверхжесткой дефляционной политики при фиксированных государственных ценах приведет к массовому разорению вполне жизнеспособных в условиях рынка предприятий». Профессиональный анализ побуждает признать: «Программа Шаталина — Явлинского содержит в себе небольшую толику блефа».

Походя разоблачается и откровенная ложь «наших» пропагандистов приватизации. Они говорят: миллиарды, скопившиеся у населения, уйдут на приобретение заводов, давление денежной массы на рынок товаров уменьшится, и продовольствие снова покажется на советских прилавках. И без подсказки из-за рубежа нетрудно было бы сообразить, что речь о «разных» деньгах — тех, что давят на колбасный «рынок», на покупку завода «ЗИЛ», все равно не хватит. И наоборот — «теневик» при всем желании не съест за завтраком колбасу, которую можно купить на его миллионы, а потому и покупать ее (кроме необходимых полкило) не станет. Трагичность ситуации в том, что подобные простейшие соображения мы можем вычитать только в газетах, приходящих из-за кордона.

Западный журналист может позволить себе во всей красе отобразить столкновение пропагандистских лозунгов новых буржуа со здравым смыслом. Расплачиваться все равно придется нам. А вот обмануть американских бизнесменов, сманить их призрачными перспективами советской экономики, реорганизованной «по Шаталину», нью-йоркский газетчик не рискует. Поэтому он прямо говорит: не верьте широковещательным заверениям и не спешите вкладывать свои деньги в советскую экономику. Показателен материал с выразительным заголовком: «Полезные идиоты» отправляются в Москву» (8.09.1990).

Опасаются на Брайтон-Бич и другого. Того, что огромный народ, поняв наконец, что его дурачат и за его счет наживаются, поднимется и подобно Гулливеру смахнет с себя «реформаторов». «...Ситуация может попасть под контроль демагогически настроенных радикальных групп, на знамени которых будет начертано все что угодно, от антисемитизма до великодержавного изоляционизма», — в доступных ему терминах излагает опасения сотрудник газеты (2.10.1990).

«Новое русское слово» (как и другие органы информации Запада) лихорадочно перебирает советских лидеров в попытке найти фигуру, способную взять ситуацию под контроль. Борис Ельцин? Но вот какая перспектива открывается взгляду, лишенному московских иллюзий: «...Его политический арсенал пуст, а присущая ему волюнтаристская метода правления может привести к еще более острым катаклизмам, не сравнимым с нынешними» (2.10.1990).

О другой фигуре своеобразного политического тандема эмигрантская газета отзывается с не меньшей резкостью: «Горбачев явно исчерпал лимит отпущенного ему историей времени» (2.10.1990). Организатора советских реформ «Новое русское слово» готово порицать за прямо противоположные деяния. Своими силами и с помощью гостей номера. Корреспондент газеты обращается к именитому собеседнику Г. Каспарову: «Кажется, что Горбачев сделал все, чтобы развалить Советский Союз. Наверное, в этом и заключается его миссия?» В ответ столь же негативная оценка при полярно противоположной формулировке: «Он сделал все возможное, чтобы не развалить, а укрепить его... Все, что хотел Горбачев, — это перевести умирающий коммунистический режим в новую спасительную форму правления...» (15—16.09.1990).

Менее крупные фигуры и вовсе не вызывают доверия. Газета сообщает, что москвичи все чаще спрашивают у Г. Попова: «Где сигареты? Где хлеб? Где мясо?..» Совершенно ясно, что будут думать американские читатели о новых руководителях Моссовета, когда прочтут, что в ответ на столь естественные вопросы те ссылаются на экономические перекосы шестидесятилетней давности и советуют «одно — поплотнее стиснуть зубы» (8—9.09.1990).

Лишен лести и коллективный портрет советских руководителей. Газета приводит «удачное», по ее словам, высказывание известного философа Александра Зиновьева: «Вы можете избрать всех депутатов типа Сахарова — они развалят страну в неделю. Управление страной — это профессия, а не демагогия». (1.12.1989).

Если уж мы, следуя за газетой, «перешли на личности», советскому читателю

будут небезынтересны и оценки, данные людям из околохудожественной сферы. К примеру, Алла Пугачева — единственная, как ее рекомендует московская пресса, звезда советской эстрады, которая может иметь успех у западной публики, получает далеко не лестную характеристику: «...Светила ярко, пока не стала популярной...» (5.10.1990).

Перестроечное кино с его гремящими на союзной сцене лидерами определяется как «кич» (21.09.1990).

Сочувственнее говорится о литераторах. Не случайно — о них в газете пишет «свой» московский критик Андрей Мальгин. Ему нелегко предъявить строгий счет, скажем, Коротичу за славословия Брежневу — а их, славословий коммунистическим вождям, не одно и не два, а едва ли не двадцать два насчитала недавно московская газета «Товарищ» (№ 15, 1990). Ведь и сам Мальгин исследовал и воспевал «Поэзию труда» (так, помнится, называлась его первая книжка) и строго выдержанную идеологическую лирику Р. Рождественского (героя второй книжки критика). С таким послужным списком приходится и Коротичу простить его увлечение публицистическими одами в адрес власть имущих.

А. Мальгин предпочитает отыгрываться на оппонентах, скажем, С. Селивановой, его бывшей начальнице в «Литгазете». Немало язвительных стрел пущено и в мой адрес. Пользуясь случаем, благодарю за популяризацию моего творчества в Америке. Однако замечу: статьи, если ты их критикуешь, надо бы прежде прочесть, даже если критика уйдет на зарубежного читателя...

Непонятно, что не поделил Мальгин с Татьяной Ивановой — они работают рука об руку. Разве что славу — «купаясь в лучах славы»,— мстительно замечает газетчик. Насчет славы — сильное преувеличение, а вот характеристику своей союзнице Мальгин выдал точную. Еще бы, ему видней. Он рассказывает историю поручика Киже на новый, перестроечный лад: «Звездный час» Татьяны Ивановой наступил три с лишним года назад, когда новоиспеченный генеральный секретарь Горбачев собрал накануне писательского съезда совещание руководителей журналов, газет и видных писателей. И надо же такому случиться, что упомянул он в положительном контексте одну из... статей Татьяны Ивановой — кстати, не о литературе вовсе, а о школьной реформе. И началось: Карпова избирают главой писательского союза, и он в первый же день приглашает Татьяну Ильиничну к себе в помощники, на хорошую зарплату. Ее берут в обозреватели сразу нескольких журналов — от «Огонька» до «В мире книг». Все отделы «Литгазеты» оборвали ей телефон, заказывая ей статьи. И все, заметьте, в течение нескольких дней» (24.11.1989).

Критик вспоминает о метаморфозе, происшедшей с его героиней. До высочайшей похвалы она рьяно популяризировала творчество писателей-почвенников, после «совершила свой бросок влево». Гадая о причинах такого развития, Мальгин задает любопытный вопрос: «Или, может, именно так представляла себе круг идей и ценностей своего невольного покровителя?» Если эта догадка верна, следует признать, что и доныне в массе изданий тиражируется, в сущности, карикатура — упрощенное до убогости отображение провозглашаемых с главной трибуны страны взглядов.

Что же, совсем неплохо получился у Мальгина женский портрет. Куда только подевалась унылая риторичность, присущая его статьям в советской печати. Видимо, воздух Атлантики прочищает мозги.

Советская тема в газете на этом, полагаю, исчерпана. Мальгин уже мелкий шрифт, идеологический петит. Поглядим, как освещается жизнь Америки.

«Новое русское слово» — зеркало, поставленное вместо пограничного столба между двумя странами. Его холодная поверхность с одинаковым безразличием (и порою с убийственной точностью) показывает происходящее по обе стороны границы.

Картинка с той стороны особого оптимизма также не вызывает. То ли фрондируют газетчики, то ли жизнь в Америке и впрямь далека от ослепительной рекламы, несколько лет не сходящей со страниц нашей прессы и с экранов ЦТ. Наверху — бюрократы, как и везде, безответственные до аморальности. Выразительная зарисовка: «Во время публичного диспута... репортер спросил у Пелла, что он конкретно сделал в Сенате за последнее время для своего родного штата. «Конкретно я вам не скажу,— заметил сенатор,— память у меня уже не та, что была...» (12.10.1990). Не правда ли, знакомо?

Внизу разгул насилия. Одно из газетных сообщений: полицейский в Нью-Йорке остановил такси, выволок шофера еврея — эмигранта из СССР и застрелил его. Чтобы успокоить нервы этого блюстителя порядка, его перевели на канцелярскую работу (8—9.09.1990). Приведу поразившее меня свидетельство другой издающейся в США газеты — «Русский голос» (№ 44, 1988). Инель Байтман — также эмигрантка из СССР — в течение целого года терпела издевательства и побои от хозяина дома, где жила. Она была 20 раз изнасилована.

Тезис о бесправии евреев в СССР, способный вызвать разве что грустную улыбку у рядового москвича, журналистами до сих пор воспринимается вполне серьезно. Господа, оглядитесь. И пофантазируйте немного, какой информационный взрыв произошел бы, если бы в Москве или в Ленинграде вскрылась подобная история. А потом задумайтесь хоть на минуту о реальном положении эмигрантов, если они вынуждены молча переносить насилие, боясь прибегнуть к защите закона.

Особый разговор о прессе Америки. Гаранте всех мыслимых и немыслимых человеческих свобод, светоче прогресса и чуть ли не дельфийском оракуле, изрекающем истину, если судить по рекомендациям советских средств массовой информации. Журналисты «Нового русского слова» не столь восторженно оценивают деятельность своих коллег. Замечательна статья Евгения Манина «Синдром злодея» (28.10.1990), анализирующая методы пускания «судороги», если воспользоваться уместным здесь выражением Достоевского.

Собственно, метод один, простой до примитива. Манин пересказывает исследование Уильяма Гибсона, отрекомендованного в статье в качестве «ведущего современного американского историка, исследователя психологических аспектов...»: «Большинство государств... «демонизируют» своих врагов во время войны, но Соединенные Штаты делали это на протяжении мирных 80-х годов, стремясь отделить от себя все постыдное и перенести это на тех, кто представляет собой их моральную противоположность (разрядка моя.— А. К.). Это и есть «синдром врага».

«Демонизация» политических оппонентов нам хорошо знакома по практике советской печати, пользовавшейся этим приемом до самого последнего времени. Да и сейчас она охотно прибегает к нему, однако не для борьбы с «иностранным империализмом», а все больше для подавления отечественного «великодержавного шовинизма». Но как выясняется из статьи Е. Манина, даже брежневско-сусловская пропаганда не могла сравниться с американской в размахе, интенсивности и регулярности подобных операций, а заодно и в резкости выражений, употребляемых во время их проведения.

У нас если уж обличали Рейгана или Тэтчер, то годами, чуть ли не десятилетиями (что не помешало потом на первых страницах помещать державные объятия и поцелуи с этими «лидерами мирового империализма»). Американской пропаганде — Манин настаивает именно на термине «пропаганда» — каждый год требуется «мировой злодей».

Технология изготовления «злодеев» поставлена на поток. «Вчера Хусейн был просто иракским правителем, сегодня он «багдадский мясник», «багдадский вор» или «ближневосточный Гитлер». Это и есть пропаганда». Автор статьи выводит из недавних архивов американской печати целую вереницу таких калифов на час, точнее, «злодеев года». Так как тема эта важна, а материал плохо известен отечественным читателям, позволю себе привести длинную цитату.

«Злодеем»... 1989-го, если вы помните, был панамский генерал Норьега, один из заурядных диктаторов «третьего мира». Вдруг оказалось, что именно он, бывший информатор ЦРУ, повинен во всех несчастьях, связанных с торговлей наркотиками... Американские десантники высадились в Панаме, чтобы навести там порядок и захватить «злодея». Когда его никак не могли найти, на первой полосе «Нью-Йорк пост» появилась жирная надпись: «Где эта подлая крыса?»... Норьега непосредственно сменил Муамара Каддафи. «Ливийский психопат», «сумасшедший диктатор», «непредсказуемый шизофреник», «обер-террорист» — обычный набор для очередного «злодея». Он был в центре внимания американцев, пока президент Рейган, соответствующим образом заклеймив его, не послал в Ливию бомбардировщики. После этого о нем все забыли. Перед Каддафи было сразу два злодея. Номером первым был, конечно, покойный аятолла Хомейни... Он был «взбесившийся фанатик», «сумасшедший аятолла» и «кровожадный психопат»... «Злодей» номер два занимал более скромное место. Это был сирийский президент Хафез Асад... Я не помню, был ли он «дамасским мясником», но «дамасской лисой» и «обер-террористом, обуянным манией величия», был точно... «Злодеем», предшествовавшим Хомейни и Асаду, был Ясир Арафат. Он тоже был «кровожадным террористом», «безжалостным убийцей» и всем прочим. Этот длинный и однообразный перечень наводит на некоторые размышления...»

Разумеется, здесь есть над чем подумать. Не только над вопросами объективности информации, плюрализма мнений. Куда более практическая и страшная тема (особенно после того, как США развязали войну в Персидском заливе) — железная скоординированность американских газетных кампаний и военных действий. Сигнал, по наблюдению Манина, дает сам президент США, намечающий очередного «злодея», прессе живописует подходящий для данного случая образ, затем президент отдает приказ американским вооруженным силам...

Напрашивается еще одно обобщение: кроме Мануэля Норьеги, все лидеры, яростно заклейменные печатью США, активно противостояли ближневосточной политике Израиля. Обличая их, готовя почву для применения силы, наводя на чужие города бомбардировщики, американские газетчики служили отнюдь не интересам своей страны — интересам маленького, затерянного в ближневосточных песках государства.

А вот это обобщение даже наблюдательному и принципиальному Евгению Манину не по силам. Вернее, не по нраву. Именно потому, что у него свои принципы и он столь же трепетно, как Нина Андреева, боится изменить им. Их следует рассмотреть внимательно, ибо это принципы всего «Нового русского слова».

Тот же Евгений Манин, с сарказмом повествующий о пропагандистской заданности заокеанской прессы, с рвением профессионального цензора придирается к интонации журналиста, интервьюировавшего солиста знаменитой рок-группы «Паблик энеми». Манин негодует по поводу «весьма спокойной реакции... американского журналиста» (4.08.1989). Какие же чудовищные откровения шокировали поборника свободной прессы? Несколько резких слов, сказанных о сионизме.

Открыто, напористо, безапелляционно утверждается двойной стандарт: обо всем можно, нет — нужно говорить непредвзято и раскованно, кроме «рокового вопроса». Тут даже нечто невещественное — интонация, реакция спрашивающего — подвергается строгой цензуре. Профессионально нейтральная позиция корреспондента — не с кулаками же ему бросаться на интервьюируемого?! — осуждается безоговорочно.

К сожалению, силонность к цензуре на уровне не действия — намерения, побуждения в последний год демонстрируется и в советской прессе. Весной 1990 года

«Правда» перепечатала статью из одной ленинградской газеты, автор которой выражал сомнение в *искренности* своего собрата по перу, с похвалой отозвавшегося о евреях.

Требуется не просто хвалить, но и доказать искренность своего восхищения! «Всеми печенками предан» говорят в подобных случаях в народе.

Именно такую преданность демонстрирует «свободолюбивая» в иных ситуациях газета «Новое русское слово». Показательно освещение кровавой бойни, учиненной израильской полицией у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. «Усмирение бесчинствующих палестинцев», «выходка палестинцев» — вот как реагировали «либералы» с Брайтон-Бич (10.10.1990). Конечно, газета не могла игнорировать выступление президента США, выразившего «сожаление о трагедии». Но в информации о выступлении Буша указание на то, что именно палестинцы стали жертвами расправы, отсутствует: «19 человек были убиты».

Журналисты проявляют чудеса изобретательности, чтобы слова «арабы» и «жертвы» ни разу не соприкоснулись и не вызвали у читателей сострадания. Вообще все эмоциональные моменты, неизменно выделяемые печатью при описании террористических актов той же ООП, здесь убраны. Зато всячески подчеркивается агрессивное поведение толпы палестинцев, собравшихся у мечети. Пересказывая сообщения еврейских туристов из США, ставших свидетелями трагедии, газета пользуется формулировкой «погром» — но для характеристики смятения в рядах находившихся неподалеку от мечети иудаистов (9.10.1990). Жертвы представляются погромщиками, подлинные погромщики — жертвами.

И все это спокойно согласуется с моралью, ибо она у авторов газеты особого рода. «Новое русское слово» перепечатывает из «Московских новостей» (трогательная кооперация!) интервью, которое корреспондент нью-йоркской газеты В. Козловский дал своим московским коллегам. Журналист призвал использовать ввод иракских войск в Кувейт для уничтожения военного арсенала Ирака (мирное разрешение кувейтского кризиса для него равносильно катастрофе). На вопрос, следует ли наносить удары по объектам, где в то время содержались западные заложники, В. Козловский дает поразительный в своей циничной откровенности ответ: «*Заложников придется вынести за скобки*» (8.10.1990). Такое заявление требует объяснения, и журналист охотно растолковывает: «...Если сейчас бомбящие не пожертвуют несколькими сотнями людей, то, когда у Саддама будет ядерное оружие, речь пойдет уже о существовании целых стран». Впрочем, «целые страны» «Новое русское слово» не интересуют — рядом упоминается всего одна страна, которая может пострадать в результате столкновения с Ираком,— Израиль. Ради его выгод пришлось, как мы видим, «вынести за скобки» жизни тысяч и интересы миллионов людей...

Двойной подход демонстрируется постоянно. Не только в политических материалах, но и там, где стремление к истине, казалось бы, не должно предполагать жесткого деления на «своих» и «чужих». Известный историк науки Марк Поповский поместил в газете огромную статью «Чему же ты учишь, учитель?» (5.10.1990). Композиционно это какой-то монстр. Полемика с И. Шафаревичем (ради чего, собственно, и написана статья) дополняется рассказом об ученике академика — математике Мойшензоне, эмигрировавшем в США. Сверх того, в материал вставлена рецензия на книгу Мойшензона об убийстве царской семьи, где этот дилетант в истории пытается доказать, что цареубийцей был не «Яков Мойшевич Юровский», а Иосиф Уншлихт, который-де в годы революции действовал под псевдонимом Юровский. Фактов никаких, зато задору предостаточно. Мойшензон, осуждает неназванных активистов «Памяти», якобы настаивающих на том, что последнего императора России убил «не большевик Юровский, а Юровский-еврей». Автор новой концепции как будто предпочитает политическое истолкование преступления. С этой точки зрения финал его изысканий поражает. С торжеством провозглашается: «Царя расстрелял не еврей Юровский, а *поляк* (разрядка моя.— **А. К.**) Уншлихт».

Интересно и параллельное осмысление эволюции взглядов самого Мойшензона и его учителя в математике Игоря Шафаревича. О себе эмигрант говорит: «...Приблизился к своим еврейским корням, к догматам иудаизма». Обращение Шафаревича к *своим*, православным корням оценивается иначе: «Человек текуч», «попал под дурное влияние» и т. п.

Все это было бы смешно...

Ну, а итог выверен безукоризненно. Пока великий математик не высказывал своих убеждений и помогал молодым ученым-евреям, он был «честным, щедрым, благородным». Как только он выразил взгляды, чуждые этим ученикам, в его высказываниях тут же обнаружился «шовинистический дух».

Признаюсь, мне бы хотелось встретить на страницах газеты материалы серьезных публицистов, вроде тех, о чьем сборнике «Россия и евреи» я писал в прошлом году («Наш современник», 1990, № 11). Они есть и сегодня в среде еврейской эмиграции. Достаточно упомянуть Юрия Штейна. Однако я ни разу не встретил имени этого талантливого публициста в «Новом русском слове».

Зато в числе авторов немало советских литераторов. Среди них Юнна Мориц. Увидев ее фамилию, я вспомнил давнюю детскую песенку, сочиненную Ю. Мориц, где были строчки: «Для маленькой такой компании огромный такой секрет». Забавно и характерно. Быть может, в этих незатейливых строчках, как часто бывает в детских песнях, проявилось неосознанное, корневое чувство, глубинное начало. Обязательно «секрет», отделяющий ото всех,— это еще В. Розанова изумляло... И конечно же, для маленького круга *своих*. Для него все — свои принципы, своя мораль, свое особое свободолюбие. Ну и своя газета с Брайтон-Бич.